

Дина Рубина

Русская канарейка  
Толос

## Annotation

Леон Этингер – обладатель удивительного голоса и многих иных талантов, последний отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и бурной историей. Прежний голосистый мальчик становится оперативником одной из серьезных спецслужб, обзаводится странной кличкой «Кéнар русí», («Русская канарейка»), и со временем – звездой оперной сцены. Но поскольку антитеррористическое подразделение разведки не хочет отпустить бывшего сотрудника, Леон вынужден сочетать карьеру контратенора с тайной и очень опасной «охотой». Эта «охота» приводит его в Таиланд, где он обнаруживает ответы на некоторые важные вопросы и встречает странную глухую бродяжку с фотокамерой в руках.

«Голос» – вторая книга трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка», семейной саги о «двух потомках одной канарейки», которые встретились вопреки всем вероятностям.

---

- [Дина Рубина](#)
  - 
  - [Охотник](#)
  - [Меир, Леон, Габриэла...](#)
  - [Остров Джум](#)
  - [Рю Обриу, апортовые сады](#)
- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)

- [24](#)
  - [25](#)
  - [26](#)
  - [27](#)
  - [28](#)
  - [29](#)
  - [30](#)
  - [31](#)
  - [32](#)
  - [33](#)
  - [34](#)
  - [35](#)
  - [36](#)
  - [37](#)
  - [38](#)
  - [39](#)
  - [40](#)
  - [41](#)
-

# Дина Рубина

## Русская канарейка. Голос

© Д. Рубина, 2014

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ([www.litres.ru](http://www.litres.ru))

\* \* \*

Он взбежал по ступеням, толкнул ресторанную дверь, вошел и замешкался на пороге, давая глазам привыкнуть.

Снаружи все выжигал ослепительный полдень; здесь, внутри, высокий стеклянный купол просеивал мягкий свет в центр зала, на маленькую эстраду, где сливочно бликовал кабинетный рояль: белый лебедь над стаей льняных скатертей.

И сразу в глубине зала призывным ковшом поднялась широкая ладонь, на миг отразилась в зеркале и опустилась, скользнув по темени, будто проверяя, на месте ли бугристая плешь.

Кто из обаятельных экранных злодеев так же гладил себя по лысине, еще и прихлопывая, чтоб не улетела? А, да: русский актер – гестаповец в культовом сериале советских времен.

Молодой человек пробирался к столику, пряча ухмылку при виде знакомого жеста. Добравшись, обстоятельно расцеловал в обе щеки привставшего навстречу пожилого господина, с которым назначил здесь встречу. Не виделись года полтора, но Калдман тот же: голова на мощные плечи посажена с «устремлением на противника», в вечной готовности к схватке. Так бык вылетает на арену, тараня воздух лбом.

И легендарная плешь на месте, думал молодой человек, с усмешкой подмечая, как по-хозяйски основательно опускается на диван грузный человек в тесноватом для него и слишком светлом, в водевильную полосочку, costume. На месте твоя плешь, не заросла сорняком, нежно аукается с янтарным светом лампы... Что ж,

будем аукаться в рифму.

Собственный купол молодой человек полировал до отлива китайского шелка, не столько по давним обстоятельствам биографии, сколько по сценической необходимости: поневоле башку-то обнулишь – отдирать парик от висков после каждого спектакля!

Их укромный закуток, отделенный от зала мраморной колонной, просил толики электричества даже сейчас, когда снаружи все залито полуденным солнцем. Ресторан считался изысканным: неожиданное сочетание кремовых стен с колоннами редкого гранатового мрамора. Приглушенный свет ламп в стиле Тиффани облагораживал слишком помпезную обстановку: позолоту на белых изголовьях и подлокотниках диванов и кресел, пурпурно-золотое мерцание занавесей из венецианской ткани.

– Ты уже заказал что-нибудь? – спросил молодой человек, присаживаясь так, будто в следующую минуту мог вскочить и умчаться: пружинистая легкость жокея в весе пера, увертливость матадора.

Пожилой господин не приходился ему ни отцом, ни дядей, ни еще каким-либо родственником, и странное для столь явной разницы в возрасте «ты» объяснялось лишь привычкой, лишь отсутствием в их общем языке местоимения «вы».

Впрочем, они сразу перешли на английский.

– По-моему, у них серьезная нехватка персонала, – заметил Калдман. – Я минут пять уже пытаюсь поймать хотя бы одного австрийского таракана.

Его молодой друг расхохотался: снующие по залу официанты в бордовых

жилетах и длинных фартуках от бедер до щиколоток и впрямь чем-то напоминали прыскающих в разные стороны тараканов. Но больше всего его рассмешил серьезный и даже озабоченный тон, каким это было сказано.

«Насколько же он меняется за границей!» — думал молодой человек. Полюбуйтесь на это воплощение респектабельности, на добродушное лицо с мясистым носом в сизых прожилках, на осторожные движения давнего сердечника, на бархатные «европейские» нотки в обычно отрывистом голосе. А этот мечтательный взлет клочковатой брови, когда он намерен изобразить удивление, восторг или «поведать нечто задушевное». А эта гранитная лысина в трогательном ореоле пушка цвета старого хозяйственного мыла. И наконец, щегольской шелковый платочек на шее — неременная дань Вене, *его Вене*, в которой он имел неосторожность появиться на свет в столь неудобном 1938 году.

Да, за границей он становится совсем иным: этакий чиновник среднего звена какого-нибудь уютного министерства (культуры или туризма) на семейном отдыхе в Европе.

Разве что левый пристальный глаз пребывает в вечной слежке за шустрым, слегка убегающим правым.

На деле должность Натана Калдмана была не столь уютной: он возглавлял одно из ключевых направлений в государственном комитете по борьбе с террором — структуре закулисной, малоизвестной и общественности и журналистам (как ни трудно вообразить это в наш век принародно полоскаемого белья), — в структуре, координирующей деятельность всех разведывательных служб Израиля.



«Работенка утомительная, – говаривал Калдман в кругу семьи. – Чем я занят? Меняю загаженные подгузники. И хлопотно, и воняет, ибо все подгузники загажены, и все задницы просят порки, и никакого понимания со стороны *этих законодательных болванов...*»

Впрочем, напрямую он подчинялся одному лишь премьер-министру. Уже лет десять жаловался на сердце и поговаривал о своей мечте – уйти на покой.

Но знаменитый его жест – гуляющая по булыжному черепу медвежья лапа – жест, наверняка отмеченный в картотеках многих серьезных спецслужб, был совершенно тем же, что и много лет назад (облысел он совсем молодым, еще в эпоху легендарной охоты Моссада за верхушкой и европейскими связными «Черного сентября»).

– Что у тебя за блажь – тащить людей в это заведение? – пробурчал Калдман. – Центр города, проходной двор...

Не сговариваясь, они расположились по привычке, ставшей инстинктом: Калдман – лицом к входной двери, его молодой друг – по левую руку, чтобы сквозь надраенные до бесплотности стекла входных дверей видеть, что происходит на улице за углом, – максимальный сектор обзора. Встреча подразумевалась дружеской, никаких дел, упаси боже; что, мало у нас приятных тем для разговора? Во всяком случае, именно так вчера прозвучала фраза Калдмана по телефону. Подразумевалось, что в Вене они оказались в одно и то же время совершенно случайно, как уже бывало и раньше. Подразумевалось, что Вена – хороший город. Спокойный хороший город, а английский язык, на котором они говорили, естественно и ненавязчиво

вплетен в туристическое многоголосье.

Снаружи парило, и беспорядочная, разноязыкая, штиблетно-маечная, рюкзачно-кроссовочная толпа на небольшой площади томила на тихом огне.

На той же площади, в тени под красно-белым полосатым тентом, за столиком недорогого бара-закусочной сидел с развернутым номером свежей «Guardian» крупный мужчина ирландской масти, со слуховым аппаратом в рыжем ухе. То, что казалось излишком веса, являлось наработанным каучуком узловатых мышц. Слуховой аппарат был миниатюрным передатчиком – так, на всякий случай.

Никто бы не сказал, что он слишком часто посматривает на двери известного ресторана, куда его невозмутимый взгляд благополучно проводил сначала Калдмана, а потом и другого, молодого. Но Реувену Альбацу и не требовалось рыскать глазами по сторонам: «Дуби<sup>[1]</sup> Рувка» знаменит был тем, что видел не только затылком, но любой, казалось бы, частью неуклюжего с виду тела, нюх имел собачий, а опасность чувал так, как парфюмер чует в шарфике, случайно найденном за диваном, остатний запах духов прошлогодней любовницы.

И, разумеется, никакого отношения ни к нему, ни к тем двоим, что сидели в глубине ресторанный зала, не имела пантомима двух бронзовых атлетов, застывших у въезда в подземную парковку задолго до того, как двое мужчин засели в ресторане.

Бронзовые атлеты вообще проходили по другому ведомству и на площадь являлись вот уже две недели в рамках подготовки некоей операции, которую никто, упаси боже, не собирался доводить до логического конца в этом чудесном городе.

Ничего не торчало в их бронзовых ушах. Просто на шее у каждого пузырилось пышное жабо, где в складках можно было спрятать не только миниатюрный

передатчик, но, если понадобится, и «глок» – так, на всякий случай.

В последние годы на улицах европейских городов встречается множество подобных живых скульптур.

– И если они такие шикарные, что имеют аж белый рояль, то почему бы им не потратиться на кондиционер в эпоху изменения климата? – поинтересовался Натан, промокая салфеткой борозды морщин на лбу. – В каждой паршивой забегаловке на рынке Маханэ Иегуда можно дышать.

– Зато здесь тихо, – заметил его молодой друг. – Тихо и культурно, особенно днем. А на *Махан-юда* от воплей торгашей можно рехнуться. На твоём месте я просто снял бы пиджак, – добавил он. – Если, конечно, у тебя там не две пушки под мышками.

Он поймал из рук пролетавшего официанта карты меню, одну сдал Калдману, как партитуру оркестранту, и уткнулся в свою, хотя уже знал, что закажет: форель на гриле.

Если б не модная трехдневная щетина, аскетичными тенями отчеркнувшая удобу смуглого лица, его можно было бы принять за подростка, обритого наголо перед поездкой в летний лагерь. И, судя по всему, ему совсем не мешала эта явная *легковесность* – наоборот, он подчеркивал ее, двигаясь со скупой грацией человека, немало часов уделившего когда-то изучению приемов «крав мага», разновидности жесткого ближнего боя, которая не оставляет противнику ни малейшего шанса.

«Ты бьешь один раз, – говорил его инструктор Сёмка Бен-Йорам. – Бьешь, чтобы убить. Никаких “вывести из игры”, “отключить”, прочие слюни. Если целишь в

голову, то уж в висок. Если в глаз – ты его выбиваешь».

Смешное имя – Сёмка Бен-Йорам, придуманное, конечно; бродяга, дзюдоист, обладатель десятого дана, каких на свете считанные единицы; сидя за столом, он поднимал ногу выше головы, и это выглядело фокусом. Кажется, ныне преподает на сценарных курсах в Тель-Авивской театральной школе, аминь.

И каждый раз надеешься, что все это осталось в прошлом.

Молодой человек отложил меню и оглядел полукруглый зал с рядом высоких арочных окон, с хороводом зеркально умноженных колонн, за каждой из которых можно исчезнуть, просто откинувшись к спинке кресла.

– Во-первых, – проговорил молодой человек с неторопливым удовольствием, – здесь бывал вождь русской революции Троцкий. Во-вторых, лет сто назад одна из моих любимых прабабок играла тут на фортепиано вальсы Штрауса и пьесы Крейслера. Я ведь рассказывал тебе, что у меня были одновременно две разные – абсолютно разные – любимые прабабки? Когда я здесь бываю, а я часто мотаюсь в Вену, меня тянет в это австро-венгерское гнездышко, как лося на водопой.

– Вообразить прабабку за белым роялем?

– Это был не рояль... – Он задумчиво улыбнулся, продолжая изучать карту вин. – Не рояль, а такое, знаешь, раздолбанное фортепиано с бронзовыми канделябрами, мечта антиквара. И тапер – заезженная кляча. Представь на месте этого зала внутренний дворик с галереей, вот эту стеклянную купольную крышу, и на крахмальных скатертях – красно-желтые ромбы от оконных витражей... И канун Первой мировой, и прабабке – четырнадцать, и если б ты видел ее фотографию тех

лет, ты бы непременно влюбился. Это был счастливейший день ее жизни, преддверие судьбы – она часто его вспоминала. Затем век миновал, все здесь перестроили, витражи куда-то подевались, стены залепили зеркалами, как в восточной лавке... – Он поднял глаза на собеседника: – Кстати, ты знаешь, для чего в восточных лавках вешают зеркала?

– Ну-ну, – бросил тот с насмешливым любопытством, стараясь не смотреть на левое запястье: в его распоряжении сегодня времени достаточно; вполне достаточно и для *болтовни*, и для дела. – Давай, просвети меня, умник.

– Чтобы кенарь не чувствовал себя одиноким. Чтобы он пел любовные песни собственному отражению.

Калдман разглядывал молодого человека едва ли не с родственной гордостью. Вот ведь *этому* никогда не нужны часы на руке. Как это называется: встроенное время? Чувство времени, тикающее в организме, даже во сне. Он и на встречу явился минута в минуту. С годами можно, конечно, в себе вышколить, но ведь у *этого* оно врожденное. Одно из его врожденных чудес, черт бы побрал его рыжую мамашу!

Ему идет дорогая одежда, думал Калдман, и он научился ее носить, он всему быстро учится. Все в тон, благородный песочный оттенок, никакого модного *китча*, вроде набивных пальм на сорочке, никаких золотых опознавательных штампов. Все прекрасно подобрано вплоть до светло-коричневых мокасин из тонкой кожи, вплоть до тонких носков в цвет костюму – *незаметность* превыше всего, хотя, к сожалению, именно *он* слишком заметен сам по себе. И с каких это пор рукава пиджака из тонкого льна мужики стали поддергивать до локтей, точно парикмахер

перед мытьем головы клиенту?

Да: из своей рожицы арабчонка, какие толпами бегают по мусорным пустырям Рамаллы или Хеврона, он выпестовал, вылепил неповторимого себя: экстравагантного, нарочито утонченного – один этот бритый череп египетского жреца чего стоит! А ухоженные, как у женщины, руки, непринужденно-рассеянно держащие карту вин! Поглядишь – так ничего, кроме нотных партий или джезвы с кофе им не приходилось переносить с места на место... Гедалья уговаривает меня «отказаться от этого неуправляемого молодчика с авемарией в зубах». Гедалья не прав. Ценность *авемарии* в том, что она подлинна, как подлинный бриллиант. Ведь самое драгоценное в любой легенде – отсутствие таковой, ее полное растворение в реальной жизни. Да, он сумасброден и непредсказуем, любит неоправданный риск (то, что он выкинул в Праге, вообще не поддается ни инструкциям, ни осмыслению: выбрав наблюдательным пунктом ювелирную лавку, изображал перед продавцами чокнутую старушенцию да еще выторговал браслетик и даже, кажется, напоследок спел им арию Керубино – то есть сделал все, чтобы остаться в памяти навеки: солист! бурные аплодисменты!).

Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, а не только из четвертого ряда партера. Его страсть к преображениям и перевоплощениям (что ж, и у той – сценические истоки), как и сам его голос, наводит любого знакомого и незнакомого на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо: это опрокидывает все стереотипы о *наших* методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений: ну кто с ним станет связываться, с *таким заметным?*.. И главное: как я был прав много лет назад, убедив Гедалью, что нашему «Кенарю руси» просто

необходимо поучиться и пожить в России. А теперь – разве не чудесна строчка в его досье: «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?

Да: дорогая одежда ему идет гораздо больше, чем грязная форма солдата спецназа после особо тяжелого задания, больше, чем затертые джинсы и потная футболка строительного рабочего в Хевроне, где однажды он *арабом* прожил три месяца в каменном бараке, ни разу не посетовав *на суровые условия жизни*.

Вообще, приятно видеть мальчика в зените благополучия.

Стоит ли его тревожить – в который раз?

Наконец явился молодой долговязый официант, с готовностью выхватил из кармашка фартука блокнот с карандашом...

...и Калдман не без удовольствия перешел на немецкий, домашний свой, родной – от матери и бабки – язык.

– Пожалуй, мы оба склоняемся к форели... Свежую форель трудно испортить, не так ли? Но прежде всего: что посоветует *Herr Ober* из вин – *Riesling* или *Grüner Veltliner*?

Его безукоризненное произношение ласкало слух: «s», звучащее как «з» в нормативном немецком, он произносил, как летящее «эс», подобно венским снобам, неуловимо растягивая следующую гласную: «саа-ген» вместо канонического «заген»<sup>[2]</sup>. Это придавало гортанно бухающему немецкому вкрадчивое изящество.

– К форели я бы взял *вайс гешипритц*, – учтиво заметил официант. – Это наше домашнее белое, днем неплохо идет.

– Да-да, – поспешил вставить молодой человек. – Что-нибудь нетяжелое. Мне еще сегодня на прием...

Два-три мгновения Натан смотрел в спину официанту, огибавшему столики винтовым танцевальным пробегом. Наконец, отпустив эту извиняющуюся спину кружить по залу, повернулся к собеседнику:

– Вчера вечером нежданно-негаданно получил от тебя привет. Включил в номере «FM Classic» и попал на «Серенаду» Шуберта. И вроде, слышу, контратенор, да голос такой знакомый! Не может быть, думаю, с каких это пор ваш брат поет романтиков? Но уж когда ты *сфилировал портаменто* с до-диеза на фа, у меня все сомнения отпали: кроме тебя, некому. Браво, Леон! Должен признаться, испытал высочайшее наслаждение.

– После «Серенады» шла «Баркарола»? – вскользь поинтересовался тот.

– Да-да. И тоже великолепно!

Леон удовлетворенно улыбнулся:

– Благодарю, ты мне льстишь.

Итак, Грюндль, старая сволочь! И двух недель не прошло, как вышел диск, а он (владелец студии и блестящий тонмейстер, чего не отнять) уже успел толкнуть запись на радио, авось не поймают! Ну да, «венская кровь» – чай, не немцы какие. Чего только не намешано в аборигенах «Голубого Дуная»: и легкомысленности французов, и очаровательной жуликоватости итальянцев («Поздоровался с румыном



– пересчитай пальцы!» – фольклор-то одесский, а вот формула универсальна для всех гордых потомков Юлия Цезаря). Впрочем, в легкомысленности австрияков есть свои плюсы. К примеру, немец, пойманный на воровстве (что редко, но случается), упрется, как на допросе, и сколько его ни дави, не признается. А игривый Грюндль, дитя веселого Ринга, ежели его прижать хорошенько, вполне может и заплатить, лишь бы отстали. Ну и отлично, напустим на него Филиппа; в конце концов, это его агентский крест – давить прыщи на физиономиях жуликоватых продюсеров.

– Ты мне льстишь, Натан, – повторил он. – Я еще загоржусь.

«Загордиться» от комплимента Натана Калдмана было немудрено: подобные знатоки классической музыки даже в среде профессионалов встречались нечасто.

– Какая там лесть... Скажу тебе откровенно: я прослезился, как старый осел, столько чувства было в твоём полуночном пении. И когда понял, что это именно ты звучишь... очарованным небесным странником, далеким от подлой грязи этого мира... – Натан включил все «европейские регистры» своего голоса; клочок левой брови завис над косящим глазом. – Словом, я принял это как личный подарок. Ты, конечно, не мог знать, что я слышу тебя, лежа на гостиничной койке с геморроидальной свечой в заднице. В это время ты, скорей всего, благополучно дрых, или пил коктейль на очередном светском рауте, или ублажал очередную телку, а? – Он вздохнул и прибавил совершенно по-детски: – Если б ты знал, как я люблю Шуберта.

– Кто ж его не любит, – покладисто отозвался Леон, то ли еще не учуяв подвоха, то ли просто не показав своей настороженности. Хотя насторожиться стоило: если старик затеял душевный разговор *о наших музыкальных баранах*, жди огро-омного

сюрприза.

– Не скажи! – подхватил тот. – Велльпахер не последний в вашем деле человек, а в каком-то интервью признался, что Шуберту-Шуману предпочитает позднюю романтику: песни Брамса, Вольфа или Рихарда Штрауса.

– Так он же тенор, причем ближе к «ди форца». Контратенор в песнях Штрауса – злобная пародия... Ты бы все-таки снял пиджак? – заботливо повторил Леон. – Пока тебя удар не хватил. Похоже, он тесноват.

– Точно, я слегка поправился. И Магда отговаривала брать этот костюм. Но ты же знаешь мою слабость к почтенной благопристойности.

– Сними, сними. Наплюй на благопристойность.

– Кстати, все собирался спросить... – Калдман с облегчением выпрастывался из рукавов пиджака. – Нет ли у тебя в планах спеть «Der Hirt auf dem Felsen»?

– Что-о? Не смейся меня. Господи, и придет же человеку в голову...

– Но почему нет! Музыка обворожительная, репертуар сопрано для тебя – как родной... – Натан бросил пиджак рядом на диван и лукаво вскинул косматые брови.

*...а венчик седого пуха над лысиной – что нимб у святого, особенно на просвет, в янтарном ореоле от настольной лампы: такая пародия на боженьку, нашего кроткого боженьку, самолично отрывавшего яйца неудачникам, перехваченным по пути на дело...*

– ...а в паузах подыграл бы себе на кларнете – очень эффектно!

– Оставь. Мой *амбушюр* сдох давным-давно.

– Не верю!

– Ну, может, поплую я в дудку месяц-другой часиков по десять в день, что-то бы

и восстановилось... на уровне второго кларнета провинциальной российской оперы.

И с внезапной досадой понял: Натан завел свою обычную серенаду о вечном-нетленном *перед делом!* И как у гадалки в картах, это *всегда* — к дальней дороге и проклятым хлопотам. Гляньте-ка на мечтательного людоеда: кого он хочет перехитровать? Карл у Клары украл кораллы, забыв про собственный кларнет? Нет уж! Нет, черта с два! На сей раз — кончено.

Он не ошибся: обежав взглядом просторно развернутый в зеркалах и колоннах зал ресторана, постепенно заполнявшийся публикой (время обеденное, на официантов жалко смотреть, вентиляторы в недосыгаемой вышине потолка молотят лопастями душный воздух), Калдман проникновенно спросил:

— А ты замечал, насколько призрачен мажор в этих минорных пьесах — и в «Серенаде», и в «Баркароле»? Каким отзвуком нездешности он там вибрирует...

— М-м-м, допустим... — И нарочито безмятежным голосом: — Попробуй их булочки, они их сами пекут.

— Не задумывался — почему?

Ну, поехали... Барышня — вот кто был бы уместен за этим столом. Как и вся ее компашка во главе с незабвенным «Сашиком». Вот кого извлечь бы сейчас из вечности хотя б минут на десять. Проветрить и взбодрить, угостить форелью... Кстати, где эта чертова форель? Что-то сегодня они долгонытько возьмется там, на кухне.

— *Ингелэ манс...* [\[3\]](#)

*...а вот когда он переходит на идиш, тут караул кричи: несметная рать улетевших в дым поднимает свои истлевшие смычки и принимается оплакивать мир на бесплотных струнах... Господи, сколько можно извлекать этот старый*

*фокус из одних и тех же до дыр протертых штанов!*

– Певцу, *ингелэ манс*, следует напрягать не только связки, но изредка и мозги, – насмешливо-мягко продолжал Натан. – Все мелодическое обаяние Шуберта кроется в его сверхидее, или, как говорят сегодня, в его *обсессии*: в неудержимом влечении к счастью.

– Ну почему же непременно – обсессия? – миролюбиво возразил Леон. *Главное, не расслабиться и не попасть в расставленные сети.* – Стремление к счастью естественно для любого человеческого существа.

– Ха! Гляньте, кто это говорит, и попробуйте позлить его в ближайшей подворотне – таки вы из нее не выползете! Именно, что обсессия, навязчивое влечение, то, что Дант называл *il disio*! Я скажу тебе, откуда этот мучительный восторг у подслеповатого толстяка в прохудившихся туфлях...

– ...и в разбитых очках, что для Шуберта уж и вовсе означало финансовую катастрофу, – жалостливым тоном подхватил Леон. Он стал раздражаться. – Так откуда же мучительный восторг у этого бледного недоноска, влачащего голодную жизнь в каморке на нетопленном чердаке?

– А ты не иронизируй. Вспомни историю Европы того периода, – терпеливо продолжал Калдман. – Отбушевала Французская революция, и за ничтожно короткий срок дважды сменились декорации: обезумевшая чернь снесла Бастилию, обезглавила венценосную особу и – «свобода-равенство-братство!» – запустила гильотину в бесперебойный режим работы. Не прошло и десятилетия, как Корсиканец замахнулся на перекройку мира. Коротышка заморочил даже гениального Бетховена, так что очарованный глухарь посвятил ему Третью

симфонию...

– Натан, – что ты затеял, умоляю тебя, ближе к делу?

– Я призываю тебя вообразить эпоху!

– О'кей...

– Этот момент: стоило закончиться революционно-героическому кошмару, как маленький, никому не интересный обыватель остается наедине со своими горестями и мечтами. Есть такой немецкий роман: «Маленький человек, что же дальше?»... И вот тут-то – в тупой меттерниховской Вене, где торжествовали две сестры, тайная полиция и предварительная цензура, а невиннейший намек на вольномыслие пресекался на корню, – тут и выходит на сцену близорукий застенчивый толстячок, неприметный гений здешних мест. Он сбрасывает музыку с котурнов классицизма, чтобы – особенно в изумительных песнях – впервые с сочувствием взглянуть в обычного человека с его маленькими дешевыми радостями, с его печалью, и, главное, с мучительной страстью, которая ранит сердце, даже если... Послушай, ведь именно Шуберт, никто другой, распахнул клетку классического периода-восьмитакта, чтобы оттуда выпорхнула гибкая вольная мелодия, отражая тончайшие порывы человеческой души...

Едва ли не в восхищении Леон устался на увлеченного Калдмана. Он бы решил, что тот подзубрил текст из какого-нибудь учебника по истории музыкальных форм и стилей, если б много раз не бывал свидетелем подобных восторженных и складных монологов. И если рассудить здраво, что в этом такого странного: пожилой интеллект, европеец до мозга костей, утонченный любитель классической музыки, завсегдатай концертов, а в молодости и сам недурной пианист всего лишь

излагает одну из любимых своих музыкальных теорий о любимом Шуберте.

*М-да, недурной пианист – пока некие злые дяди в сирийской тюрьме Тадмор (а было это году в семьдесят третьем) не попытались сыграть его правой рукой довольно фальшивую пьесу по добыче информации, правда, безуспешно...*

*Боже, как избавиться от привычки видеть длинные тени за каждой фигурой, каждым жестом и каждым словом! Как забыть каменные заборы глухих рассветных улочек арабских городов, разгорающийся блик от восходящего солнца на крышке пустой консервной банки, перед которой ты шесть часов лежишь на земле в засаде, с вечным товарищем – пришитым к твоему брюху «галилем», – зная, что эта банка с этим бликом будут сниться тебе месяцами...*

*Как, наконец, избавиться от проклятой паранойи – всюду чуют бородатых стражей мертвенной мессы нескончаемого «Реквиема»!*

– ...А душа-то его рвалась к счастью, – с мягкой грустью продолжал Калдман, подперев кулаком висок, – а молодая плоть требовала соития... Кстати, не исключено, что тот роковой визит в бордель, куда привел его друг-поэт, был у Шуберта первым опытом наслаждения. Подумать только: участь гения решила бледная спирохета! Знаешь, когда в его вещах звучит это неистовое и неизбывное стремление к счастью, у меня повышается давление и учащается пульс. Будто озоном дышу!

Блеснув глазами, Леон перебил с заботливой тревогой:

– В твоём возрасте это, пожалуй, опасно...

Калдман запнулся на миг, довольно хрюкнул и парировал:

– Свинья!

И вдруг изменился в лице: – Эт-то что еще такое?

Между столиками с тяжелыми тарелками в расставленных руках – издали угадывались ломти форели, золотистые дольки картофеля и подрагивающие в такт шагам перья петрушки – пробиралась странная девица в слишком большом для нее жилете официанта, накинута на белую футболку, и в джинсах с прорехами такой величины, что те выглядели просто бесполезной тряпкой на бедрах. Левая половина черепа обрита, на правой дыбом стоит немыслимый бурьян скрученных в сосульки, причудливо раскрашенных прядей. И все лицо – ноздри, брови, губы – пробито множеством серебряных колец и стрел, а хрящи маленьких ушей унизаны колечками так плотно, что кажутся механическими приставками к голове. Все это придавало выражению ее и без того напряженного лица нечто затравленно-дикарское. Бубна ей не хватает, вот что, мелькнуло у Леона. Девочка нафарширована железяками, как самопальная бомба.

Добравшись, она с явным облегчением опустила тяжелые тарелки на стол (и удивительно, что не бросила по дороге: у нее был вид человека, готового кинуться прочь в любую секунду).

– Э-э... благодарю вас... – обескураженно пробормотал Калдман. – *Entschuldigung*, а что наш э-э... *Herr Ober*, тот, что принял заказ? Он покинул этот мир?

Она переминалась у стола и переводила сосредоточенно-мучительный взгляд с

одного лица на другое, причем смотрела не в глаза, а на губы, будто пыталась расшифровать несколько немудреных слов, к ней обращенных. Наверняка немецкий не был родным ее языком.

Но едва Леон открыл рот, чтобы обратиться к девушке на английском, она проговорила:

– Его несчастье... сынок упасть... разломать руку... Позвонили бежать домой. Просил меня заменять-принести...

И голос у нее был *дикарский* – трудный, хрипловатый, растягивающий слоги, инородный всем этим зеркалам, бронзовым лампам на столиках, мраморным колоннам с длинноухими фавнами в наверхиях, белому роялю на каплевидной эстраде.

Видать, у них там и впрямь стряслось нечто непредвиденное, подумал Леон, если они выпустили из подсобки эту золушку. Да и непредвиденного не нужно: летнее время, наплыв туристов, жара. Старушка Европа задыхается.

– Хорошо, спасибо, – мягко и раздельно проговорил он по-английски, пытаясь поймать ее взгляд, цепко вытягивающий слова из его шевелящихся губ. – Тогда принесите и вино. *Уайн, уайн!* Мы заказали «вайс гешпритц».

Она с явным облегчением вздохнула, закивала всеми своими колечками и торопливо ушла – невысокая, тонкорукая, в мешковатой майке и бесподобном модном рванье на бедрах.

– Ну и дела! – с изумлением проговорил Натан. – Приличное заведение... и вдруг такое чучело.

– У нее милое лицо, – возразил Леон. – Если освободить его от всех вериг...



– Ну брось! Неужели тебе могла бы понравиться такая женщина?

– Нет, конечно, – отозвался Леон. – Просто я сказал, что ее можно привести в порядок.

– Любую женщину можно привести в порядок, если вложить в нее какое-то количество денег... Уф! Я даже на секунду напрягся: ты видел, как она смотрела на нас? Точно несла не обед, а бомбу.

– Думаю, у нее вообще проблемы с окружающим миром.

– И в ней есть что-то азиатское. Дикая монгольская лошадка.

– Я бы сказал, в ней что-то от фаумских портретов: те же овалы чистых линий – если, конечно, отрешиться от железа.

– Не смей меня. Тоже, поднабрался на светских приемах у французских интеллектуалов! Обычная девчонка с какой-нибудь вшивой азиатской окраины. Вот вам нынешняя свобода Европы! «Железный занавес» им, видите ли, мешал. А теперь получите всеобщий бедлам и распишитесь.

– А ты скучаешь по старым добрым временам незабвенной Штази? – вскользь полюбопытствовал Леон.

– Я скучаю по старым добрым временам доинтернетовой эры, – вздохнул Калдман, заправляя льняную салфетку за воротник рубашки. – Когда для кражи секретных документов из охраняемых помещений требовалось гораздо больше времени и усилий. Ты слышал о прошлогоднем деле в NDB?

Леон неопределенно качнул головой, сосредоточенно извлекая острием ножа мазок горчицы из фарфоровой баночки, разрисованной синими петухами.

– Швейцарцы, как обычно, предпочитают замять семейное дело, но поди замни

в наше-то время полной проницаемости всех портков. Если коротко: грандиозная утечка секретных архивов. Терабайты информации, миллионы печатных страниц секретных материалов – важнейшие сведения, добытые разведками «Пяти глаз»...

– Есть подозреваемый?

– Да, некий «техник», якобы талантливый настолько, что имел «права администратора», то бишь неограниченный доступ к большей части сети NDB... Сюда совершенно не доходит дуновение от вентиляторов, Леон! – недовольно пробормотал Калдман, вновь осушая лоб салфеткой. – Мы на отшибе, поэтому нас игнорируют официанты. Боюсь, это самое неудачное место во всем зале.

– Но самое правильное.

– Да, – вынужден был согласиться Калдман. – Так «техник»... Работал там лет восемь и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Короче, паренек обчистил серверы, уложил в рюкзак жесткие диски и беспрепятственно их вынес из правительственного здания.

– Собирался продать?

– Не знаю подробностей, расследование ведет офис федерального прокурора Швейцарии, а ты знаешь, как они чувствительны, – слоны на пуантах! Вроде считают, что он не успел передать данные заказчику...

Калдман искоса поглядывал на собеседника, на его руки, небольшие и вправду изящные, как у женщины, на завораживающие их движения: дирижер плавно завершает музыкальный период. За этими руками можно долго не отрываясь наблюдать: небольшой интимный спектакль в янтарном свете лампы Тиффани.

Несмотря на то, что Леон поддерживал разговор короткими точными

репликами, Натану с каждой фразой становилось все очевиднее, что того не интересует ни кража секретных документов в NDB, ни вообще вся эта *их возня*. Глядя на Леона, трудно было избавиться от ощущения изрядного расстояния между ним и любым другим объектом: эффект перевернутого бинокля.

Надо сменить пластинку, озабоченно подумал Натан, пока он и вовсе не замкнулся. Не напирать, не торопиться... Впрочем, сегодня мальчик и на Шуберта не расщедрился. Он – сложный организм, и ты сам это знаешь. И, кажется, ему, наконец, надоели *все мы*. Все мы, *вместе со страной* и его собственной юностью. Как он сказал в прошлый раз? «Я – Голос!» – самым тоном подчеркивая дистанцию между ним, аристократом, и всеми нами, вонючими ищейками. Ах, ты – Голос, да еще с большой буквы? Пожалуй, это правда, и мне крыть нечем. Но подсуетись в последний раз для своей страны и своего народа – между тремя, слов нет, божественными руладами...

Он улыбнулся и заговорщицки подмигнул Леону:

– Слушай, а что твоя подружка из Лугано? Ее звали... – сделал вид, что припоминает имя, – ...Маргаритой, кажется? Ты привозил ее к нам на Санторини, года... полтора назад, да? Синеглазая кудрявая шатенка, очень стильная девочка, носик, правда, длинноват и сама высоковата, я имею в виду – для тебя. И, кажется, слегка комплексовала по этому поводу, я не прав? Но ходила в туфельках без каблучков, что говорило о ее серьезных намерениях относительно тебя. Мне тогда казалось, у вас все *идет на крецендо к торжественной коде*...

Леон промолчал, намазывая масло на ломтик булки. Наконец невозмутимо произнес:

– Мы с Николь сохранили приятельские отношения. Я всегда оставляю ей лучшие билеты, когда пою в Лозанне или Женеве.

Тут бы старшему и уговориться. Но он продолжал:

– Жаль. Я уж полагал, что ты удачно пристроен. Она ведь не из простого дома, я не ошибся? Из тех родовитых итальянских семей в неприметной вилле на тенистой улочке в центре Лугано? Уютная вилла со скромной вывеской мало кому известного, но ворочающего триллионами банка. А в подвалах сейфы, не открывающиеся веками... В начале девяностых туда ежедневно мотались курьеры с чемоданами наличных. Кстати, не их ли банк связан с семьей Ельцина?.. Ну, не злись, не злись, *ингелэ манс!* Я просто любопытствую. Просто хотелось знать – кто завоевал сердце моего дорогого мальчика.

Леон поморщился – едва заметно, но так, чтобы Натан этого не упустил. С «дорогим мальчиком» старик явно переборщил. Или подзабыл за те полтора года, что они не виделись, как яростно охраняет «дорогой мальчик» все, что касается его личной жизни. Собственно, они там, *в конторе*, и отступились, когда стало ясно, что заставить его жениться, чтобы хоть как-то притушить странность этой одинокой фигуры, вечно окруженной *расстоянием*, как рвом с водой, так и не удастся.

Натан коснулся руки Леона своей широкой ладонью (на трех пальцах давным-давно отсутствовали ногти), и успокоительно, властно повторил:

– Не злись! Я отношусь к тебе, как к Меиру, потому и бесцеремонен, и лезу не в свои дела, и так же получаю по старой любопытной башке.

Тут надо было бы воскликнуть нечто вроде: *ну, что ты говоришь, я так ценю твое участие в моих делах*, – и прочее... Но молодой человек подчеркнуто

уклонился от *душевных прикосновений* и взял небольшую паузу, употребив ее на то, чтобы извлечь из-под языка мелкую рыбью кость.

– Кстати, как Меир? – наконец спросил он. – Уже полковник?

Опять явилась кухонная замарашка, на сей раз в застегнутом жилете, с бутылкой домашнего белого в руке. Молча разлила по бокалам вино, преувеличенно осторожно наклоняя бутылку, обернутую салфеткой, провожая наклонную струю чуть вытянутой шеей...

*...трогательной такой, едва ли не детской шейкой. Ау, девочка, вот и ты навсегда проплываешь мимо, удивленно подрагивая своим закольцованным лицом с фаюмского портрета...*

Две-три секунды она неуверенно топталась у стола, пока Калдман не отпустил ее ободряющей улыбкой.

– Так истерзать собственное лицо, чтобы оно напоминало решето... – Он покачал головой. – Это ведь больно, разве нет?

– Не больнее, чем вырванные ногти, – отозвался Леон, не глядя на руку Натана. Тот ничем не ответил на неожиданный выпад «дорогого мальчика», даже руку со скатерти не стянул, но, видимо, решил, что наконец выманил Леона из панциря и может приступить к следующему этапу. Во всяком случае, эта задиристая фраза, которую Калдман отметил еле заметной усмешкой, послужила своеобразным взмахом невидимой дирижерской палочки, после чего в легкой и ничем обоих не обязывающей беседе наступила длительная пауза. Впрочем, паузу было чем заполнить: форель оказалась изумительной – свежайшей, нежной, пряной...

...Такую вылавливают при тебе в ручье под деревенской харчевней «Даг аль а-Дан»<sup>[4]</sup> на севере Израиля, недалеко от Рош-Пины. Сидишь ты за грубо сколоченным столом на дощатом помосте, перекинутом через настырное бормотание неугомонного ручья, а вокруг и под ногами бродят куры и петушки с такими радужными хвостами, будто их отлавливали по одному и раскрашивали вручную каждое перо. Декоративная порода, их разводят хозяева заведения – не для стола, а так, для забавы.

И в полдень всё в движении и кружении прыгучих сквозистых теней от виноградной кроны вверху, в солнечных хлопотах и свежем ветерке: прозрачные косы воды под дощатым помостом, босые шлепки подавальщиц, трех хозяйских дочерей-хохотушек, жареная форель, приплывшая к тебе на белой фаянсовой тарелке. И все вокруг – сладкое забытье, покой, плеск и щебет в знойной тишине: длинный шалфейный выдох Верхней Галилеи... Господи, неужели я когда-нибудь вернусь туда за своим именем...

Наконец Натан проговорил, обстоятельно, с неторопливым скупым изяществом отделяя ножом кусочки рыбы от костей:

– Да, Меир получил повышение, и серьезное повышение. Начальство, видишь ли, поощряет его личную Obsession: он ведь уверен, что в конечном счете мир спасется новой цивилизацией на другом технологическом уровне. Что касается меня, тебе известно мое мнение о «конечном счете», который всегда не в нашу пользу: шесть – ноль. В конечном счете все мы сдохнем, тем более что человечество прилагает к этому изрядные усилия. Но согласен – лучше позже, чем раньше.

Короче, Меир одержим сверхидеей переброса всех наших войн в киберпространство. Замучил себя и всю семью. Пока не получил свою вожденную третью степень в Технионе, Габриэла и дети, а заодно и мы с его бедной матерью ходили по стеночке и боялись пукнуть!

Леон расхохотался и продолжал смеяться все веселее и заразительней.

– Ты чего? – поинтересовался Калдман, поневоле улыбаясь и любуясь его бесхитростным гоголом.

*Жаль, что он так редко смеется. С его-то зубами, с этим счастливым высверком в ореховой смуглоте, с этим звенящим смехом небесного отрока! Любой другой рта бы не закрывал.*

– Представил сейчас, как все вы построились у себя на вилле в Эйн-Кереме: ты с Магдой, Габриэла и близнецы, и даже малыш, и ждете навтыяжку защиты докторской Меира, чтобы с облегчением выдать дружный залп.

Натан, посмеиваясь, наблюдал за мгновенной сменой выражений на лице Леона – выражений, которые сопрягались, переливаясь одно в другое или одно от другого отталкиваясь. Все же поразительна эта его особенность: сочетать в лице два абсолютно не сочетаемых чувства, например, веселья и неприязни. Натан однажды наблюдал его при случайной встрече с Габриэлой, когда в едином выражении на лице вспыхнули ненависть и ликование. Впрочем, для этого были свои причины – тогда; ну, а ныне *дети* и вовсе не встречаются.

Он выждал еще пару мгновений и продолжал:

– Короче, сейчас Меир собирает дошкольников для грядущего *онлайн-Армагеддона*... Того самого, что эти *поцы*<sup>[5]</sup>, газетные аналитики, называют «войной

теней».

– Собирает дошкольников?!

– Ну, старшекласников, какая разница! Для меня все они – пришельцы, тыквоголовые, окольцованные... как вот эта девочка с *вооруженной мордашкой*. Короче, наш Меир пробил и создал новое подразделение, где эти юные хакеры, все – гении и специалисты в области взлома серверов, алгоритмов кодирования, отслеживания информации в цифровом потоке, короче, во всех этих милых затеях, – станут резвиться на полях сражений ближайшей кибервойны. Многие разработки настолько секретны, что о них даже нельзя упоминать, что, конечно, вовсе не указ нашим трепачам. На днях один деятель из кабинета министров в интервью чуть ли не «Таймс» порадовал *наших друзей* известием о создании нового вируса. Этот боевой червячок якобы не только считывает и передает информацию с жесткого диска, но и записывает телефонные разговоры в радиусе слышимости вокруг компьютера, и дарит желающим еще много всяких иных радостей. То есть на сегодняшний день мы имеем дело с неким совершенством вроде... ну, не знаю, – Венеры Милосской в мире искусства, уж не меньше.

– Я слышал кое-что, – скупой обронил Леон. – И все это – достижения школьников Меира?

– Во всяком случае, в последние недели у него торжествующий вид.

– Неплохо бы помнить, – заметил Леон с нейтральным лицом, – что эти штучки могут быть использованы не только против персов с их ядерными амбициями, но и против любого государства. Самыми уязвимыми могут оказаться именно самые развитые страны, а мы – в первую очередь. И изменили ситуацию как раз вот эти



разработчики, вроде гениальных Меировых пацанов; эти маленькие боги с большим электронным фаллосом. То, что раньше было доступно лишь сверхдержавам, сегодня есть в распоряжении чуть ли не каждого бедуина. «Новые вызовы современности» – кажется, это их *слоган*?

Он не любит Меира, с давней печалью подумал Натан, и надо признать, у него для этого есть все основания. Интересно, как *сейчас* расценивает Габриэла свой школьный выбор?

Как раз на днях, случайно оказавшись на их с Меиром половине дома в поисках очередной необходимой вещицы вроде маникюрных ножниц (которые с редким постоянством утаскивают для своих игр близнецы, а возвращать и не думают), Натан увидел на письменном столе Габриэлы диск с ораторией «Блудный сын» – той самой, где Леон своим крылатым голосом небесной дивы расписывает запредельные пируэты...

*...и как всегда, едва он вспоминал Леона или слышал первые такты звучания его голоса, тот возник в темном углу кухни: смуглый ангел в белой тоге, страшно кудрявый, с запущенной гривой мальчик с картины Рембрандта. Он молча стоял, ухватившись тонкой рукой за набалдашник деревянных перил (эта картинка всегда – по цепочке – вызывала еще одно видение: крошечная больная мама в ночной сорочке – мама была смуглой). Оба видения двоились, перетекали одно в другое, неизменно вызывая краткое сжатие сердечной мышцы.*

*В тот вечер Натан вернулся с севера, с места крушения двух боевых вертолетов – двадцать семь парней, двадцать семь отборных наших мальчиков,*

драгоценный генофонд, сгоревший, перемолотый в страшное месиво... Он на ногах не стоял, нарочно топал ботинками, чтобы напомнить себе о земле, о семье, о доме. И о том ударе о жестокую твердь, что раскрошил их черепа и позвоночники.

Поднявшись на крыльцо, отворил дверь, и первое, что увидел, – этого кудрявого ангела в белом... Потом уже и остальных детей – наряженных кто во что горазд. Но этот стоял поодаль и сам по себе: отрок, что-то нашептывающий Матфею, – только не с золотистой, а смоляной гривкой, с крутыми, грязноватыми на вид кудрями.

– Аба<sup>[6]</sup>, мы репетировали, – торопливо сказал Меир. – Мы сейчас разойдемся, прости, уже смотрели по телику – ужас!.. а как же они столкнулись, аба... ведь приборы...

Он прошел мимо них, все еще топя грязными ботинками, к лестнице (Магда убила бы, ее любимая лестница, красное дерево, набалдашники дурацкие).

Что тут поделать, если Леон всегда нравился ему гораздо больше, чем Меир. Нет, конечно, Меир – сын, поздний, единственный, ненаглядный сын, и любит Натан его, и гордится им, как дай боже любому отцу! Но вот это нравится... это такая хрупкая неуловимая штука. Это нравится, которому не прикажешь, которое не одернешь и в сейф не запрешь. Все очень сложно. Этот мальчик всегда нравился ему больше, чем родной сын, – странным сочетанием артистизма и замкнутости, способностью мгновенного и полного, на скаку «включения» в ситуацию, когда бесстрастность буквально скатывалась с лица, и такого же мгновенного «отключения», и тогда в его лице появлялось что-то от жестокой отрешенности дервиша. А сама его внешность – непонятно откуда? Посмотришь на его рыжую

белокожую мамашу и поневоле задумаешься – уж не подкидыви ли этот Этингер?

Натан вздохнул и вновь заговорил о том, как молодеют – да нет, *юнеют* некоторые подразделения разведчастей. И это понятно: за последние двадцать лет методы работы спецслужб радикально изменились: сейчас все строится на технологиях тотального сканирования и фильтрации гигантских массивов информации. Мозги, мозги, молодые мозги, юное серое вещество, черт бы его побрал. Сегодня каждый желторотый засранец, каждый сопливый *поц* может беспрепятственно базланить, что *старой гвардии* пора в утиль...

– Иными словами: здесь больше не продается славянский шкаф и не висит клетка с канарейкой, – с чуть заметной иронией уточнил человек, чья кличка среди бывших коллег была, по определенным причинам, «Кенар руси».

Калдман доел, снял с воротника салфетку и аккуратно сложил ее на скатерти.

– У одного американского писателя есть книга о крестовом походе детей, – проговорил он. – В последние года два я ее то и дело вспоминаю. А вообще, ужасно хочется на покой.

– За чем же дело стало?

Старик помолчал, отодвинул тарелку с аккуратно обобраным форельным остовом, в котором было что-то от сухого осеннего листа. Задумчиво проинспектировал состояние лысины: на месте.

– Много думаю об Иммануэле, – сказал он просто. – Хотя сколько уже, как он умер, – лет пять?

– Семь в ноябре, – отозвался Леон и подумал: проверяет. Зачем? И сам

прекрасно помнит, когда Иммануэль умер, и отлично знает, что я тоже помню. И не надоест же эта ежеминутная муштра и проверка всех вокруг. И сразу же сам себе задал вопрос: а может, он и есть то, что он есть, только благодаря этим яростным волчьим резцам, неутомимо треплющим слабые загривки родных, друзей, подчиненных?

*На миг вспомнил Натана таким, каким впервые увидел: с серым застывшим лицом, в мокрой от пота рубаше. Натан буквально вывалился из дверцы армейского джипа, подкатившего к воротам дома, вошел в гостиную и остановился, невидящими глазами обводя компанию примолкших подростков, среди которых был его собственный сын Меир. Они что-то репетировали своим только что – за завтраком – созданным театральным кружком, поэтому и нарядились в разное тряпье, которое Меир нашел в кладовке за кухней. Леону достался длинный грязно-белый балахон, в котором Меиоров дед очищал от меда улы в своем кибуце, где-то в Верхней Галилее...*

*В тот день на учениях столкнулись два боевых вертолета, набитые отборными парашютистами спецназа. Натан, кажется, тогда был какой-то шишкой в Генштабе, и можно лишь представить, что для него лично означали эти обломки и эти тела. Он стоял в холле, в полной тишине, уставясь на них ослепшим взглядом раскосого быка, вылетевшего на свет из загона. Меир что-то залопотал (он всегда побаивался отца; кажется, и сейчас в острые моменты придерживает язык по старой памяти, так что сказочка про то, как вся семья ходила по струнке в ожидании защиты его диссертации, может развлечь кого угодно, только не*

Леона) – и отец, ничего не ответив, молча затопал вниз по лестнице в глубины их странного перевернутого дома.

– В ноябре будет семь лет, – невозмутимо повторил Леон.

– Точно, – отозвался Калдман. – Знаешь, мне его страшно не хватает... Не могу смириться с тем, как его похоронили – тихо-благопристойно, как... как обычного продавца фалафеля или какого-нибудь банковского *пакида*<sup>[7]</sup>! – Он положил обе ладони на стол и медленно, тяжело развел их, двумя чугунными утюгами разглаживая крахмальную скатерть. – Это всё его семейка – дочь, сын... Мне кажется, под конец они даже стеснялись его. Мири позвонила мне буквально минут через десять после его кончины. Была уверена, что я стану «гнать торжественную волну» – это ее слова! – позвонила и попросила «тишины». Как тебе это нравится? «Тишины для Иммануэля»! Этот человек, громогласный всей своей жизнью, у собственных детей не заслужил ничего, кроме «тишины». – Он горько усмехнулся: – И не удивительно, это удел крупных личностей: дети редко дотягивают до отца масштаба и потому исподтишка мстят, когда старый лев оказывается в инвалидном кресле и уже не может, как прежде, перевернуть мир одной ладонью. Вот тогда они говорят: «Хватит, перестань, папа! Ты всё со своими идеями, папа... ты всё со своим прошлым, папа... хватит уже, папа!»

В его неожиданной запальчивости есть что-то сугубо личное, подумал Леон, будто он примеривает на свое не такое уж далекое будущее некоторые сцены, прорабатывает ситуации, реплики... Предусмотрительность старого разведчика на домашнем полигоне.

Вслух он проговорил:

– Не преувеличивай. Никогда такого не замечал. При мне и Мири и Алекс вели себя вполне благопристойно. И как, по-твоему, его следовало хоронить – с воинскими почестями, на лафете, с оркестром и оружейными залпами? Какая разница, что делают с твоим телом после...

– Нет! – Натан прихлопнул по столу широкой ладонью с тремя обезглавленными пальцами. – Нет! Человеку, благодаря которому государство выиграло свою главную битву – за право быть! – не отдать того, что ему причитается? Не назвать его именем улицу, площадь, школу?!

– Не уверен, что Иммануэлю хотелось бы всего этого, – заметил Леон. – Вовсе не уверен.

Он вспомнил старика *уже на колесах*, но по-прежнему властного и действительно – громкоголосого («У меня луженая глотка!» – хвастливым тоном), в любом разговоре шутливо-острого. Вот кто не позволял и намека на сентиментальную пошлость, чувствительность или жалость – ни себе, ни окружающим. Да, под конец бывало, что он опять принимался рассказывать какую-нибудь свою давно известную историю, из-за чего Леон все их вызубрил наизусть; вполне возможно, что Мири или Алекс – престарелые его дети, со своими проблемами, болячками и нутьбой – когда-нибудь и могли сказать это самое *хватит, перестань, папа, уже все слышали эту майсу*<sup>[8]</sup> *двести раз!..* Но что правда, то правда: мир продолжал крутиться у колес его инвалидного транспорта не только потому, что алкал его миллионов. И два его преданных тайца, Винай и Тассна (*мои ужасные нубийцы*, называл он их фразой, вычитанной из какой-то

дореволюционной книжки для юношества) всегда ненавязчиво и молчаливо присутствовали рядом для любых поручений. Их почему-то считали братьями, хотя они были очень разными: Тассна – высокий, жилистый и гибкий (его всегда хотелось назвать танцором, он и походку имел какую-то ритмичную, и, когда руки бывали свободны, постоянно прищелкивал пальцами, локтями покачивал, поводил плечами). Винай – тот покрепче был, ниже ростом, молчалив и как-то слишком уж цепок: возникал перед тобой внезапно и предупредительно – для любых просьб. Да: для любых поручений и затей.

А как они готовили всю эту морскую разно-прелесть – прекрасно подменяя один другого, как жонглеры с кеглями. Оба великолепные повара, так споро-весело щелкали ножами и тесаками по разделочным доскам, будто чечетку отбивали. И такими ловко-точными, любо-дорого-движениями вбрасывали из ладони куски мяса на сковороду...

В их расчудесном меню было коронное блюдо: салат из холодной говядины. Подавался в широкой и плоской керамической чаше, непременно увенчанный произведением искусства: *луковой розой*, вырезанной Винаем из головки красного лука.

Считалось, что при них обо всем можно было говорить на иврите – они, мол, понимают только английский (хотя жили в доме Иммануэля последние лет десять). С ними, помнится, все говорили по-английски – прислуга, Мири и Алекс, все внуки Иммануэля и даже его молодая любовница – да-да, была и такая сомнительная фигура в парадоксальные последние годы старика. Недурная, кстати, фигурка, впоследствии *изгнанная в пустыню* из-за какой-то истории с кредитной карточкой

Иммануэля... Кажется, она щедро оплачивала ему расходы своего возлюбленного альфонса, а может, и целого ряда альфонсов, уходящих в зеркальную перспективу. И старик переживал «предательство», как юный брошенный тореро, сидел, нахохлившись, в своем кресле и в один из приездов не постеснялся с горькой ухмылкой сказать двадцатитрехлетнему Леону:

— А что прикажешь делать, если я все еще мужчина? — чем привел того в восторг.

Плевать, конечно, на все похоронные ритуалы и тем более на признание политических заслуг. Вот слушать истории Иммануэля, пусть и повторенные слово в слово, всегда было радостью... Как и просто сидеть у огромных колес его гениального кресла, выписанного по каталогу фирмы одного безумного изобретателя, впоследствии прогоревшего: Иммануэль обожал новшества и наверняка был единственным, кто заочно купил этот дикий, космический по виду агрегат.

Свой дом в Савьоне он почему-то упорно называл «бунгало». В воображении Леона при слове «бунгало» возникала хлипкая приземистая постройка с камышовой крышей. Дом же Иммануэля, выстроенный им когда-то с горделивым размахом в стиле мексиканской гасиенды, хотя и был одноэтажным, но с четырехметровыми потолками, четыремя великолепными колоннами у входа, с гигантским холлом, чья стеклянная раздвижная стена выходила прямо в просторное, обсаженное старыми пальмами патио с необычно глубоким, как озеро, бассейном.

Сколько же вечеров Леон просидел со стариком у этого бассейна, глядя, как



струя электрического света из холла колыхнется на воде, скользит по стволам, перебирая вееристые листья пальм! Между пальмами расставлены широкие низкие кадки с кустами любимой стариком лаванды («Твоя убогая лаванда, папа! Давно пора посадить тут цветы...») – и цветы были посажены сразу после смерти Иммануэля).

Запах воды, смешанный с запахом лаванды, лунный свет на плитах пола; чувство *настоящего дома* – то, что со смертью старика утрачено даже в мечтах.

В двенадцать ночи у бассейна возникал один из «ужасных нубийцев» и уносил старика на спине – огромное кресло застревало в дверях спальни. Бывало, являлись вдвоем, ровно в двенадцать – в этом они были неумолимы. Иногда Иммануэль, не оборачиваясь, раздраженно поднимал ладонь, как бы приказывая оставаться на месте, пока он не попрощается с гостем. «Ужасные нубийцы» молча застыли минуты на три – в этом было нечто постановочно-голливудское, – после чего вновь спокойно и настойчиво подступались к старику. Он называл это «передислокацией к ночному горшку».

– Ты останешься ночевать? – каждый раз спрашивал старик уже вполоборота. Маленькая веснушчатая кисть выразительно «крутит штопор». – *Цуцик*, почему ты никогда не останешься ночевать? Я бы хотел однажды с тобой позавтракать. Что у тебя за вечные привычки полевого агента? Неужели тебе охота мчаться на ночь глядя в Иерусалим? Тебя ждет там женщина? Только ради женщины я мог вскочить и лететь бог знает куда... Но Леон не оставался у него ни разу, это правда.

*Впрочем... стоп! Однажды он вломился к Иммануэлю ночью – той ночью, когда не убил Владку, слава богу; не убил мать, а просто выбежал из дому, прыгнул на мотоцикл и, выжигая предельную скорость, чуть не за полчаса примчался к Иммануэлю. Тот уже лежал в кровати, но еще не спал – читал в свете настольной лампы. И даже не вздрогнул, когда Леон возник в дверях. Просто молча смотрел поверх очков, как тот шагнул в комнату, рухнул на низкий пуф напротив и мучительно выхаркнул:*

*– Я – араб...*

*Тогда старик улыбнулся (и эту улыбку забыть невозможно, она парит над всей жизнью: конопатая старческая улыбка, отменяющая вздор, пошлость и жестокость этого мира), помолчал, легонько кивая каким-то своим мыслям, и домашним уютным тоном, сминающим мотоциклетный надрыв, задумчиво проговорил:*

*– Так вот от кого она тебя родила...*

Итак, два верных «ужасных нубийца» уносили старика на плечах... Прежде чем пересечь холл и по мраморным ступеням спуститься в ночной сад, изысканно подсвеченный фонариками, Леон несколько мгновений стоял и смотрел вслед этой процессии: в ней было что-то из обихода цезарей...

Когда они оставались вдвоем, Иммануэль переходил на русский. Великая штука – родной язык, говорил он, черт бы его побрал! Родной язык... его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегустатор слагает подробности аромата винного букета,

лаская его послевкусие. Хочется ворочать камешки согласных между щек, а гласные глотать по капле, и чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах...

Он по-прежнему много читал по-русски, поэтому сохранил язык, хотя говорил с небольшим акцентом, но говорил ярко, запальчиво, иногда неуместно-цветисто, немного книжно, пересыпая вполне культурный текст занозистыми харьковскими словечками и ругательствами: «сявка», «ракло», «раклица»...

Так вот, байки Иммануэля. Особенно та, молитвенно-бордельная, под летящим косым венецианским снегом:

– В ноябре сорок седьмого, суч-потрох, да! В ту осень ООН приняла резолюцию о создании государства: ноябрь сорок седьмого. Как топором по шее! И башка моя слетела к чертям – я был счастлив, суч-потрох! Мы с Шифрой тогда приехали из Лондона в Париж провести Алекса – ему исполнилось тринадцать, он учился в закрытом пансионе, который стоил нам кучу денег. Но я никогда не думал о деньгах. Я всю жизнь делал их, и порой делал из ничего, но никогда им не служил и не позволял, чтобы они как-то влияли на мое отношение к близким и друзьям, да и к себе самому. Короче, это был самый счастливый день моей жизни – когда я узнал, что у нас будет своя Страна... И сразу же тут началась бойня – арабы не могли допустить подобного оскорбления, мы были как чирей у них на заднице – и не сядешь, и не вырежешь. А мы были голы и босы в своем торжестве, и чресла препоясаны ветошью... Ну, не совсем, конечно, ветошью – Хагана перед этим уже подсобрала оружия, но все оно было таким пестрым – и по калибрам, и по моделям,

и по возрасту: финские «суоми», американские «томпсоны», британские «стэны» – их покупали у арабских контрабандистов или просто воровали с британских складов... Но этого было недостаточно! Арабская саранча прет со всех сторон, а у нас кривая берданка и фанерный грузовичок, суч-потрох! Плюс эмбарго на поставку оружия в наши края, которое поспешили наложить американцы, – лучше бы они в штаны себе наложили! А, скажу тебе, к тому времени я месяца три уже как был стерлинговым миллионером – благодаря той исключительной афере с закупкой хлопка в Египте. Я тебе о ней рассказывал? Так послушай еще раз, это просто менуэт, сарабанда, мазурка! В Палестине были текстильные предприятия, но не было пряжи. Зато в Египте было столько хлопка, что там не знали, куда его девать, хоть подтирайся им. Ну, а в Италии – ты следишь за пируэтом? – в Италии Муссолини перед войной создал мощную текстильную промышленность. Так что я сложил два и два, впендюрил в дело весь мой капитал – на тот день у меня было аж восемь тысяч фунтов стерлингов! – и запустил этот маховик: сырье из Египта в Италию, из Италии пряжу – в Палестину, контрабандой. Разворот, поклон, пары сходятся... Риск был колоссальный! Почтенные деловики смотрели на меня, как на олуха царя небесного, пальцами крутили у виска. Но уже в апреле сорок шестого я был тем, чем был, – коротышкой с миллионом в кармане. Правда, только с единственным миллионом, но это казалось огромными деньгами, и я *сам себе* выглядел королем и даже чуток подрос, а? А тут – своя Страна, и своя война, и своя кровь льется такой широкой рекой, что эта самая страна вот-вот захлебнется. Я был как одержимый: ехать, сражаться, суч-потрох!.. Но мне нашли другое применение. Мне позвонили ночью. Причем, не застав меня в отеле, обзвонили по цепочке всех

моих знакомых и – это я узнал позже – прочесали все злчные места, где я любил тогда бывать: в «Ля Куполь», и «Ле Дом» и «Ля Тур д'Аржан». Но накрыли меня в «Мерисе»... Это был один из самых шикарных ресторанов: в отеле «Мерис». Там подавали дивную рыбу – тюрбо, например, – ну, и омаров, лангустов и отличных устриц... Почему помню так ясно? Потому что встретил там Дали. Он любил останавливаться в «Мерисе» и частенько там же обедал – деньжата у него водились, папаша его был небедным человеком...

...Кстати, я рассказывал тебе, *цуцик*, что был на том знаменитом обеде у Поля Элюара и Макса Эрнста, с которого Дали увел Галу? И Эрнст и Элюар в то время жили с ней – оба. Такие связи были не то что приняты, но как-то вполне проглатывались обществом. Дали был приглашен туда среди прочих и, отобедав, преспокойно увел Галу – навсегда.

Так вот, как только я заметил их в «Мерисе», мне стало интересно, что заказывает себе в подобных заведениях такой чокнутый оригинал. Между прочим, никогда не считал его хорошим художником. Он был шоуменом, клоуном, возмутителем нравов, но, в конечном счете, прежде всего расчетливым дельцом... Я поднялся и направился в мужскую комнату мимо их столика – я был страшно любопытен. Гала разделялась с устрицами, Дали ел йогурт! Ложечкой. Между прочим, к твоему сведению, йогурты во Франции появились с легкой руки некоего Исаака Карассо и поначалу продавались в аптеках – индустрия возникла позже, компания называлась «Данон»... Так вот, когда я вернулся из мужской комнаты, ко мне подошел официант и пригласил к телефону. Звонил Ицхак Бен-Цви, один из тех, кто тогда метался в Палестине от одной брешки к другой, пытаясь закрыть их чуть ли

не собственным телом. Он был дико напряжен, усталый, взвинченный. Сказал: Иммануэль, срочно нужны деньги на закупку оружия. Русские дали добро, хотя прямые поставки из Москвы исключены. Оно пойдет из Чехословакии, оружие – частью трофейное, германских образцов.

Я подумал: что за дивная шутка нашего Боженки – дать нам в руки бесхозное нацистское оружие, чтобы мы сражались им *за свою страну*.

– У меня на счету только миллион, – сказал я. – Сколько вам нужно?

Он воскликнул:

– И ты спрашиваешь?! Есть миллион – значит, понадобится как раз миллион...

Я сказал ему, что не могу такие вопросы решать один и должен посоветоваться с Шифрой. И сразу же позвонил ей в отель. Она спала – она вообще не была любительницей ночных ресторанов и спать укладывалась рано.

– Шифра, сердце мое, – сказал я. – Мне необходимо снять со счета все наши деньги... Она спросила заспанным голосом:

– И для этого ты разбудил меня среди ночи? Ты что, забыл номер нашего швейцарского счета, Иммануэль?

Вот такая это была женщина – моя Шифра: благородство, широта и... и полное отсутствие ревности! Да! После войны Европа была просто огромной свалкой оружия, в большинстве своем трофейного, нацистского. Ходи и подбирай, только плати, конечно, плати и плати! В те годы я мог любое дело прокрутить. Идеи распирали черепушку, а энергии было столько, что частенько я куролесил трое суток без сна, а на четвертые лишь удивлялся, почему кофе уже не слишком меня бодрит. И машина завертелась, и я был счастлив, суч-потрох! Я был в своей стихии! Знаешь, я

втайне всегда считал себя человеком криминального сознания, не смейся! Так вот, моей задачей была режиссура: фальшивые документы, встречи с нужными людьми, покупка списанных посуды – этим мы промышляли в портах Греции... Та еще карусель крутилась: оружие из Чехословакии загружалось в югославском Сплите, экипаж сколачивали из итальянцев. Уже первый пароход вез в Тель-Авив шестьсот тонн оружия. Мы рассовали его по разным грузам в разобранном виде: в компрессоры, бетономешалки, катки... И Бог был на нашей стороне – Ему, видимо, до зарезу понадобился в личное владение этот клочок земли; как говорил мой харьковский дед, «иметь куда поставить ногу»... Это было дело, серьезное дело: первый же контракт – пять тысяч винтовок, двадцать пулеметов, пять миллионов патронов, даже два *почти «мессеримитта»*... Спроси меня: почему – *почти*? Просто они собирались в Чехословакии из разрозненных узлов от германских истребителей, и двигатели на них пришлось ставить менее мощные. Кроме того, я умудрился закупить в Великобритании четыре истребителя «бофайтер»! Спроси меня – как? От имени новозеландской кинокомпании: «Уважаемый сэр, для съемок фильма о подвигах новозеландских летчиков в войне на Тихом океане...» – до сих пор горжусь этой легендой.

Но однажды, не помню уже – почему, крупную партию винтовок, пулеметов и гранат я отправлял пароходом из порта Венеции. И был очень неспокоен: время зимнее, море опасное, а посуда – двести раз перелатанная халабуда. Имя ей было «Победительница Адель», ни больше ни меньше, суч-потрох, и выглядела она в точности как пожилая шлюха из нахичеванского борделя после урожайной ночи.

И вот я стоял на причале венецианского порта в пять утра, в длинном теплом

пальто с поднятым воротником, и смотрел, как команда отдает швартовы и как, кренясь на волнах, «Победительница Адель» колченогой шлюхой удаляется в зимний туман лагуны. Пошел снег, а я забыл шляпу в отеле. В считанные минуты моя шевелюра (ты веришь, что когда-то у меня была недурная рыжая шевелюра?) осела под копной мокрого снега...

И когда, зарываясь носом в свинцовые воды лагуны, пароход скрылся из виду, я понял, что должен помолиться за его благополучное прибытие! Но до гетто было далеко, а тащиться через весь город к еврейскому Богу даже за таким важным делом... Я оглянулся и увидел, что на углу площади служба в коричневой рясе с капюшоном открывает двери церквушки. И подумал – если Бог есть, он есть всюду. И вошел, и помолился, и – суч-потрох! трижды суч-потрох!!! – корабль таки дошел!

\* \* \*

На эстраду скользнул пианист – узкий, как змейка, одетый в тон роялю: в белые джинсы, светлую майку. Даже волосы его, цвета густых сливок, выглядели, как подкрашенные. И незаметно, вначале *пианиссимо*, затем чуть настойчивей зазвучало попури из мелодий Гудмена, Бернстайна, Копленда – все меланхоличные и расслабляющие. В этом заведении музыка не должна была ни задевать, ни вторгаться в разговоры обедающих. Спокойный уютный фон, не более того.

Леон смотрел на невозмутимого, будто стерильного джазиста, развлекавшего прохладным дневным джазом ресторанную публику, а видел Дикого Ури, ударника в



джазовом трио, что въярявал в крошечном клубе на задворках иерусалимского района Бако.

*Религиозный еврей в традиционном прикиде, включая шляпу, лохматые пейсы, обширную дикую бороду, не знавшую бритвы, и свисавшие вдоль колен длинные нити нагрудного талеса. В дни, когда он «сидел на ударе», в двадцатиметровую комнату клуба набивалось столько желающих его послушать, что трудно было вздохнуть. Все стояли, потому что так втискивалось больше народу, – стояли впритирку друг к другу и ждали солоимпровизации Дикого Ури.*

*После длинного любовного изъяснения очень недурного саксофона Ури брал крошечную тревожную паузу... и вступал!*

*Главным плацдармом его летающих, грозных и хлестких, мягких и нежных рук был огромный барабан, который в наших краях называют «тарабукой». Что эти руки вытворяли! Гром и плеск, шепот и дробот, чечетка, шорох и ласка, и даже невероятное – звук льющейся воды, а также звонкие голоса птиц, сон, дуновение ветра, умирание последнего луча... И вдруг – шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, столпотворение, вопли, битва в конце времен – и ослепительный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром...*

– Ты чему улыбаешься? – спросил Натан.

– Да так... Вспомнил случай, когда Иммануэль молился в венецианской церкви

за благополучный рейс «Победительницы Адели»... Если не ошибаюсь, после молитвы он отправился в бордель?

Натан хмыкнул.

– Причем можно поспорить, что сделал раньше. Мне он говорил: «Я так нервничал, доползет ли до наших палестин эта старая калоша... Необходимо было отвлечься».

– Я вот только не в курсе, – все так же, на улыбке продолжал Леон безмятежным тоном, – занимался он оружием в последние годы? Он ведь успешно вкладывал деньги в самые разные проекты, а? Были среди них... э-э... стратегические?

Интересно, подумал Калдман, почему он заговорил именно о стратегических проектах Иммануэля? Я ведь ни словом... Чертовское чувствилище! Неужели сразу понял, что...

Вслух он сказал:

– А я бы не прочь выпить кофе, если удастся высвистать *нашу вооруженную девицу*. И впредь умоляю тебя навещать этот семейный мемориум без меня.

Леон засмеялся и поднял руку, пытаясь привлечь внимание кого-нибудь из запаренных официантов.

– Что касается оружия, – продолжал Натан, якобы отзываясь на вопрос, но, как обычно, уклоняясь от прямого ответа, – так оно и сейчас течет рекой, вот разве уже не совсем к нам, и нам уже не очень этого хочется.

– На днях заглянул в «Вашингтон пост» и читаю: «Мы озабочены тем, что оружие из Ливии и Ирана с угрожающей скоростью распространяется в Сирию,

Египет, в Ливан, на Синай и в Газу...» – кажется, так. «Мы» – это ООН. Очередной доклад.

– ООН... пф-ф! – фыркнул Натан. – *Эти-то* перманентно в стадии «озабоченности». Такая рыхлая старая вдовица в Альцгеймере, не способная шевельнуть ни одной конечностью, даже когда вонючий сброд волочет по улицам Бенгази посла великой державы, на каждом углу насилая его, уже мертвого... Вот теперь западные говнюки нюхнули аромат цветочков милой их сердцу «арабской весны», к которой сами приложили лапу. Они еще не представляют себе ее зрелые яблочки. Впрочем, им уже и деться некуда: что бы они сейчас ни предприняли, конец один – гибель очередного великого, глупого, высокомерного и развращенного Рима... Неплохо играет, а? – заметил Натан, кивая на рояль. – Но и он, бедняга, смотри, как потеет...

Леон улыбнулся, в который раз дивясь наблюдательности Натана. Пианист и правда потел и в паузах пользовался платком, тоже, кстати, белым. Доставал его откуда-то из-под зада, вытирал потный лоб и опять подсовывал то под правую, то под левую ягодицу, хотя мог положить и на рояль – это было бы куда приличнее. Сам Леон заметил манипуляции с платком под задницей во второе свое посещение кафе и в гораздо более созерцательной обстановке. От Калдмана же, в каком бы напряжении он ни был, никогда не ускользали движения, жесты и даже взгляды окружающих в радиусе нескольких метров.

– Вообще же, у нас все по-прежнему, – продолжал Натан. – Говоришь – «Вашингтон пост». Странно, что ты еще просматриваешь прессу. Не удивлюсь, если ты вообще перестал следить за новостями, после того как *похерил старых друзей*...

Выдержал паузу в ожидании реакции собеседника, не дождался и подхватил нить собственных слов:

– И правильно! Ближний Восток – гниющая куча падали. Персы в свое удовольствие фаршируют оружием «Хизбаллу» и ХАМАС, шииты по традиции режут суннитов и наоборот; саудиты, салафиты и «Братья-мусульмане» грызутся за сферы влияния в странах Персидского залива... Что еще? Так, мелочи: глобализация джихада, подготовка боевиков в каждой подворотне, каждая новая группировка объявляет главную богоугодную цель: стереть нас с карты мира. При этом в сирийской резне уже погибло втрое больше арабов, чем за все наши с ними войны, но, как говорила моя бабушка, «кому мешают ваши маленькие семейные радости?»... – Он вздохнул: – Ненависть, мракобесие и крошечный ужас. Видал вчерашнюю новость: чик-чик, и голова британского полицейского падает на травку ухоженного газона: «Я стригу свою траву уже триста лет, сэр!» – «А мы, сэр, отныне будем стричь ваши *гяурские бошки*»...

Калдман бросил взгляд на левое запястье, решив, что еще минуту-другую можно отдать на *светские новости*. И тем же легким, светлым, слегка рассеянным тоном продолжал:

– Ну, и прочие приятные вести: медики «Аль-Каиды» в ближайшем будущем навострятя имплантировать *пентрит* в задницу очередному шахиду: взрывайся, родной, на здоровье. Талантливые ребята! Пентрит не в состоянии обнаружить ни один сканер в аэропорту. Вспомни покушение на главу саудовской разведки, на этого принца, как его, Мухаммада бин Наифа, к которому подослали молодчика с бомбой в жопе. Или этот «рождественский террорист», что пронес бомбу в трусах? Я уж не

говорю о персах, об их веселых центрифугах: при новом президенте Иран делает свою атомную бомбу с улыбкой, и он ее сделает, помяни мое слово.

– Но американцы...

Калдман раздраженно махнул рукой:

– Американцы ни черта не понимают в персах и никогда не понимали! Персы – это две с половиной тысячи лет великой империи! Это не индейцы, продавшие Манхэттен за нитку бус. Персы торгуют коврами две тысячи лет! И чем их хотят купить эти западные дикари в смокингах? Сейчас, когда бомба есть у Индии, Китая, России и даже у проклятого Израиля, персы – и я их понимаю! – обуяны стремлением взять реванш в нашем регионе.

Он наклонился к Леону и внятно произнес:

– Персы не идиоты, а ядерная конфетка – их национальная идея! Всего-навсего – национальная идея... – Машинально обежал взглядом зал и мрачно добавил: – А против национальной идеи не попрешь.

– Ну, положим, мы время от времени чешем их иранские пятки, – сдержанно возразил Леон. – Разве у них не гаснут лампочки в сортирах? А с научными их ребятами разве не происходят досадные оплошности?

Калдман растянул свою людоедскую пасть в широкую улыбку и дружеским тоном заметил:

– Я рад, что ты заглядываешь не только в ноты. Тем более что тебе передает заочный горячий привет наш главный чесальщик иранских пяток, твой дружок Шаули.

Вдруг вынырнул давешний официант: с расстроенным бледным лицом, но уже в униформе, уже на рабочем посту. И Натан вновь перешел на немецкий.

– Нам сказали, ваш сынишка... надеюсь, он не?... О, что вы говорите, *oh, es tut uns Leid für Ihren Bub*, бедняжка, бедняжка... Будем уповать на то, что в его возрасте кости быстро срастаются. И кто из нас вырос без переломов!

*О да, и кому из нас не ломали пальцы в обычном слесарном инструменте под названием «тиски»...*

– *Danke, Herr*, – растроганно проговорил официант, забирая тарелки, – *das ist sehr nett von Ihnen*<sup>[9]</sup>.

Заказали кофе: Натан, как обычно, двойной черный, Леон – капучино, здесь его подавали с такой роскошной толстенной пенкой, кропленной коричневыми веснушками, что поиски собственно кофейной жидкости становились задачей до известной степени археологической. Ну и десерт, как без него.

– Может, довольно с нас? – спросил Калдман, с сомнением изучая картинки тортов и коктейлей в десертном меню. – Их пирожные выглядят устрашающе: Монблан в облаках.

Диабета у него еще не было, но уровень сахара уже перевалил за тот показатель, когда пожилой человек просто обязан призвать себя к порядку.

– Нет уж, – воспротивился Леон. – Игнорировать здешнюю выпечку – дурной тон! Возьми вот эту штуку: «Кардинал шнитте», это светлое тесто со взбитым воздушным кремом и прослойкой варенья. Грандиозное достижение европейской мысли. А я, пожалуй... Я, так и быть, остановлюсь на скромном «Апфельштруделе».

Тоже неплох. Правда, моя любимая прабабка готовила его в пять раз вкуснее.

– Та, которая играла Крейсlera?

– Не та. Другая. Более гениальная...

И долго, подробно обсуждал с официантом детали *кондитории*.

*Слишком долго...*

Нет, Калдман не торопился. Собственно, в данный момент он занимался наиважнейшим делом, ради которого на сутки прибыл в этот летний прелестный город, в этот трижды проклятый всею его семьей лучший город в Европе. Да: у Калдмана времени было хоть отбавляй. Но *этот... этот* в любой момент мог заявить, что его заждались в очередном чертовом посольстве, вскочить и смыться, и поминай как звали: жокей в седле, верткий матадор в миллиметре от бычьих рогов... Мобильные телефоны он любит примерно так же, как часы на руке. «Скайп» тоже не жалуется. В своей парижской квартире крайне редко снимает трубку телефона, уговорившись со своим оперным агентом о каких-то условных звонках – то ли два подряд, то ли один и три...

Короче, сильно тормозить не стоило. Стоило ковать железо, пока само оно еще не ощутило первых ударовковки.

– Ну, слава богу, кофе к нам прискачет не на монгольской лошадке, – сказал Калдман и мечтательно улыбнулся. – Кстати, помнишь, какой дивный кофе варили эти ребята, «ужасные нубийцы» Иммануэля... Я забыл, как их звали?

Все ты помнишь, подумал Леон, все ты помнишь, старый косой комедиант с

вырванными ногтями. Вслух невозмутимо произнес:

– Тассна и Винай.

– Да-да, причем и то и другое имя что-то означает?

– Тассна – «наблюдение», Винай – «дисциплина».

– Точно! – воскликнул Натан, прищелкнув пальцами. – Говорящие имена...

Подумал: «Ну и память у этого засранца! Еще бы – привык заучивать миллионы нотных знаков и миллионы иностранных слов».

– Наблюдение и дисциплина, да... После смерти Иммануэля они так растерялись, так были огорчены, что предпочли возвратиться домой, в Таиланд. Хотя могли наняться к кому угодно: семья Иммануэля дала бы им блестящие рекомендации.

– С чего бы им так расстраиваться? – пожал плечами Леон. – Они надеялись, что Иммануэль проживет еще сто пятьдесят лет? Он и так прожил мафусаилов век: девяносто восемь, человек может лишь мечтать о подобном.

Натан промолчал. Он умел выразительно и многозначительно молчать, так, что любой собеседник, любой подчиненный и даже собственный сын принимались судорожно инспектировать свою предыдущую фразу, мысленно паникуя – не допущена ли ошибка, пусть даже в интонации. Любой, только не Леон. Он был сыт по горло наработанными приемами Калдмана, которые даже Магда называла «штучками». Ведь Леон, в сущности, вырос у них в доме и уж там-то оставался ночевать бесчисленное количество раз, вплоть до той последней, той окаянной ночи, которая так и осталась Главной Ночью всей его жизни, черной настолько, сладкой настолько, что бедняга Шуберт с его неистовым стремлением к счастью



имел шансы лишь на второе место.

На почетную серебряную медаль.

С рассеянной полуулыбкой Леон слушал прозрачные водовороты пассажиров, струящиеся из-под рук пианиста... Тупик в разговоре. Темная подворотня. И дальше – пара мусорных баков.

Аккуратно промокнув уголки рта льняной салфеткой, Калдман будто невзначай спросил:

– А тебе приходилось петь в Бангкоке?

На что Леон резко вскинул голову (движение взнузданного жеребца), и – в ровном ресторанном шумке, в синкопах тихого джазового ручья – повисло между ними его оглушительное враждебное молчание.

Ай-яй-яй, незадача: хотел спросить как бы вскользь, а вышло в лоб. Темная подворотня, мусорные баки... Этот чертов певун никогда не позволяет втягивать себя в чужие игры. Вот и сейчас его черные непроницаемые глаза будто держат оборону. Выждав пару мгновений, тем же чуть ли не элегическим тоном – пропадать, так с музыкой – Калдман продолжил:

– А хорошо бы выступить! Кое-кто готов тебе *аккомпанировать*. В любом дуэте важна чуткость и... *наблюдательность*, ты так сказал?

– «Наблюдение», – хмуро и озадаченно поправил Леон.

*Вот оно что... Выходит, Тассна был нами завербован? И после смерти Иммануэля отправлен на место возможных будущих событий, если, конечно, еще пять лет назад кто-то мог предположить террористическую «активность» в*

*этаким-то раю, в идиллическом Таиланде. Станный выбор, честно говоря. Впрочем, если вспомнить, до какой степени Иммануэль доверял этим парням... Всегда доверяешь сильным рукам, на которые в старости опираешься изо дня в день. Добротная работа, ничего не скажешь. Интересно, эта вербовка... они ее провернули еще при жизни Иммануэля? И знал ли он? А может, и сам сыграл в пьесе некую роль – все же человек он был осведомленный, весьма осведомленный, хотя... хотя и очень старый. Что ж, в любом случае этот шаг оказался дальновидным, как показывают недавние события в Бангкоке; разве не с нашей подачи тайландцы перехватили троих ребят из иранского КСИРа – правда, те так бездарно обращались со взрывчаткой, что сами себя преподнесли на блюдечке. Вслух он заметил:*

– Что значит – предусмотрительность... Тебя можно поздравить. Но я тут при чем? У вас там наверняка сидит *оркестр, укомплектованный высококлассными исполнителями. А я давно не в штате*, у меня на три года вперед подписаны контракты на выступления, довольно плотное расписание в «Опера Бастий», куча записей на RFI...

– Не накаляйся, – улыбнулся Калдман. И помолчав, чуть ли не с нежностью: – Не накаляйся, *ингелэ манс...* Ты же знаешь – никто и никогда не посмеет ворваться без твоего согласия в твою налаженную жизнь. Просто... ведь и у тебя бывают отпуска? А ты, помнится, увлекался серфингом, яхтингом? И этим... дайвингом? И занял первое место в соревнованиях юных, этих самых... в регате?

– Третье, – поправил Леон. – Всего лишь третье.

– Ну вот, – подхватил Калдман. – А по нашим сведениям, на тамошних островах

самые удобные для всех этих э-э... глупостей... побережья.

...После чего к ним выплыли две большие белые тарелки с такими вавилонскими зиккуратами, что вздох застревал в горле восхищенного клиента.

— Ах, будь я проклят! — по-немецки воскликнул Натан, энергично потирая руки и подмигивая официанту, а заодно и Леону.

*Идиотские компанейские ужимки. Перебарщиваешь...*

Когда официант отошел, Калдман вновь взглянул на часы и мысленно кивнул самому себе: самое время приступить к делу. Отодвинув тарелку с великолепным сооружением кондитерского искусства, извлек из кармана брюк сложенную вчетверо газетную вырезку, расправил ее (маникюрными ножницами вырезал, кривыми, зачем-то отметил Леон мелковолнистую линию отреза) и другим уже тоном, совершенно другим — своим, а не пошло-бархатным голосом, проговорил:

— Прочти. *Забавно*. Из «Маарива».

Положил на стол и придвинул к тарелке Леона.

Тот молча пробежал глазами заголовок:

***«Израильская компания продавала шпионское оборудование в Иран»***

Обычная газетная практика: прежде всего — заглавие-плевок, заглавие-пощечина, обухом по голове. Тоже профессия — журналистика: главное, проорать погромче, провизжаться, заблевать все вокруг, а там уж, в случае чего, и извиниться

можно, даже компенсацию за клевету выплатить... Та-ак, и что ж такого *забавного* мы *толкнули* нашим врагам?..

По сообщению новостного агентства NRG (со ссылкой на *Bloomberg*), в течение долгого времени израильская компания *Miracle Systems Ltd.* продавала оборудование в Иран. Речь идет о самом высокотехнологичном оборудовании, позволяющем следить за операциями в Интернете. Торговля между израильской компанией и Ираном проходила при помощи посредника в Таиланде. Товар поставляли в Бангкок, где сотрудники фирмы снимали с него все бирки и печати, свидетельствующие о том, что его произвели в Израиле, и переправляли в Исламскую Республику. Совет директоров компании *Miracle Systems Ltd.* заявил, что не имеет ни малейшего понятия, как оборудование фирмы попало в Иран.

*Ну, что ж, контора пишет... Вполне вероятно, что данная компания – наш троянский конь, подстава для внедрения в Иран шпионского оборудования, из тех, что заражает иранские компьютеры трудолюбивым вирусом-осведомителем. В последние несколько лет – рутинная практика: все те же Меиоровы пацаны, их высоколобый вклад в рутинную битву.*

*В противном случае владельцы подобной фирмы уже давно бы отдыхали на удобных нарах... Леон поднял глаза, пробормотал:*

– Недурно. Всюду жизнь... И что же?

– То, что шестьдесят процентов акций компании принадлежали Иммануэлю, – произнес Калдман, с хищным интересом уставившись на собеседника, хотя

выражение лица у того почти не изменилось, лишь брови дрогнули:

– То есть?

– Вернее, все еще принадлежали. Он ведь, сам знаешь, не особо разбираясь во всех этих высоких технологиях, отлично разбирался в одном: в бизнесе. И приветствовал все новое, и вкладывал во все, что его удивляло или покоряло. Вспомни хотя бы его космическое кресло – оно разве что канкан не плясало. Вот так однажды к нему явились трое хиппи с идеями, он их выслушал и чуть ли не на другой день открыл под них фирму, которая очень скоро вышла на серьезный рынок и с каждым годом набирала обороты. А после смерти Иммануэля ее, понятно, со всем остальным капиталом унаследовали дети, которые ни ухом ни рылом ни в высоких технологиях, ни в бизнесе вообще, – что престарелый плебей Алекс, привыкший жить на проценты с отцова капитала, что Мири с ее кураторством выставок этих недоделков-концептуалистов.

Придвинув к себе тарелку, Натан вонзил вилочку в бок роскошного торта.

– Ее последний проект – молитва нудистов на Мертвом море... Они даже ролик на Youtube выложили, не постыдились. Можешь сам посмотреть, зрелище убойное: толпа голых мудаков с болтающимися причиндалами поклоняются восходящему солнцу. Прочие отдыхающие, роняя полотенца, бегут в свои номера с перекошенными лицами. Называется *перформанс* «Ликование лучей» или что-то вроде этого. – Он пожал плечами и добавил: – Я, наверное, безнадежно стар. Мне по-прежнему нравятся Веласкес и Гойя.

Вилочкой отколупнув изрядный кусок торта, подцепил, отправил в рот, вдумчиво прожевал.

– М-м-м-м!!! – протянул, восхищенно покачивая головой. – Перефразирую известное высказывание: «Вена стоит десерта!»

Вновь после перерыва у рояля возник пианист-невидимка, светло и меланхолично зазвучала гениальная «Summertime», давно ставшая расхоже-ресторанной.

– Но суть не в перформансе, бог с ним. Тебе известно: Иммануэль буквально до последнего дня держал в голове и сам курировал дела тех своих компаний, акции которых так и не решился продать. Так вот, после его смерти детишки решили к чертовой матери пустить по ветру все заботы. И тут весьма кстати, с неба или из-под земли, это уж как кому нравится, является новый репатриант, некий российский бизнесмен Андрей Крушевич, симпатичный такой господин лет за шестьдесят. Скупает на первом этапе сорок процентов акций и автоматически становится членом совета директоров. Порывался скупить и остальные акции и был недалек от цели – уж очень наследники желали освободиться от папиных затей... Ты не хочешь попробовать мой торт? – спросил Натан с неожиданно домашней интонацией, как будто они сидели на террасе дома в Эйн-Кереме и Магда только что внесла бокастый фарфоровый чайник с малиновыми розами. – Это действительно что-то выдающееся, райский вкус. Нет? Напрасно... Между прочим, господин Крушевич отнюдь не укладывается в образ мафиозного быдла. Он ученый, образованный человек, у нас развил бурную деятельность и даже баллотировался в Кнессет от одной из русских партий. Но едва грянул вот этот самый, – Натан кивнул на газетную вырезку, что сиротливым горбом валялась у тарелки Леона, – этот праздничный салют... Знаешь, случай – один из тех, что нарушает тщательно

продуманные аферы: один наш парень, странствующий после армии по лаосам-гвинеем, увидел в неосторожно приоткрытой двери в багажном отсеке аэропорта две башенки из одинаковых коробок: одна со знакомыми бело-голубыми звездочками, другая *переодетая*, готовая к отправке в Тегеран. Вернувшись, позвонил другу в «Маарив», тот сразу же «запустил клеща»... И наш новый репатриант, без пяти минут член Кнессета, в тот же день сделал ноги без торжественных прощаний. Видно, сильно расстроился. Уехал здоровье поправлять – и, возможно, в какой-нибудь Пхукет, Ко Ланту, Краби или что-то вроде.

*Ну, вот вам и Шуберт, Франц наш Абрамыч, вот вам и неистовое стремление к счастью, действующее как озон, вот вам и учащение пульса, и потусторонний мажор в миноре.*

В который раз он ощутил тоскливое предвосхищение развития темы, в который раз испытал бессильную ярость пленника, упершегося лбом в очередной тупик лабиринта.

– Получатель в Бангкоке тоже моментально растворился, – продолжал Калдман. – Ни офиса, ни сотрудников, ни документов. Фирма арендовала закуток в багажном отделении аэропорта, там же обрабатывали полученные коробки с оборудованием, *переодевали* их и отправляли дальше. Так вот, буквально на другое утро после выхода газеты все следы были замечены, все носы подтерты, все ширинки задраены, – на диво оперативная и тщательная работа. Судя по всему, тут действует некая прямая связь Израиль – Таиланд.

Калдман склонился над столом, слегка подался к Леону:

– Все это не ново. Помню классический случай, когда оружие, расфасованное

по контейнерам, честь по чести запечатанное металлической лентой, исчезло по пути в Южную Африку на краткой дозаправке самолета, а к месту назначения прибыли в точности того же веса и в тех же контейнерах болты и шурупы. И что? Ничего. Фирма получила свои деньги по страховке. А дальше – как у Шекспира – тишина. Точнее, грохот пулеметных очередей и взрывы на улицах какой-нибудь колумбийской столицы. Или где-нибудь еще – тамошняя мафия, я уверен, нашла применение нашим «узи», «таворам» и «галилям»...

Он метнул острый взгляд на Леона, с напором произнес:

– Мне почему-то кажется, что Иммануэлю не понравился бы такой ход событий.

Эти его краткие и острые взгляды и сами по себе (из-за хищного левого глаза) напоминали пулеметные очереди. Во всяком случае, если у Леона и не возникло пока желания распластаться на полу, то отвести взгляд уже хотелось.

– Так и вижу его взбешенное лицо. И вообще: эта дерьмовая история для меня – личное унижение. Собственный провал.

Две-три секунды Калдман молчал, держа свою знаменитую говорящую паузу, которую, по условиям игры, должен был нарушить Леон. Но тот невозмутимо дожевывал кислотоватую вишенку, добытую с вершины кондитерского монблана.

– А может, ты и прав, – сдержанно добавил Калдман (вновь мимолетный цепкий взгляд), – мертвым дела нет до унижений.

Да, я прав, ожесточенно подумал Леон, мертвым дела нет до унижений, а ты не втянешь меня в это чертово колесо. Я давно закончил ваши университеты, прошел вашу практику провалов и торжества и понял главное: я хочу быть подальше от того и от другого.



Неожиданно ему захотелось, чтобы у столика вновь возникла та диковатая девица с окольцованным лицом, с густыми шелковыми бровями.

*Зачем, зачем она их проткнула?! И если бы извлекла металл, если бы разоружилась – заросли бы дырочки в коже, или это лицо, собранное из нежных раскосых овалов, навсегда осталось бы меченым белыми оспинами шрамов?*

Заодно интересно знать, на что тебе сдалась эта девчонка, что за тревожащая связь тебе почудилась между нею и самим собой?.. Как странно голос ее звучит – *упругий*, сопротивляющийся... Преодоление... чего? Угловатость жестов... Откуда эта необъяснимая схожесть между вами, какая-то опасность, обоюдная загнанность?

Изумившись этой мысли, столь посторонней всему разговору, всей трудной встрече с Калдманом, он тряхнул головой и спросил:

– А оборудование... ну, то, на чем специализировались ребята Иммануэля, – что оно собой представляет? И за какими операциями, говоришь, позволяет следить?

Натан откинулся к спинке дивана, остерегаясь спугнуть неожиданный интерес своего *сложного* собеседника. Помолчал, выбивая покалеченными пальцами на скатерти джазовый ритм звучащей мелодии. Лениво произнес:

– Да за любыми, в сущности, операциями: электронная почта, сайты, круг интересов и, главное, контакты. Нас ведь многие личности интересуют – например, те же охотники взорвать свою жопу в людном месте. Ну и еще кое-кто... Представь небольшие такие коробочки, наштигованные хитроумными чипами, которые позволяют... Только не спрашивай меня о технических подробностях. Если коротко: они многое позволяют, ингелэ манс.

Ну что ж, более или менее понятно. Вслух Леон спросил:

– И что... так-таки ничего не удалось зацепить в Бангкоке?

– Почему же... *кое-что* удалось, я же говорю: главное в нашем деле – *наблюдательность*... Господи, ну и духота!

Натан схватил салфетку и принялся обмахиваться ею, отчего его мясистое багровое лицо возникало в трепыхании белого льна – в этой картине чудилось нечто балетное, что-то от танца маленьких лебедей. Жаль, что он так перенапрягается, подумал Леон, так явно переживает. Интересно – решится на шунтирование? Магда вроде бы настаивала, он сопротивлялся... Как бы спросить поаккуратнее, он ведь ненавидит все эти медицинские *цирлих-манирлих*.

– Ты можешь сказать, что не такое уж сложное дело – найти концы и затребовать у тайцев выдачи Крушевича. И те с удовольствием пойдут нам навстречу – на черта им эта головная боль? Но есть в деле одна запятая, один порожек, через который мы переступить не торопимся. Оттуда может потянуться нить, как Гедалья считает, в очень перспективном направлении. Именно поэтому пока не хочется трубить сбор. Понимаешь, когда мы вышли на Крушевича и стали копать всю историю купли-продажи акций злосчастной компании Иммануэля, секретарша вспомнила, что Крушевич однажды звонил из офиса и довольно нервно говорил по-русски – вероятно, не слышал, что девушка уже вернулась из кафе, куда он послал ее за гамбургерами. А может, просто не предполагал, что по-русски она чуть-чуть понимает. Ее привезли в раннем детстве, язык она знает плохо, но отличить русский от любого другого в состоянии. Разговора толком не поняла, да они наверняка и говорили-то, знаешь, как водится... Но уверена – по интонации, – что Крушевич был то ли раздражен, то ли встревожен. И дважды громко назвал собеседника «Казак».

Думаешь, это кличка или фамилия?

– Может быть и тем и другим.

– «Казак»... – задумчиво повторил Натан, будто пробуя слово на язык. Потянулся к пучку зубочисток в крошечном фарфоровом стаканчике, вытянул одну и стал кропотливо освобождать ее от прозрачной обертки. – Казаки – разве это не украинцы?

Леон тронул ложечкой толстую матрасную пену на капучино в чашке, копнул чуть глубже. Он, как и Эська, любил сладости и откровенно предвкушал удовольствие, совершенно по-детски злясь, когда это удовольствие ему мешали получать. У него не было и тени сомнения, что Натан отлично знает, кто такие казаки.

– Не совсем. Это народ такой, сложился из разных этнических групп, как и все народы. Но сравнительно недавно. При царе были неплохими вояками, служили в основном в кавалерии. Было кубанское войско, донское, яицкое. Вольные люди, лихие рубаки... Нагайки там, папахи, сабли, прочий реквизит, обожаемый украинскими евреями, которых они порубали немало. С одним кубанским казаком я был знаком. Он преподавал у нас в консерватории. Между прочим, неплохой бас, но тоже – с нагайкой. Когда ты пытался ему возразить, что вот у Бетховена тут ясно указано, он взмахивал нагайкой и кричал: «Я здесь Бетховен!» – Леон улыбнулся воспоминанию. – Так что же, собственно говоря, вас насторожило? Мало ли кому человек мог звонить и с кем говорить по-русски. Вот если б вдруг он заговорил на суахили...

Последние минут десять Леон то и дело задерживал рассеянный взгляд на входной двери, и Калдман, заметив еле уловимое движение его глаз, отнес это на счет нетерпения – закончить встречу, распрощаться, улизнуть. Поэтому энергичней приступил к сути дела.

– Видишь ли, – со значением произнес он, – уже несколько лет мы гоняемся за одной тенью. По некоторым признакам этот тип – ключевая фигура во многих сделках по продаже оружия распоследнему сброду в самых вонючих подворотнях нашего региона. Например, российские триггерные устройства, без которых не сладить бомбу для очередной славной *весенней демократии* у нас под боком, – они приплывают в какой-нибудь Ливан не по случайной цепочке. Не исключено, что сам он обитает где-нибудь в Европе, но материализуется в разных местах. Ты же знаешь, все эти агенты-оружейники ведут кочевую жизнь: их можно встретить где угодно. Такой вот аноним. Валькирия на ближневосточном небосклоне. Да и черт бы с ним. Мы и сами – оружейная держава и продаем этих конфет и пуговиц на семь миллиардов в год. Но недавно от него пахнуло ураном и еще кое-чем, из чего мастерят «грязную бомбу». А это нам уже совсем не понравилось. Знаешь, как в готических романах: появляется призрак, его сопровождает запах сырости и ледяной холод... Так и здесь. С одной стороны, «грязная бомба» – это, конечно, небольшой радиус действия. С другой стороны – одной такой пугалки, прилетевшей из Ливана в Хайфу, как ты понимаешь, вполне достаточно для серьезной беды... Не далее как вчера в бегущей строке новостей Би-би-си: озорники из «Аль-Каиды» где-то в глуши затрушенной Анголы напали на полицейский участок и *урановые рудники*, которые разрабатывает некий западный предприниматель. Что за предприниматель, сколько

их там, этих предпринимателей... А главное – «Аль-Каида»! Которая спит и видит «грязную бомбу», много маленьких таких грязнуль, чтобы встряхнуть душу не только из Израиля – из кого угодно. Недаром они распахали спящие ячейки по всей Европе... Ты, возможно, помнишь одну историю чуть не восьмилетней давности: провал попытки переправить партию урана из Танзании в Казахстан, где руду должны были обогатить, а затем из Актау – Каспием – в Иран? Но на границе Танзании один контейнер показался подозрительным, и отправка сорвалась.

– Казахстан? – с сомнением переспросил Леон.

– О-го-го! Еще бы. Второе место в мире по запасам урана, и они ежегодно наращивают добычу и обогащение.

– Хм... я думал, после закрытия Семипалатинского полигона они вернули России все атомные бомбы.

– Вернули, вернули... Однако в девяносто шестом в печати мелькнуло, что Казахстан тайно продал Ирану три советские ядерные боеголовки.

– Чепуха: возврат боеголовок проходил под международным контролем.

– Допустим. Возможно, тюлька. Но полигон практически не охранялся, и, скажем, плутоний, собранный где-нибудь в районе «Плутониевой горы» в пластмассовое пляжное ведерко, вполне мог быть использован по назначению. Ты представь ситуацию: развал СССР, новые отличные возможности для контрабанды урана и прочего добра – цезия или того же плутония. Особенно если у заинтересованных лиц есть на месте давние завязки и институтские дружбы...

Леон сосредоточенно подбирал ложкой остатки ванильной пенки. Поднял голову:

– При чем тут институтские дружбы? Чьи дружбы?

– Пока не знаю. Но Крушевич учился на отделении ядерной физики в МГУ и после диплома получил направление в Курчатов, на Семипалатинский полигон. То есть каждого полевого тушканчика знает там в лицо и прекрасно осведомлен во всем, что касается урановой добычи в Казахстане.

Калдман вонзил зубочистку между двумя передними зубами, провернул ее с ожесточением.

– Ты решил что-то насчет шунтирования? – спокойно спросил Леон. Натан застыл с торчащей во рту зубочисткой, сломал ее, чертыхнувшись, вытащил и бросил на тарелку.

– Иди, поцелуйся с Магдой! – рявкнул он. – Вам что, не терпится усадить меня в инвалидное кресло?!

Уже не церемонясь, с силой отер потное лицо салфеткой, смял ее и бросил на стол. Помолчал, остывая, вроде бы злясь, как, бывало, злился на домашних, на деле же – деликатнейшим охотничьим чутьем предчувствуя ту самую *тягу*, что изменяет весь ход охоты... И точно: Леон отодвинул от себя тарелку с недоеденным десертом и нетерпеливо спросил:

– Ну, и что ты хочешь *от меня*?

И сразу же мысленно проклял свою торопливость, странный яростный азарт, гончую ненависть, что всегда охватывала его, стоило замаячить вдали давним теням мертвенной равнины мессы...

– Ничего. – Натан улыбнулся: старый косой людоед в предвкушении завтрака. – Чтобы ты отдохнул в Таиланде.

И, вновь отметив беглый взгляд собеседника на двери ресторана, уже иным тоном, скупыми фразами, как обычно говорил с подчиненными в кабинете:

– Мы думаем, Крушевич отсиживается где-то там. В Патайе. Или на Ко Ланте.

– Какие основания?

– Тассна. Пристроен в фирму-кейтеринг, которая принадлежит французскому еврею из Ниццы: приемы-фуршеты, пикники, *корпоратив*... Тассна уверен, что Крушевич был на одном из приемов... на чьей-то яхте, возможно, на своей.

– Хм... Яхты имеют обыкновение уходить, приходить, – заметил Леон. – Становиться на якорь, сниматься с якоря... Название?

– «Зевс». Ходит под флагом Сьерра-Леоне, принадлежит какой-то торговой компании.

– Натан... – Леон пожал плечами. – Все это какой-то детский лепет. Что значит «Тассна уверен»? Он Крушевича видел? Опознал по фотографии?

– В том-то и дело: не видел, а *слышал*. Слышал, как женский голос из толпы гостей крикнул: «Андрей! Госпо-дин Крушевич!» И что-то там по-русски... Однако, учти, парень крутился как черт. Он ведь не гостем был, а работал, обносил столы. Выспрашивать, кто что крикнул, да еще по-русски, не мог. Дело не в этом. Мне не хотелось бы торопиться с Крушевичем. Меня беспокоит «Казак» – что это за фигура? Как и с кем связан? Именно за ним я вижу серьезную сеть – если, конечно, он тот, о ком я думаю, а не просто случайный знакомый Крушевича: такое тоже может быть... Во всяком случае, хотелось бы, чтоб вокруг этой парочки пока было тихо. Пусть думают, что натянули нам нос...

– Тем более что так оно и есть, – не церемонясь, отозвался Леон.

– Да-да... именно, *ингелэ манс*. Сам не знаю, почему прошу тебя принюхаться. Меня интригует этот тип. Прощупай тамошнее русское общество, ты это умеешь. Хочу, чтобы ты пошлялся там со своим гениальным слухом, универсальной внешностью и, главное, своим русским языком. Уверен, у тебя найдутся знакомства... Ты же не в штате. Ты у нас приглашенный солист. – Опять расцвел своей раскосой улыбкой и добавил: – И, главное, Леон, не увлекайся. Никто не требует от тебя джигитовки на мотоцикле. Мотоциклисты проходят у нас по другой ведомости.

Он подметил очередной ускользающий взгляд Леона, решил, что главное сделано, и удовлетворенно продолжил:

– Разумеется, там сидят и наши люди. Но у них другие методы работы, и мы бы не хотели, чтобы ты с кем-то сталкивался. Наоборот: даже если кто покажется знакомым, ты его... не узнай. – Он скупно улыбнулся и повторил: – Ты не в штате, ты приглашенный солист.

В эту минуту входная дверь открылась и некоторое время пропускала небольшую, но яркую компанию явно восточного образца: пять женщин, трое детей и двое мужчин. Все прекрасно одеты, женщины, несмотря на дневное время, увешаны золотом. Все смуглые и черноволосые. Тем более среди них выделялся высокий представительный блондин лет пятидесяти, со странно неподвижным, слишком симметричным, будто вырезанным по лекалу лицом.

Компанию встретили и сопроводили в противоположный конец зала к трем сдвинутым столам. Очевидно, семейное торжество, все заказано заранее.



Леон отвернулся от них и проговорил ровным, почти легкомысленным тоном:

– Знаешь, все жду – когда я начну петь во сне...

– Во сне... – повторил Калдман с недоумением. – В каком смысле?

– Ну, обычно человек совершает во сне то, чем занят наяву... Плотник строгаёт, парикмахер стрижет, портниха кроит или там вертит ручку швейной машинки. Все жду – наступит ли день, когда во сне я буду петь, а не подсекать бегущего человека, перебрасывать его через себя, ломать ему позвоночник или душить двойным нельсоном... Возникла пауза.

Официант, принимая заказ у восточной семьи за длинным столом, как дятел, склонялся к дамам. Сюда долетали звонкие голоса их детей, на которых матери шикали. Над всеми возвышался блондин с постной физиономией.

Натан прокашлялся.

– Боже упаси! – проронил он сочувственно. – Душить?! Человека?! О чем ты говоришь?..

*Кто, черт побери, заставляет его душить человека, что за бред, для этого существуют другие люди... Ну да: это он «образно говоря»... Артист, эмоциональный человек, проклятый груз памяти...*

Натан вдруг сильно устал. Не так, как бывало раньше в середине дела, в гонке интересов, в захлебе погони, – по-стариковски устал. Последние пару лет его донимали сердечные спазмы, о которых он боялся думать. Он уже не чувствовал прежнего гончего азарта в достижении цели, в тонкостях вербовки, в поэтапном составлении плана разветвленной операции.

Сорвалось, подумал Натан, не ощущая ни досады от неудачи, ни обиды на

Леона, одну лишь пустоту и тихое нытье в груди, слева, будто там сидел и поскуливал новорожденный щенок, напоминавший о себе по ночам и в такие вот минуты усталости. Ну что ж, сорвалось – и довольно. Действительно, следует оставить его в покое. Пусть наконец все его таланты служат сцене и музыке: его голос, артистичность, реакция. Грациозная сила нападающей змеи...

– Знаешь... ты прав, – наконец выговорил Натан. – Мы в последнее время злоупотребляли твоей готовностью помочь, твоим дружеским чувством, а может, просто неумением решительно отказать старым друзьям... Забудь все, о чем мы тут говорили. Ты прав – и свободен.

Он хотел добавить – умиротворенным тоном, будто ничего не произошло, – что надо бы счет попросить, что вечером у него билет на органный концерт в Карлскирхе, потом такси в аэропорт, а до того хорошо бы навестить еще одного человечка. Хотел категорически замять всю эту беседу, сердечно попрощаться и поставить, наконец, точку...

*... о, не в их отношениях, конечно! – разве их отношения держатся только на деле? Разве не вырос мальчик у него на глазах, разве не кричала вчера за завтраком Магда, когда он так глупо обмолвился – вот, мол, передам от тебя привет Леону: «А я говорю, ты оставишь его в покое! Пиявки, безжалостные мясники, отпустите парня!» Магда... Странно, что за глаза она часто называла Леона сиротой. Это при живой-то матери! Впрочем, женщины такие вещи тонко чувствуют. Во всяком случае, первый кусок за столом следовал в тарелку Леона, а вовсе не Меира – тот всегда лучился здоровьем и полнокровным удовольствием, которое с детства*

получал от жизни.

*Меир-крепый никогда не нуждался в сочувствии.*

Осталось позвать официанта и попросить счет.

– Знаешь... – проговорил Натан и спохватился: – Вернее, конечно, не знаешь. В семидесятых, когда СССР приоткрыл щель и оттуда потек «народ мой», улов ребят из Сохнута на венском перроне был до смешного мизерным. Советские евреи прямиком направлялись в Америку, кое-кто оставался в Европе, но все готовы были рвануть куда угодно, только не в Израиль. Кислая картина... А мы арендовали целый замок, Шёнау, где люди пересиживали между советским поездом и самолетом в Бен-Гурион. Аренда, охрана – затратная история. Ну, и решили вместо замка снять несколько пунктов передержки. Один такой открыли в восьмом *бецирке*, в Йозефштадте. Обычная квартира на Флорианигассе, семь. *Контора* тогда очень тщательно отслеживала появление в городе каждого человека с *подозрительным* типом внешности. Любого, *вроде тебя, ингелэ манс*, – извини! – брали на мушку. Мне по службе приходилось бывать здесь время от времени.

Так вот, из окон этой квартиры как на ладони был виден подъезд дома напротив, Флорианигассе, десять, откуда в декабре тридцать восьмого года шуцманы-австрияки вывели мою мать Эльвиру с двумя детьми – четырнадцатилетним моим братом Эвальдом и мной, двухмесячным. Заметь: собственная квартира в восьмом *бецирке*, в Йозефштадте – мамино приданое... Это всегда был весьма респектабельный район, почем там жилье сегодня, представить страшно. Все чин-чинарем: мать тащила неподъемный чемодан в одной руке, меня

несла в другой, Эвальд тоже нес чемодан, а в левой руке – роскошный, коричневой кожи футляр с отцовской скрипкой. Сам отец, бывший концертмейстер вторых скрипок Венского филармонического, участник Первой мировой, подпоручик Линцкого королевско-императорского полка и кавалер боевых орденов, на тот момент уже благополучно сидел в Маутхаузене: через месяц после аншлюса повздорил с тубистом – главой оркестровой ячейки нацистской партии. Мать говорила, что у отца всегда был «вздорный характер и замашки подпоручика».

Едва зашли за угол дома, вахмистр шуцманов рванул у Эвальда футляр. Тот вцепился, дурачок, – отцову скрипку пожалел. Ну, и боров-вахмистр саданул пацана кулаком в грудь так, что отбросил на мостовую, а футляр со скрипкой, разумеется, отобрал. Между прочим, оригинал «туринского» Джованни-Батиста Гваданини – тебе приходилось встречать инструменты его работы? Он в этикетках именовал себя учеником великого мастера: «*alumnus Antonio Stradivari*». Эвальд говорит, когда отец разыгрывался зимой при открытой форточке, слышно было на другом конце улицы, так что, возвращаясь из гимназии, брат издали знал, дома ли отец. Сегодня такой инструмент стоит весьма приличных денег и продается только своим либо на серьезных аукционах...

...Судя по всему, восточная семья за длинным столом чествовала старую даму с излишком золота на шее, в ушах, на запястьях. То и дело кто-то из гостей поднимался, долго что-то говорил, прижимая руку к груди, затем подходил к даме и целовал ее в морщинистые щеки.

Высокий блондин тоже поднялся и тоже долго распинался с неподвижным

лицом, при этом старая дама растерянно смотрела на него, точно силилась и не могла припомнить этого человека. Впрочем, он, как и все, подошел и расцеловал старуху в обе щеки.

– Да ты ведь слышал эту историю, – спохватился Натан. – Извини, конечно слышал: для нас все кончилось благополучно и относительно легко – скрипочка не в счет. Мать добралась с нами до Англии, а сразу после войны, в сорок пятом, мы приехали в Палестину. Правда, уже без отца...

Так вот, в квартиру на Флорианигассе, семь, попадала разная публика, и далеко не каждый день: бывали времена, когда из России в Вену прибывало сразу несколько поездов и авиарейсов, а к агентам Сохнута не подходил никто. Говорю тебе: советские евреи стремились в Америку – страну великих возможностей. Маленький заштатный Израиль, восточная провинция, крошечный островок в море арабской ненависти – он их пугал. У тех же, кого нам удавалось «выловить», был, как правило, затравленный вид. Они ни черта не понимали, ничего не знали. И с таким же затравленным любопытством глазели на красоты Вены – вот он, настоящий Запад! Иные даже опасались выходить на улицу: так и сидели в квартире до отправки в аэропорт. «Запад» видели из окна – угол дома, чистенькая подворотня, брусчатка, аккуратные мусорные баки во дворе.

Короче, летом семьдесят девятого, когда Советы выпустили максимальное число «отъезжантов», а мы, неудачливые рыболовы, сидели на бобах, попало туда, на Флорианигассе, семь, семейство из... как тогда назывался Петербург?

– Ленинград...

– Да, из Ленинграда. Муж, жена, двое деток и старушка-бабушка, интеллигентного такого вида дама, но удручена до невозможности. Молодые с детьми отправились гулять по городу, а старушка смотрит в окно на подъезд моего родового гнезда, и слезы текут у нее ручьями. Думаю: господи, ну, я бы рыдал – понятно, а она-то что здесь потеряла?

– Ты бы рыдал... – усмехнулся Леон.

– Именно! – подхватил Натан. – Вежливо спрашиваю старушку: *can I help you?* Та с трудом: «Их фарштэе ныт!» Перешел на муттершпрахе: что же так огорчило гнедиге фрау? Радоваться надо: ее семья благополучно вырвалась из антисемитской страны, послезавтра приземлится на родине, и внуки не узнают ужасов тоталитаризма!

Старушка по-немецки еле-еле, больше на полузабытом идише, и то через пень-колоду: ах, молодой человек, я даже гулять с детьми не пошла, боюсь – увижу Вену, тут же слягу. Видела снимки этого самого Израиля – тоска, провинция, пальмы... Сыну-то плевать, начитался, молодой дурак, этого их Жаботинского. А я, между прочим, – кандидат искусствоведения, историк архитектуры, родилась и всю жизнь прожила на Фонтанке... И что увижу в последний час – уродливые пыльные бараки?

Ну, стал я уговаривать: Израиль – страна красивейших пейзажей, колыбель западной цивилизации, подобно Греции и Риму... – Натан хмыкнул: – Скажу тебе откровенно: пейзажи пейзажами, а только у нас инструкция была: никаких отрицательных сведений. Да, так я ей говорю: своими глазами увидите места, описанные в Библии. Старушка, услышав про Библию, сердито отмахивается: «Генуг!» Это ассимилированное поколение, знаешь, они иудаизм ненавидели... Моя

бабка, кстати, тоже. Ну... отмахивается от меня фрау историк архитектуры и в слезах раздраженно кивает в окно на «мой» подъезд: смотрите, мол, вот это – культура, это – западная цивилизация, а вы мне – «родина», про какую-то чуть ли не Уганду! Смотрю ее глазами: действительно, красиво – стиль модерн, первое десятилетие прошлого века... Ну как, думаю, объяснить бабке: когда из такого великолепного подъезда тебя в лучшем случае вышвыривают на улицу, когда ты вне закона и никто не спасет, когда жизнь твоих детей зависит от настроения и алчности какого-нибудь австрияка-щущмана, единственной мечтой поневоле станет свое государство – с любой, пусть самой уродливой архитектурой. И я, знаешь... я почему-то промолчал тогда. Подумал: старуха уйдет своим чередом, бог с нею и с ее архитектурой; молодые притерпят, все у них худо-бедно перемелется. А вот дети будут наши! – Он глянул прямо в глаза Леону и повторил: – Наши! Арифметика простая, парень...

И неожиданно для себя самого, порывисто подавшись к Леону и перейдя на придушенный хрипловатый иврит, Натан проговорил, тыча изувеченным пальцем в стол:

– Просто я помню, как ты относился к своим агентам: все их проблемы ты брал на себя! И я был уверен, что этот вонючий финт с компанией покойного Иммануэля приведет тебя в бешенство! Я думал: ты ведь так был к старику привязан, ты не позволишь... Думал, захочешь раздавить слизняка сам! Ведь то, что у нас называется «*хешбón нэ́ф еш*»<sup>[10]</sup>, – это единственное, что, в конечном счете, остается от человека. Да, это так же нематериально, как наш абстрактный Бог, и это, конечно, безумие, согласен – выбирать какое-то там достоинство, месть за покойного друга, который не может постоять за себя сам, и прочую муру, вроде благодарности за

добро, сделанное тебе, мальчишке...

Леон опустил глаза на свои сцепленные на столе руки, медленно разжал их и аккуратно отодвинул тарелку с недоеденным десертом. Он безуспешно пытался сохранить невозмутимое лицо. Вот уж кто умел доводить до белого каления, так это Калдман, – вот кто умел вытащить твои кишки, намотать на кулачище, напомнить о твоём собственном доме, тоже отнятом бог знает кем! И неважно, что ты понимаешь и видишь, *как* он это делает, да и сам когда-то много раз прибегал к подобным штукам; все это уже неважно...

Пытаясь совладать со своим бессильным бешенством, Леон процедил:

– В ближайшие недели у меня слишком плотный график.

– Неужели? – живо спросил Натан. – Выступления? Репетиции?

– Через три дня – концерт в Батуми.

– О! Что поешь?

*Господи! Вот клещ! Вот же клещ проклятый!*

– «Аве Марию» грузинского патриарха Илии Второго... – холодно ответил он, уже взяв себя в руки.

– Что ты говоришь! Сам патриарх сочинил музыку? Правда?! Брось: наверняка напел по телефону, а там уж грузинские музыкальные негры сбежались оркестровать, а? Не патриаршее дело – партитуры чирикать... – И с увлеченным интересом: – Ну, а потом? После Батуми?

– Потом начнутся репетиции «Алессандро».

– Отлично. И когда премьера?



– Четвертого сентября.

Калдман вздохнул и с облегчением произнес:

– Значит, в лучшем случае конец сентября...

В голосе его, однако, уже слышны были обычные командные нотки, уже отбивали чеканный шаг барабанные палочки. Он и не скрывал торжества: охотник, попавший в летящего тетерева; рыболов, подсекший крупную форель в тихом джазовом ручье...

– О деталях – ближе к делу, – он словно отмахнулся от чего-то незначительного. – Чуть позже получишь все фотографии, все материалы. – И, чувствуя внутреннюю потребность в завершающем аккорде – старый меломан! – подпустив чуток вибрации в свой «венский» задушевный тембр голоса, проговорил: – Даже если ты просто покрутишься по островам и потом напишешь эссе о впечатлениях путешественника (но без публикации в *National Geographic*), – это с лукавой улыбкой, – мы будем благодарны. – И твердо повторил: – Мы будем благодарны за любой твой форшлаг, *ингелэ манс*. За любую трель. Пусть даже и канареечную!

На этом деловой разговор был окончен.

И пока они высвистывали официанта и просили счет, пока расплачивались и ожидали назад карточку (платил Леон: Натан в казенных расходах был щепетилен, а в личных на удивление прижимист – у каждого свои недостатки) – все это время говорили о музыке. Только о музыке:

– Да, литургию, причем разную, очень люблю. Готов примириться со всеми на

свете верами. Многие у нас жалуются на крики муэдзина в рассветный час, а я признаюсь тебе, что и пение муэдзина мне нравится: и это ведь – глаза, обращенные к небу, не так ли?

*Это тоже было импровизацией на вольную тему. Кое-кто из старых друзей еще помнил знаменитую выходку молодого Калдмана, лично расстрелявшего со своего балкона динамики на минарете соседней – через ущелье – арабской деревни, мухтар которой не пожелал удовлетворить просьбу местных властей убавить звук трансляции утренней молитвы. Это стоило Калдману больших служебных неприятностей, однако с тех пор песнь муэдзина его рассветный сон не тревожила.*

– Но Шубертом ты меня пронзил, Леон! Всегда думал: твой специфический голос предназначен для, скажем так, чисто «котурного» репертуара – барокко, в крайнем случае классика. Но «Серенада»!.. Ты просто создан для музыки романтиков! Почему бы не замахнуться на «Winterreisen»? Хотя бы на «Мельничиху»? Дай старику помечтать! «Миньону» помнишь?

Леон хмыкнул и слегка – в четверть, да куда там, в одну шестнадцатую голоса, чтоб услышал только Калдман, – прошелестел-промурлыкал:

Kennst du das Land, Wo die Zitronen blühn?  
Im dunklen Laub die Goldorangen glühn?<sup>[11]</sup>

Натан прикрыл веки: дегустатор, вдохнувший редчайший аромат.

– Боже, какая модуляция – из ля мажора в до мажор – альтерированную верхнюю медианту... И это начало девятнадцатого века! Какой, к черту, Бетховен!

Компания за длинным составным столом перешла к десерту, и, значит, слишком задерживаться не стоило.

Леон терпеливо переждал, пока откроются мечтательно смеженные глаза Калдмана в бегемотьих складках набрякших век.

– И наконец, в-третьих... – пряча банковскую карточку в портмоне, сказал Леон, как бы подхватывая упущенную нить разговора.

– Что – в-третьих? – рассеянно отозвался Калдман.

– Я назвал две причины, по которым затащил тебя в эту шикарную душегубку, – пояснил Леон с меланхоличной полуулыбкой на аскетическом лице египетского жреца, – Троцкий. Моя музыкальная прабабка. И в-третьих... Глянь-ка в зеркало за моей спиной, левее... да! Восточная компания за длинным столом. Мужчина между жгучих женщин... Не тот, что похож на одесского докера, – то господин Крюгер, австриец в десятом поколении, владелец сети прачечных по всей стране. Другой, деревянный блондин с пугающе симметричным лицом, как бы стянутым с арийской колодки. После нацистских бредней в понятие «ариец» обычно вкладывают неправильный смысл. Между тем известно, что настоящие арии – это именно персы, о которых так заботится Шаули...

И наблюдая, как отвердевает лицо Калдмана, как темнеют его глаза раскосого быка, вылетевшего из загона, Леон со злорадным удовлетворением добавил:

– Не стоит сверять с фотографией. Вы еще не знакомы с его новой внешностью.

– ...С-с-суккин сын!!! – восхищенно прошипел Калдман, ударив по столу покалеченной ладонью. – Как тебе удалось?

Леон потянулся к графину, вылил в бокал остатки воды, выпил и с едва заметной горечью проговорил:

– Ты забыл, что, помимо делишек вашей сраной конторы, я занят кое-чем еще и, когда не убиваю людей, веду жизнь приличного человека...

*Тот поздний теплый вечер после премьеры «Блудного сына», совершенно безветренный (редкость в Венеции в начале апреля), – тот вечер, переходящий в ночь, которую они с Шаули провели за столиком паршивой забегаловки с «пиздоватыми» куриными ножками на вывеске, – он словно вчера миновал. Во всяком случае, Леон ясно помнил уголок набережной в проеме настержь открытой двери, горбатый мостик с каменными перилами, иконное сияние небольшой луны и черно-золотую от света фонарей воду канала, где то и дело в полной тишине возникала и скользила очередная припозднившаяся гондола, гордой грудью уминая сеточку слабых звезд на воде.*

*Оба они прилично выпили.*

– До утра заживет, – повторял Шаули, – самолет только в девять.

*Стояла оглушительная тишина, какая бывает лишь в уснувшей Венеции, такая, что слышны были пузырьки воздуха в аквариуме, где в ожидании завтрашней казни колыхался последний угрюмый лобстер.*

*Хозяин решительно порывался закрыть заведение, но Леон вновь выдавал*

*отрывок из какой-нибудь арии, и всякий раз хозяин остолбенело замирал, благоговейно качая головой, – где-где, а в Италии, даже в третьеразрядных трактирах понимают толк в подобных голосах.*

*Шаули сетовал, что уже месяца два им ужасно не везет: ищут иголку в стоге Вены.*

*– Знаем точно, что он в Австрии, – говорил Шаули, – то ли в Вене, то ли в одной из альпийских деревушек неподалеку. По нашим сведениям, приехал с какой-то медицинской целью: на исследования, а возможно, даже для операции. Прочесали все клиники, кроме косметических, – ничего похожего! Единственная зацепка – двоюродная сестрица в одном оркестре, но выхода на нее нет...*

*(Подразумевал, что выход – вот он сидит, сокрушаясь, что в эти минуты мог бы пить отличное вино в зале приемов «Гритти-Палас», а не стопорить своими руладами хозяина «пиздоватых» ножек.)*

*– Поверишь, обшарили все, – говорил Шаули, – разве что фотографий не расклеивали и не давали объявлений в газетах: «Разыскивается выдающийся иранский ученый-атомщик профессор Дариуш Аль-Мохаммади».*

А напрасно, ребята, вы игнорируете великую косметическую хирургию. Она сегодня чудеса творит.

Как раз профессор Дариуш Аль-Мохаммади, глава администрации завода по обогащению урана в Фордо, где на днях были запущены в строй три тысячи новых центрифуг, был извлечен Леоном самым рутинным способом – из постели.

Сделать это оказалось нетрудно: Наира Крюгер, концертмейстер группы альтистов

Венского филармонического, давно посылала ему соблазнительные полуулыбки поверх медовой верхней деки своего дорогого инструмента. Правда, она вовсе не казалась идиоткой (несмотря на то, что уже в лифте, поднимавшем их в номер отеля, доверительно призналась, что, как и многие другие, считала его геем; и он, столь же доверительно, на ушко шепнул ей – как и многим другим – «проверим, детка?»), и все же она не казалась абсолютной идиоткой, потому он и не думал, что все произойдет так ошеломительно просто.

– Как тебе мой нос? – спросила она после несколько удивившей его бури. Он и не предполагал, как раскрепощена и шумлива (несмотря на то, что в этом дорогом отеле не стоило бы оглушать постояльцев и прислугу) может быть в постели замужняя восточная женщина. – Как мой новый носик?

– Обворожителен, – отозвался он на зевке, мечтая, чтоб она поскорее оделась. До вечерней репетиции оставался еще целый час, и он собирался повести ее в бар и слегка напоить, прежде чем приступить к *разработке* на тему двоюродного брата. Вот уж на нос ее было решительным образом плевать. Вообще-то, и смотрел он вовсе не на нос. Он любовался неожиданным сочетанием в ее фигуре очень тонкой талии и очень полных бедер. Особенно когда она сидела на пуфике перед трюмо. Леон валялся на кровати, изрядно потрепанный ее кипящей страстью, и наблюдал тонкую спину с пышными ягодицами: это было похоже на изящный, плавно стекающий книзу кувшин работы иранского мастера. – Носик твой обворожителен.

Нос, на его взгляд, был ужасен: слишком короткий, неестественно прямой. То ли у хирурга полностью отсутствовало чувство стиля, то ли пациентка просто

замордовала бедного австрийца требованиями «европейских пропорций». Ведь ясно, что при этих полукруглых, знойно поднятых бровях, при этих сладчайше вывернутых полных губах лицо требовало крупного носа с горбинкой – носа красавицы с персидской миниатюры, с каким наверняка произвела ее мать на свет божий. И еще раз повторил:

– Чудный милый носик, моя Психея. Но охота ж тебе лезть под нож мясника.

– Это что, – довольно проговорила она, высоко поднимая брови и припудривая лицо, еще не просохшее от любовной испарины, попутно бросая из зеркала многозначительные взоры на простертого Леона. – Это еще чепуха. Видел бы ты, как исполосовали моего кузена! Живого места на лице не оставили. Даже волосы в лысину вживляли. – Расхохоталась и добавила: – Такова жизнь: ты бреешь свою шикарную шевелюру, а другие целое состояние выкладывают, чтобы темечко художественно проросло... Я, знаешь, каждый раз вздрагиваю, как вижу его новое лицо, – не узнаю брата: чужой человек! Где мой любимый Дариуш, с которым мы играли в детстве! Через две недели празднуем в ресторане мамин юбилей, и кузен, само собой, тоже будет... Он обычно нигде не появляется, жизнь у него такая... сложная, но день рождения мамы для него – святое! И я опять себя готовлю, чтобы не ахнуть в первый миг.

...Далее оставалось только правильно поставить парус. Например, вытянуть из нее дату и время семейного торжества: умоляю, моя радость, я появлюсь в Вене совершенным невидимкой, я ведь буду смертельно скучать. Только глянуть на тебя издали одним глазком, ты даже не заметишь (на торжество она, разумеется, собиралась с супругом).

Из ближайшего интернет-кафе он написал на некий призрачный адресок письмо Шаули: такого-то числа, мол, буду по делам в Вене и с удовольствием пообедаю с тобой, если по случаю окажешься там в то же время. Ждал подтверждения от друга, а получил – буквально к вечеру того же дня – подтверждение от самого Калдмана: окажусь, мол, как же, как же, окажусь по делам в Вене и отообедаю с удовольствием. Старый лукавец уже давно подчеркивал свой *консультативный, а не оперативный статус*, но ревнивым оком все еще посматривал за молодыми оперативниками. Опять же – давно не виделись, отчего и не пообедать?

И вот чем оно обернулось.

«...Жаль, я сидел не один, – объяснит потом Леон *пышной заднице*. – Зато любовался твоим носиком битых два часа».

*А может, вообще ничего не говорить? Все равно этой интрижке уготована бесславная кончина. Просто сложилось так, что в ресторан он привел собственного свалившегося на голову дядю, надоедливого глуховатого старикана. Что поделать – все мы заложники семейных связей.*

Он оставался за столом еще минут пять, выжидая, пока Натан – сутуловатый и все еще мощный (а со спины так и вовсе не старик) – неторопливо покинет ресторан, пройдет мимо «Дуби Рувки», все так же рассеянно листавшего газету, и *замутится* в толпе.

Затем легко вскочил и сам направился к выходу.

Толкнув дверь, услышал вопль из кухни:

– Ай-я!!! – вопль, что показался ему криком боли: так мог вскрикнуть человек,



случайно порезавшись ножом. Но тот же голос через мгновение повторил за его спиной по-русски: – Долго я буду тебя звать?

Снаружи, на ступенях ресторана, с фотоаппаратом в руках стояла девушка, напигованная колечками, – та, что неумело их обслуживала вместо отлучившегося официанта. Кажется, она снимала толпу на площади.

Мужчина в белой куртке рабочего кухни, с закатанными по локоть рукавами, бесцеремонно опередив Леона, выскочил на крыльцо и хлопнул девушку по плечу так, что та вздрогнула и обернулась.

– Где ты болтаешься? Немедленно за работу! Когда! кончится! этот бардак, Айя?! – крикнул он прямо ей в лицо. – Когда?!

Выругался в сердцах и вернулся в помещение.

Она негромко, словно самой себе, ответила по-русски:

– Когда ты сдохнешь...

И принялась свинчивать с камеры огромную, как телескоп, явно дороговую линзу *Canon*...

Леон удивленно покрутил головой и спустился на несколько ступеней. Значит, русский – вот родной язык этих пробитых колечками губ.

Мы по-прежнему строим вавилонскую башню, подумал он, – и по-прежнему без особого успеха.

«Дуби Рувка» лениво поднимался ему навстречу. Легко задев Леона трубочкой свернутой газеты, извинился по-немецки и вошел в ресторан. Сейчас займет их освободившийся столик или причалит к стойке бара, и за профессора Аль-

Мохаммади с этой минуты можно не волноваться: он будет присмотрен. Профессора станут передавать из рук в руки, дабы с ним – таким красивым, таким арийцем, таким выдающимся ученым – не случилось беды прежде времени. Вот только жаль виртуозной работы австрийского хирурга: Аль-Мохаммади не успеет вернуться к трем тысячам работающих центрифуг, как не успел вернуться из Праги к себе в Натанзу Моджтаба Аль-Лакис, – *Ал-ла иера-а-ахмо!..* [\[12\]](#)

Два бронзовых атлета тоже покинули свой пост и нырнули в подземную стоянку, где им наверняка предстояло преобразиться в нечто гораздо менее блестящее и заметное. И то сказать: сколько может человек, пусть даже обученный, пребывать в неподвижности?

Леон стоял на нижней ступени ресторанного крыльца, готовый двинуться к особняку французского посольства – тут недалеко, двенадцать минут ходу. Он любил приходить вовремя даже на никчемные и утомительные приемы; никогда не знаешь, кого там встретишь и чем может обернуться очаровательный вздор жены помощника атташе по культуре. Стоял и наблюдал броуново движение толпы на площади, все еще объятай усталым солнцем.

Надо натравить Филиппа на Грюндля, опять подумал он. Припугнуть старую сволочь, пригрозить, что не станем больше у него записываться. Да, именно так – сокрушительный ультиматум: денежки на стол!

Что касается сегодняшней встречи – что ж, *они* полностью использовали свой шанс. Вообще-то, он был уверен, что *зацепить* его можно только через Владку, любимую его пошлую мамку. Правда, Владка была сейчас тоже *изгнана в пустыню*,

и хотя время от времени предпринимала истерические попытки вернуться, не скоро еще вернется; отбудет свой срок на полную катушку. И вот, надо же, как они его *зацепили*, злодеи! – через давно покойного Иммануэля. Нет, все-таки нельзя обрастать болью, пусть даже болью памяти. Надо латать и законопачивать все свои бреши. Его девиз – никаких привязанностей! – был самым мудрым и выстраданным достоянием. Самым драгоценным завоеванием его собственной философии. И все же Натан его достал. Достал в тот момент, когда всерьез и окончательно Леон приказал себе обрубить все связи с прошлым, закопать все виды ненависти, зализать все раны и пуститься в тот путь, который в конце концов приведет лишь к колыханию звука, к натяжению голосовых связок, к полету голоса, к единственной любви – Музыке...

Натан Калдман в эти же минуты своим грузным военным шагом отмерял плиты широкого тротуара, рассудив, что до *безопасной квартиры* может добраться и пешком, не сахарный. Машина понадобится Рувке, когда тот досидит *на торжестве* и решит *сопроводить профессора*.

А он, Натан, – не сахарный, он пройдет. По крайней мере, немного собьет возбуждение, охватившее его в ту минуту, когда он понял, *кого* на сей раз сервировал им Леон на белом блюде, в изысканном зале ресторана. И вновь мысленно проследил весь сегодняшний разговор, в течение которого тот блестяще провел свою *музыкальную* партию, ничем себя не выдав. Ты – потрясающий, ты – прирожденный охотник, черт бы побрал все твои сердечные и прочие занозы, *ингелэ манс!*

Хорошо, Магда, мысленно сказал он жене, я даю тебе слово, Магда, это – в

последний раз! Ты права, надо оставить мальчика в покое. Я клянусь тебе, Магда, когда он добудет для нас этого самого «Казака» – он и вправду станет *частным лицом*, как сам любит повторять, хоть это и полная бессмыслица. Видела бы ты, как пыхнули его горячие глаза, когда он услышал, *что* проделали с компанией Иммануэля! В этих глазах была жажда древнего ритуала кровопролития, Магда, – не менее сладкая цель, чем какое-нибудь до третьей октавы, взятое его бесподобным голосом. Но – хорошо, пусть он станет настоящим *говенным частным лицом* и пусть поет до ста двадцати на здоровье! Ты права, Магда, с моей стороны это *безнравственно*: в конце концов, почему я должен рисковать им больше, чем собственным сыном?

Натан Калдман полагал, что Леон недолюбливает его сына Меира. Он заблуждался: Леон Меира ненавидел. Ненавидел и считал главным источником зла в его, Леона, распроклятой жизни.

# Меир, Леон, Габриэла...

## 1

...А какими друзьями были!

Это все Меир: он обеими руками подгребал к себе поближе тех, кто, по его мнению, нуждался в его помощи, защите, подсказке, проверке и даже в его школьном завтраке. Когда по утрам заспанная мать в халате поверх ночной сорочки (она всегда трудно просыпалась) мастерила ему на кухне бутерброды, он – бодрый, порывистый – выскакивал из ванной с зубной щеткой, поршнем ходившей во рту, и кричал:

– Ма-ам! Жратвы побольше, о'кей?

А что делать, если на переменах нужно обсудить с кучей народу уйму проблем? Времени нет по буфетам бегать! Он расстилал салфетки на парте, вываливал подножный корм для своих оленей – налетай, ребята! Ну, и после занятий, тут и гадать не нужно, каждый божий день уж двоих-троих на обед непременно притащит: столько всего недоговорили, недообсудили...

Такой мальчик, вздыхала Магда, общественник. Никакого покоя...

И – дым коромыслом, и споры, и гогот, и музыка, и репетиции очередных придуманных им сценок – веселый ор до позднего вечера! Басок Меира перекрывает все окрестные звуки, кажется, даже, и рев осла по ту сторону ущелья, и колокольный «дом-бум» из монастыря Святого Иоанна по соседству. И так – до прихода отца,

который один умел взглядом усмирить весь этот дом-бум, со всеми его обитателями, гостями и животными.

И лишь тогда народ расходился и наступала суховатая тишина, в которой из родительской спальни вначале доносились покашливание и шуршание газеты, потом внезапно взрывывал, опадал и вновь нарастал вертолетным рокотом храп старшего Калдмана. Наконец, по каменному полу процокивала коготками любимица Магды – белая крыса Буся, шмыгала в свою кладовку и шебуршила там до утра.

Меир с детства был центром любой компании, ее естественной осью: рослый, увалистый, в отрочестве смахивавший на грузчика. Впоследствии «изросся» – возможно, потому, что с восьмого класса ринулся в стихию тхэквондо, где, как сам объяснял, «не попляшешь – не лягнешь» и «ноги – всему голова». К десятому классу вытянулся и стал верзилой, в отца, а ростом так еще выше (эти дети быстро нас обгоняют) и по характеру, уверяла Магда, гораздо приятнее: проще, дружественней, улыбчивей... Да о чем говорить! Меир был душа-человек, магнит, к которому в школе причаливали все по очереди и скопом.

Он и Леона выудил чуть ли не из-под парты.

\* \* \*

В школу при университете – эта семейно-кастовая теплица и называлась «Приуниверситетской», и действительно славилась высоким уровнем обучения –

Леон угодил случайно. По месту жительства.

После смерти обеих старух они с Владкой вынуждены были переехать из замызганной и разбитой, протекавшей зимой и до обморока накаляемой летом, но все же большой трехкомнатной квартиры в бедняцком районе в жилье гораздо меньшее, но...

Но вначале надо бы рассказать о том, что случилось с Владкой.

А с Владкой вот что случилось: покупая в понедельник в супермаркете помидоры и картошку, она познакомилась с Аврамом.

У них с Леоном каждый день был помечен определенными покупками. Устраиваться на работу Владка, как всегда, не торопилась, поломоитьствовать по людям – чем зарабатывали многие репатриантки и поумней, и пообразованней ее – не кинулась. А деньги они с сыном получали небольшие: пособие матери-одиночки да «детские» на Леона, совсем уже гроши. Не разгуляешься, и это еще мягко сказано.

Леон пытался подработать: устроился в продуктовую лавку за углом разносить заказанные по телефону покупки. «Зарабатывать будешь, как бог!» – уверял хозяин. Но судя по тем грошам, что приносил мальчик после нескольких часов беготни, бог тоже был изрядным лохом. Получка Леона складывалась из чаевых, то есть из упований на людскую совесть. К тому же он не брал денег у старух, инвалидов и брюхастых религиозных женщин, изможденных ежегодными родами. Зарабатывал дырку от бублика, зато приобрел немало полезных сведений о свинской природе человека – существа, сработанного доверчивым *боголохом* явно спустя рукава.

– Представляешь, – рассказывал он вечером Владке, – поднимаю на пятый этаж

без лифта два чугунных пакета, кило по сто каждый, ни черта от пота не вижу; доползаю, ставлю у двери, звоню... Звоню и звоню... никто не открывает! Вроде как хозяйка отлучилась. Ну, что делать! Не буду ж я там торчать до вечера. Оставляю пакеты, спускаюсь до нижней площадки и слышу: наверху тихо-о-онько открывается дверь, пакеты втаскивают в дом. Это она стояла и ждала, чтоб мне надоело звонить и я ушел. Три шекеля чаевых сэкономила!

А уж после того, как однажды Владка в один присест разметала их пособие, угостив приятельниц обедом в одном из самых дорогих ресторанов («Ну, проголодались! ну, скучно было до ужаса!»), тринадцатилетний Леон, расколотив пару стаканов и пригрозив матери полицией, взял дело в свои руки: отнял у Владки банковскую карточку и чековую книжку, составил строгое расписание покупок (по понедельникам, как было сказано выше, покупались четырнадцать средних помидоров, трехкилограммовая сетка картошки, две булки и дюжина яиц) и ежедневно выдавал ей точную сумму на расходы, плюс автобусная карточка на курсы иврита, где вот уже год Владка царила, как примадонна на подмостках сельского клуба, развлекая учащихся, да и учителя, своими несусветными россказнями:

– Я смотрю – а у тетки четыре титьки! Это бывает, называется «атавизм». И она что: она носила два лифчика, ясно? В два ряда. Так и выходила на пляж. А что делать, а войдите в ее положение: фигурка у нее в остальном была совсем неплохая...

Так вот, покупая в понедельник помидоры и картошку (повторим мы в третий раз), Владка познакомилась с Аврамом.

Приметил он ее давно, с тех пор как она стала закупаться в этом дешевом



супермаркете, который (после сверочного рейда по окрестным магазинам) Леон назначил для покупок. Собственно, Аврам и был владельцем данного заведения, многодетным вдовцом, сентиментальным восточным человеком с наливным грустным носом, влажными, как маслины, черными глазами и тяжелой связкой ключей на поясе.

Он подошел к кассе, лично просчитал Владке небогатый улов, лично сложил его в пакет и сопровождал Владку до квартиры, где уселся пить чай за колченогий стол. Сам же и заварил этот чай, неодобрительно качая головой и что-то бормоча про дешевую заварку – купленную, между прочим, в его собственном магазине.

Разлив чай по чашкам и выложив на клеенку свои большие чистые руки многодетной матери, Аврам немедленно посватался к Владке.

– Ты женщина с ребенком, – сказал он. – Кто тебя возьмет, кроме меня?

Владка расхохоталась. Во-первых, ее давно смешил рисунок на этой клеенке: размноженные по диагонали крупные сливы-близнецы, до оторопи напоминавшие лиловую задницу. В сочетании с заботливыми руками Аврама сливы-задницы почему-то произвели на Владку гомерическое впечатление. Вовторых, она уже проходила параграф учебника под названием *запад-есть-запад-восток-есть-восток* и урок не то чтобы выучила (к учебе она, известно, была малопригодна), а просто не собиралась ходить во второгодниках. Она расхохоталась и долго не могла унять при виде натруженных рук, задумчиво ласкавших клеенку с лиловыми задницами.

Аврам не обиделся. Он спокойно выждал, когда эта красивая рыжая женщина отсмеется, допил чай и налил себе еще.

Потом обошел квартиру, обстоятельно осматривая каждый угол, вкрутил

лампочку в кладовке, где с самого их приезда теснилась крошечная тьма и для того, чтобы отыскать босоножки, надо было светить фонариком. Затем, как заправский кузнец, подковал ногу стола-инвалида обнаруженным в кладовке деревянным бруском, и стол наконец перестал шататься.

Тут из школы вернулся Леон, и Аврам пришел в восторг.

– Это же наш мальчик! – воскликнул он. – Наш мальчик, «парси»<sup>[13]</sup>! Почему ты не сказала, что твой муж был из наших?

– Мой муж, – с достоинством отозвалась Владка, плавно выходя замуж задним числом, – погиб в Афганистане. – И поникла вдовьим лицом.

– *Зихронó леврахá!*<sup>[14]</sup> – тихо воскликнул отзывчивый вдовец.

И добрый Аврам ненавязчиво и безвозмездно вошел в их домашний обиход, в их проблемы, в их безденежье, в эмигрантские одиночество и неприкаянность.

Нет, он был человеком практичным и к тому же обременен большой семьей; он не собирался вешать себе на шею эту пусть и роскошную, но довольно бесполезную женщину с ее пусть и очень симпатичным, но чужим пацаном; так, приносил время от времени помятую банку хорошего кофе или слегка продранную коробку стирального порошка, бутылку оливкового масла с поцарапанной этикеткой или пакет мороженой фасоли... а что? вещи полезные, конь дареный, большое спасибо... Но своим многодетным сердцем Аврам обнимал изрядную часть этого неустроенного мира, искренне пытаясь сделать его разумнее и пригоднее для проживания.

Для начала он совершил то, что никому до него не удавалось: погнал бездельную Владку на работу.

– Хватит шлаться по ульпанам, – сказал он. – Ты и так уже много лишнего болтаешь на нашем святом языке. Надо зарабатывать хоть небольшие деньги, но в приличном месте. Я тебя устрою.

Сказал и сделал! «Приличным местом» оказалась резиденция главы правительства.

Так уж случилось, что начальником охраны этого серьезного заведения работал свояк Аврама, Нах' ум. И путем трехминутной беседы с начальником по уборке, через фирму по найму рабочей силы Нахум договорился, что с завтрашнего дня Владка выйдет на работу – заведовать тряпками, швабрами и ведрами, а также канистрами с моющими средствами, выдавая их сплоченному взводу сменных уборщиц, немолодых женщин с лицами сотрудниц Эрмитажа. Перетрудиться на подобной ответственной должности было невозможно.

Во-вторых, Аврам переселил их в другую квартиру и, что гораздо важнее, в другой район, объяснив главный принцип существования человека в западном обществе: обитать ты можешь в любой подсобке, любом сарае, любом подвале – но в хорошем районе.

– А что такое хороший район? – подхватил он и сам же себе ответил: – Это приличная публика. И значит, хорошая школа.

В обычной городской школе в районе иерусалимских трущоб Леон уже освоился. Половина учеников седьмого класса охотилась за косячками, четверо нюхали «коку», многие подворовывали. И все поголовно курили – это считалось само собой разумеющимся. Курить Леон попробовал в первый же день, но сразу и

бросил: ему не понравилось першение в горле и удушливый запах дыма в носоглотке. (Всю жизнь «горловые страхи» преобладали у него над стремлением к любым удовольствиям.)

Учителя в этой школе менялись со скоростью кадров в рекламном клипе; чуть дольше задержались математик, гигант с громовым голосом, перекрывавшим лавину визга и воплей на уроках, и шепотливая историчка, сразу после звонка впадавшая в нирвану, чтобы до конца урока тихо дрейфовать за своим столом, как тюлень на льдине.

Но Владке школа нравилась. Однажды она случайно завернула туда во время большой перемены, пришла в неописуемый восторг и с тех пор повторяла:

– Коллектив дружный! Ребята веселые, звонкие! Чего еще? Очень хорошая школа!

Что касается Леона, он всерьез подумывал бросить учебу и устроиться куда-нибудь, где платят такой мелюзге, как он, хоть мизерные деньги. В пекарню «Энджел», например; там и воровать не нужно – там булки после смены за так выдают.

При всей его самоотверженной экономии их банковский счет пребывал в глубоком обмороке.

Лучшей школой в Иерусалиме и одной из лучших в стране считалась университетская теплица с профессорами-преподавателями и отборными ребятами из состоятельных интеллигентных семей. Попасть в нее было непросто. Вот разве что живешь ты за углом и, согласно закону, приписан к данной школе «по месту

жительства», а значит, ни одна чистопородная *мам* и из родительского комитета не посмеет морщить холеный носик и чинить препятствия твоему воссоединению с отпрысками элиты общества.

В тяжелой связке ключей, что болталась у Аврама под брюхом, изрядный вес занимали ключи от жилого дома, некогда перестроенного его отцом из огромного каменного ангара, в котором еще прадед держал самую большую в окрестностях Иерусалима кузницу. Квартиры – их было четыре – Аврам сдавал, подкапливая на приданое дочерям, – уж больно район замечательный: тут тебе университет, тут тебе Кнессет, тут вот концертный зал и музыкальная академия имени Рубина; тут – оглянись только! – все удовольствия, что можно просить от жизни.

А при доме подсобка была в полуподвале, «печаль и ветошь давних дней», по словам самого Аврама: квадратное помещение метров в тридцать, где от многих поколений жильцов копился брошенный или забытый при переезде хлам. Эту самую подсобку Аврам давно планировал пустить в оборот: переделать в квартирку и сдавать, например, студентам – те, как известно, могут жить и в конюшне, и в мусорном баке, и в почтовом ящике. Его большое торговое сердце не позволяло вселить туда Владку с Леоном за просто так – да и с чего бы? Но за уборку двух подъездов... почему бы и нет? Подумаешь, работа для здорового парнишки – дважды в неделю мокрой тряпкой по ступеням пройтись!

И Леон ухватился за предложение обеими руками: в их бюджете высвобождались приличные «квартирные» деньги. Чем черт не шутит – может, удастся вылезти из долгов и даже платить за музыкальную школу? Тем более что специальная музшкола при академии Рубина тоже находилась чуть ли не за углом.

Вот о чем тосковал он безутешно: о театре, о кларнете, о милом ворчуне и охальнике Григории Нисаныче. Короче, о Музыке.

\* \* \*

Подсобка выглядела ужасно: затхлая, пропахшая пылью и плесенью, с двумя окошками на лестничный пролет, сизыми от корки застарелой грязи. Полуподвал, заваленный ящиками, узлами и обломками старой мебели.

Но Аврам привел двух рабочих-арабов из своего супермаркета, и те буквально за день расчистили помещение, выкинув на помойку столетнее барахло. Леон деятельно им помогал и поживился керосиновой лампой с дымчато-сиреневым стеклом, фонарем с винного завода «Кармель Мизрахи», медным подсвечником и машинкой «Ремингтон» с четырьмя выломанными буквами. Еще ему достался сине-бархатный альбом с фотографиями членов какой-то разветвленной семьи конца девятнадцатого столетия: галстухи, банты, оборки, трости, шляпы и шляпки, бороды и пейсы, кудряшки на алебастровом лбу. И круглое стеклышко в глазу добродушного пузатого старикана в хромовых сапогах.

Но главной добычей стали на диво сохранные лаковые дамские туфельки на медных пуговичках и помятый котелок времен Британского мандата на Палестину – смешная круглая шляпа, в которой физиономия Леоны, когда он нахлобучивал котелок на голову, менялась до оторопи.

*Его внешность всегда решительно менялась от любой, даже незначительной детали, не говоря уже о таких штучках, как парик или приклеенные усики. И дело не в деталях, не в одежде или прическе, а в самом Леоне: прикидывая на себя чужую шкуру, имя и легенду, он полностью преображался внешне. Менялись даже походка, наклон головы, манера говорить; появлялись новые жесты, которые, надо сказать, он всегда тщательно продумывал...*

Владка окинула взглядом улов своего «барахольного» сына и носком туфли, как дохлую крысу, пошевелила круглый фонарь на полу.

– Большой на всю голову! – заключила она. – Хламидиоз тут развел, прям как в Одессе...

Те же рабочие побелили стены, поставили две гипсовые перегородки, приволокли газовую плиту, унитаз и душевую кабину, разом превратив полуподвал в крошечную, но уютную полуторакомнатную квартирку с кухонным уголком. А Леон уже сам вдохновенно отдраил оба полукруглых окошка – да, маленьких, но не лишенных некоторого переплетного изящества; отдраил их до чистоты богемского хрусталя, так что сам залюбовался. И Аврам явился, осмотрелся, растрогался – и совсем уж расщедрился: велел поставить две батареи, так что потом, холодными иерусалимскими зимами в полуподвале всегда было тепло.

Еще там обнаружилась арка в стене, которая никуда не вела, – стрельчатая ниша в полметра глубиной. Леон сам навесил внутри полки и очень красиво расставил все свои трофеи: «ремингтон» в центре, по бокам – фонарь и лампу. А одно из платьев Барышниного «венского гардероба» – самое изящное, кремовое, с кружевами

валансьен и с черной бархоткой – повесил на плечики и на стенку; и к черту идиотские Владкины замечания.

Полуподвал сразу очнулся, зажил и превратился в уютное обиталище: то ли каюта корабля, то ли семейная часовенка.

В эту симпатичную сумрачную берлогу перекочевала и кое-какая старая мебель, собранная Аврамом у жильцов: лично ходил по квартирам на предмет «отдайте чего не жалко хорошей женщине с ребенком». Владка на это фыркнула: «Стыдобища!» – но милостиво приняла еще очень приличный секретер, кушетку, на которой Леон проспал до самого своего отъезда в Россию, и кое-что из утвари, среди которой обнаружили даже пять гарднеровских чашек с тремя целыми и двумя чуть треснутыми блюдами.

– Живите! – сказал Аврам и, будучи склонным к библейскому ощущению мира и связи поколений, добавил: – Гарун аль-Рашид тут не поселился бы, а вам подойдет. Живите, и пусть настанет в судьбе Леона день, когда он с улыбкой вспомнит эту скромную обитель, лежа в шезлонге у бассейна на своей вилле.

(У самого Аврама на вилле в Бейт-Вагане бассейна не было. Он не одобрял все эти бесстыжие глупости и не поощрял дочерей к прилюдному обнажению тела: хочешь мыться – мойся, для того существует душ, не говоря уже о микве.)

...И за этот вот царский дар, за университетский ботанический сад неподалеку, за вежливых и приветливых соседей, за бетховенскую Тридцать вторую сонату, обожаемую жильцом из верхней квартиры, за столетнюю пинию у подъезда, за птичий щебет в ее райской кроне по утрам только и требовалось, что дважды в



неделю набрать воды в ведро, раскатать ее с верхней площадки, сгребая шваброй вниз, затем отдраить каждую ступень вручную и, как говорила Стеша, «внагибку», отжать тряпку покрепче да пройтись разок всухую.

Невелика плата за крышу над головой.

*Все же удивительно, как этот замкнутый мальчик – такой хрупкий на вид, выросший в столь же странного и хрупкого молодого человека, – никогда не избегал физической нагрузки, никогда не ломался под гнетом большого веса или длительных тренировок и среди бойцов своего взвода был известен тем, что тяжелейшие марш-броски молча и упорно пропахивал с шестидесятикилограммовым рюкзаком за плечами, из-за которого не видать было головы. А доволочив до базы отбитое свое тело, не валился на койку прямо в ботинках, а плелся в душ – смыть пот, грязь, песок и кровь, – после чего надевал наушники и отгораживался от друзей-командиров и прочих раздражителей внешнего мира собственной непробиваемой броней: Музыкой.*

*Невелика плата за жизнь.*

Девочка вся была длинненькой, ломкой, страшно подвижной – стрекоза! На высокой шейке голова с кучеряво-каштановым, дрожащим облаком волос. И надо всем этим – впереди всего, в глубине всего, из самой глубины – глаза: сине-серые,

зелено-синие, фиолетово-черные при электрическом освещении...

Да, она была похожа на стрекозу, что надолго не присаживается ни на лист, ни на ветку или цветок, а парит, зависая в воздухе, трепеща крылышками и разглядывая мир огромными прозрачными глазами.

Девочку-эльфа звали Габриэла – очень подходящее имя для таких синих глаз, таких длинных ног и рук, таких золотисто-каштановых волос.

Леон уже неделю смотрел на нее со своей задней парты, и на уроках смотрел, и на переменах, никуда не выходя из класса, досадливо ерзая, когда вид на нее заслонял высокий, толстый и добродушный мальчик с именем-вымпелом: «Меир!» – это имя неслоь отовсюду, его знали все, он всем был нужен, даже высокомерным старшеклассникам, а на переменах становился вершиной утеса, с высоты которого, как с горы Синай, раздавался голос, уже сломавшийся в нестойкий басок.

К тому же этот громила приносил из дома кучу вкусной и дорогой еды, которая уничтожалась его друзьями мгновенно. Леон такой еще не пробовал. Они с Владкой по пятницам позволяли себе только курицу – пятница была днем *скидок на птицу* в супермаркете Аврама.

В тот день, когда на большой перемене человек восемь сгруппировались вокруг Меира и, азартно работая челюстями, выслушивали его мнение о школьной музыкальной группе (дрянь, настоящая дрянь и останется дрянью, если мы не возьмем дело в свои руки!), Леон торчал на задней парте, с которой открывался потрясающий вид на фигурку Габриэлы, явившейся в школу в белых шортах и синей майке. Сзади на шортах были пришиты косые карманы с «золотыми» заклепками –

по одному на каждую половинку обаятельной попы, так что та казалась забавной рожицей, – а на майке по-английски написано: «Ты впечатлен? Я довольна. А теперь отвали!»

Он даже не услышал, когда Меир, заметив его с высоты своего роста, крикнул: – Эй, а ты чего под стол спрятался? – не понял, что это к нему относится.

Габриэла обернулась и сказала:

– Он не спрятался, он просто ма-аленький... – и показала, какой именно: на кончике указательного пальца, будто блоху поймала.

Леона изнутри как кипятком ошпарило. Но внешне он никак не отозвался на слова мерзкой девчонки, так и сидел, разглядывая компанию с невозмутимым видом завсегдатая греческой таверны.

– И иврита не понимает, – добавила Габриэла и прыснула.

– Нет, почему, я сразу понял, что ты – самовлюбленная дура, – отозвался Леон. – Тем более что это видно за километр.

*Иврит у него к тому времени был не хуже русского. Не только потому, что врожденная (и тренированная хоровичкой Аллой Петровной) четкая артикуляция речи производила впечатление абсолютного владения языком, но и потому, что с каждым человеком он говорил с тем ритмом фразы и той интонацией, которых требовали обстоятельства, психологический тип собеседника и цель разговора.*

Девочка ахнула и подбоченилась, колыша копной золотисто-каштановых волос – овца, деревяшка, глупая длинноносая цапля! А Меир рассмеялся и сказал:

– Да он еще меня перерастет, хватит на человека пялиться, вы что – очумели? И оставьте человеку сэндвич, эй, Бени, слышь, дай человеку пожрать!

Вот каким он был, наш Меир: добрый, справедливый, умный – душа-человек!

И Леон не успел оглянуться, как его дружески извлекли из-за парты, и уже через минуту он жевал булку с листом вкуснейшей бастурмы внутри и участвовал в обсуждении жгучей проблемы: как переплюнуть выпендренщиков из школы в Рамат-Эшколе – у тех давно был приличный музыкальный ансамбль. Он старался не смотреть на Габриэлу, дав себе клятву, что возненавидел ее, возненавидел до конца своих дней... боковым зрением ловя синие брызги искристых взглядов, от которых невозможно было увернуться, как от шрапнели.

В этот день после уроков он впервые очутился у Меира в Эйн-Кереме – обаятельном богемном пригороде Иерусалима, с туристическим гомоном ресторанов, баров и галерей на двух центральных улицах; с задумчивым гулом монастырских колоколов, с лесистыми склонами глубокого ущелья и с неожиданной деревенской тишиной сонных переулков и тупиков, что заканчивались коваными воротами в каменном заборе, за которыми – в зелени винограда и олив, среди выплесков желтых, красных и белых цветков гибискуса – пряталась скромная старая вилла, укрывшая в подоле под горой еще два своих этажа.

Впервые Леон оказался в доме Калдманов: в чудесном, распластанном по склону горы доме, встроенном в две горные террасы так, что из одной комнаты в другую вели – как ноты на нотном стане, до-ми-сольдо – полукруглые ступени.

Тогда-то он впервые увидел и Магду, и та показалась ему старухой, маленькой и

щуплой, с аскетичным лицом: впалые щеки, всегда чуть сдвинутые брови, над которыми идеально ровно, как черта под некой запретной мыслью, отрезана челка, сильно пробитая сединой.

*А потом уже Магда не менялась. Во всяком случае, и через десять, и через двадцать лет она оставалась немолодой сухощавой женщиной в тесном шлеме седых волос.*

Словом, они ввалились к Меиру, и тот, свесившись над перилами, что плавной дугой уходили куда-то вниз, как в трюм корабля, крикнул:

– Ты где, ма-а-ам? Все ужа-а-асно голодные!

И на его зов откуда-то из-под горы по этой дуге стала медленно восходить женщина: сначала показалась седая макушка, затем голубая блузка, джинсы на тонких юношеских бедрах, легкие ноги в спортивных тапочках... вслед за которыми со ступени на ступень прыгал белый комочек с длинным розовым хвостом: крыса Буся, что, как матрос по снастям, лихо взобралась к Магде на левое плечо и отлично устроилась там, рассматривая компанию черными бусинами глаз.

Магда молча пересчитала детей, машинально прикидывая, распечатывать ли вторую пачку «бурекасов» или одной будет достаточно, и наткнулась на взгляд незнакомого мальчика – настороженный, сумрачный, чужой. Удивленно подумала, что ее великодушный сын-нараспашку уже и арабчат на улицах подбирает.

– Это Леон, мам! – торопливо пояснил Меир. – Он у нас новенький и, представляешь, как повезло, – играет на кларнете! Так что группа есть: я – гитара,

Леон – кларнет, Габриэла – клавесин, а Ури – ударные.

– Здравствуй, Леон, – ровным тоном отозвалась Магда, вместе с легким голубоватым облачком доставая из морозильной камеры пачки с пирожками. (У такого салютного Меира такая морозильная мамаша, мельком заметил мальчик.) – И где же твой кларнет?

Леон пожал плечами, не зная, рассказывать ли про то, как валялись на перроне станции Чоп их вывороченные баулы.

– Его у меня нет, – легко пояснил он. – Остался там... в Союзе.

Господи, подумала Магда, кого только не приносит к нам из того самого «Союза»... Интересно все же, откуда он – из Махачкалы? Из Дербента? Как попал в нашу школу? Неловко спрашивать. И... может, он путает кларнет с какой-то их национальной э-э-э... камышовой дудкой?

Вслух произнесла тем же ровным, прохладно-приветливым тоном:

– Ну что ж, вашему ансамблю только солиста не хватает. Или солистки. – И улыбнулась: – Может, ты заодно и поёшь, Леон, а?

– Я пою... – после некоторой заминки, потупившись, отозвался смуглый мальчик, этот «мелкий восточный мальчик», из тех, что по приезде в страну сразу же попадают у штатных психологов в графу «социальный случай», в школе грешат наркотиками, страдают наследственными болезнями, а будучи призванными в армию, пополняют собой контингент военных тюрем. – В общем, я... да, немного пою.

*Впоследствии Магда часто вспоминала этот миг. И хотя с тех пор много раз*

слушала Леона в разных залах и даже умудрилась попасть на его дипломный концерт в зале Консерватории (когда с Натаном оказалась в Москве на конференции по вопросам борьбы с терроризмом), она при первых же звуках его голоса неизменно ощущала одно и то же: дыбом вставшие на руках волоски, блаженную слабость, озноб моментально замерзшей кожи лица – как в ту минуту на кухне ее дома, когда неухоженный, несуразно и неряшливо одетый и, кажется, давно немытый мальчик (должно быть, дома экономят воду) глубоко вздохнул, расправил плечи, слегка устремился вперед, и все пространство дома затопило серебряной струей хлынувших звуков «Каватины Нормы»:

– «Ca-a-a-as-ta di-i-iva! Casta diva inarge-e-enti...» – с таким подлинно итальянским произношением, таким безмятежно молитвенным голосом, что Магда лишь нащупала спинку стула и опустилась на него, не чувствуя ослабевших ног, не сводя глаз с этого – о, теперь-то она увидела! – ангельской ясности лица...

Что было потрясающим в этой сцене – кроме голоса мальчика, разумеется, – застывшие чуть ли не в священном ужасе лица остальных детей. По крайней мере, лицо Габриэлы Магда будет помнить всегда: бледное лицо Габриэлы с горящими, как от затрецин, щеками; лицо ее будущей невестки Габриэлы, матери ее внуков; женщины Габриэлы, виноватой во всем.

...И всю жизнь Леона с Магдой связывали особые отношения, которые не касались ни Меира, ни Натана, ни Габриэлы.

Например, при всей своей нелюбви к электронной почте, Леон время от времени слал Магде коротенькие – в пять-шесть иронических фраз – отчеты о прошедших

концертах, а она отовсюду, где бы ни оказалась, присылала ему открытки с видами каких-нибудь Афин, или Стамбула, или Санторини. И он писал в ответ: «Магда, ты – последний на земле человек, который шлет почтовые открытки, написанные рукой, и я целую эту руку, пусть и на расстоянии...»

В семье считали, что «это ужасно трогательно», и давно перестали над ней подтрунивать и дразнить ее и Леона. Между этими двумя разными во всем людьми сохранялась многолетняя, необъяснимая, но верная душевная связь, за которую оба они упорно держались.

Все знали, что за глаза Магда называла Леона «сиротой», – после того родительского собрания, где впервые увидела победительную, веселую, трепливую и щедро накрашенную Владку. Вернулась домой и сказала Натану: «Этот мальчик – сирота».

– Просто ты привязан к старухам, – как-то сказала ему Габриэла. – К старикам тоже, но главное – к старухам. А Магда заменяет тебе двух твоих бабок. Да ты и сам старичок, мой малыш. – Габриэла всегда знала, как цапануть его побольнее, как крутануть и выщипнуть кусочек сердца, чтобы оно кровоточило и болело подольше.

Но он чуял в ее слегка презрительных словах правду. Да, он всю жизнь скучал по Стеше и Барышне. Не тосковал – глупо тосковать по людям, прожившим такую неохватно длинную жизнь, – а именно скучал, искренне повторяя себе, что они тоже по нему скучают – там, на мертвенной равнине бесконечной мессы... Часто напевал «Стаканчики граненые», что перед смертью бормотала себе под нос уже полностью спятившая Барышня. Да, он скучал по ним. И, вероятно, потому так



*доверчиво и крепко, с первой же встречи привязался к Иммануэлю.*

\* \* \*

...И дело не в группе, не в кларнете, не в признательности за то, что Иммануэль оплатил покупку инструмента и подарил главное: возможность учиться; всего-навсего вернул Музыку.

Никто не упрекнул бы Леона в неблагодарности: он принимал участие во всех благотворительных концертах Иммануэля, которые время от времени тот устраивал в своем «бунгало», собирая весьма достойные суммы – то на жизнь какому-нибудь очередному страдальцу, лысому после химиотерапии, то на психологическую реабилитацию каких-то несчастных женщин, битых мужьями, то на покупку трех собак-поводырей для слепцов, почему-то выпавших из бюджета общества слепых.

В такие дни из Савьона в Иерусалим присылали машину с шофером – за Леоном и «верным Гришей», что аккомпанировал всем сборным сосенкам домашних концертов. Безотказному «Грише» было за семьдесят. Заслуженный деятель культуры Адыгейской АССР и действительно хороший пианист, он скучал по своим брошенным студентам, радостно откликаясь на любое приглашение помузицировать.

На «верного Гришу» можно было положиться в любую погоду, при любом насморке и прочих «форсмажорных» обстоятельствах.

(Это он научил Леона правильно выходить на поклоны: «Не кивай, как понурый

ишак, только чуть наклони корпус... еще глубже... и еще... А теперь резко выпрямись и – правая рука на сердце – улыбайся! непременно улыбайся!»)

Благотворительные концерты Иммануэля были для «верного Гриши» настоящей отдушиной, праздником, к которому он готовился загодя и потом долго и бурно переживал: и поездку в роскошном лимузине, и «прием гостей» – в просторном холле, на фоне открытого «бехштейна» (подлинного берлинского «бехштейна», привезенного в Палестину в начале века, отделанного светло-коричневым буковым шпоном, – непревзойденного «бехштейна», чей дискантовый регистр рассыпался хрустальными колокольчиками); и само выступление перед отборной публикой. В холле на пластиковых стульях, взятых напрокат, свободно рассаживались человек пятьдесят (и что это были за люди!). Ну, а после концерта гостей ждал сервированный в патио изысканный обед с отменными винами, непременно горячим блюдом и фирменными «пирожками от Фиры» (уф! – с горохом и чесночком!), – которые можно было умять штук восемь за один присест, глазом не моргнув.

Да, незабываемые вечера у Иммануэля...

\* \* \*

Дело в том, что Магда приходилась Иммануэлю родной племянницей, дочерью единственного его младшего брата Михаила, майора разведки, погибшего в Синайской кампании 1956 года. Так что Иммануэль не только любил Магду, но и

баловал ее больше, чем собственных детей, даже когда она выросла и вышла замуж. В семье считали, что Магде он не может отказать ни в чем – тем более в таком пустяке, как покупка инструмента для одаренного («Нет, Имка! – не одаренного, а гениального!») мальчика.

– Ладно, – добродушно отозвался дядька. – С гениальностью погодим. А кларнет – отчего не купить, пусть дудит, цуцик.

– За музыкальную школу согласился платить Натан, – торопливо вставила Магда.

Иммануэль захохотал и покачал головой:

– Натан? Платить? Хотя бы *груш*<sup>[15]</sup>? Этот скряга? Ну, видимо, рак на горе пёрднет... – Отсмеявшись, добавил: – Ладно, не терзай его. Уж как-нибудь на уроки способному пацану я тоже могу отстегнуть. *Гурнышт*<sup>[16]</sup>!.. Ну так привези его сюда, этого *шмоцарта*... И кларнет – его ведь нужно покупать с дельным человеком. Ты хоть знаешь, откуда его берут и с чем едят?

– Кларнет? Или дельного человека? – усмехнулась она.

Дельный человек нашелся, далеко не ходили. Звали дельного человека, как по заказу – Станислав Шик, он преподавал в музшколе при академии Рубина. Так что все сложилось. Втроем с Магдой и Шиком они отправились в *шикарный* музыкальный магазин на улице Бен-Иегуда выбирать кларнет. Выбирали долго – и видно было, что Станислав получает колоссальное удовольствие от всего процесса, заставляя мальчика брать в руки то один, то другой инструмент и извлекать звуки в разных регистрах.

Смотр начали, понятно, с недорогих: не стоит тратить большие деньги на начало, заметил Станислав. Ну, пусть и не совсем начало, и все же, после такого большого перерыва...

Но у Магды, видимо, были свои резоны. После двух-трех пассажей она спокойно осведомлялась – а что есть еще, подороже? Вот этот? Покажите... Выслушивала, чуть склонив седой шлем волос к левому плечу, будто у нее там привычно сидела ее любимица Буся, выпрашивая печеньку из кармана, и столь же неторопливо просила показать... вон тот, да-да, я понимаю, что он еще дороже.

В сумочке у нее лежал открытый чек, подписанный Иммануэлем, который велел «не корчить из себя бедных родственников и не покупать ведро дерьма на повидло».

В итоге потрясенный Станислав, перепробовав пару немецких «альбертовских» кларнетов и несколько французских, известной фирмы «Buffett», остановился на прекрасном японском «Yamaha». А на обратном пути к «Опелю» Магды, минуту назад невозмутимо выписавшей продавцу огромный чек, только и повторял:

– Ну, парень... ну, знаешь, парень... это тебе не!.. Да ты просто какая-то Синдерелла, парень!

Сам же Леон впервые за все время в Иерусалиме чувствовал даже не счастье-восторг, не блаженную невесомость, как предполагал еще утром, а странный и глубокий покой, точно вернулся наконец домой после долгого-долгого странствования. И уверенность чувствовал – в себе, в своих руках. В необъятном пространстве звуков, что раскинулось где-то между его затылком, ушами, носоглоткой и легкими.

И в ближайшую пятницу Магда привезла Леона к Иммануэлю, по пути заглянув с ним к своему парикмахеру Моти – тот был самый дорогой и модный мастер в Иерусалиме. Моти, сероглазый красавец из Барселоны, изысканный педрила с романтическим шлейфом любовных драм, одна из которых (самоубийство его последнего возлюбленного) потрясла «весь Иерусалим», увидев Леона, остолбенел.

– О-о-о!!! – стонал Моти, перебирая смоляные локоны мальчика, напряженно сидевшего в кресле. – Уничтожить это богатство, Магда, друг мой?! Погубить Рафаэля?! О, жгучий отрок Рафаэль! Их даже завивать не нужно – бархат и агат, ночная волна в лунном луче... Я завью их в сотню косичек и подниму в узел на затылке – это будет сенсация!

Магда поймала испуганный взгляд Леона в зеркале, успокаивающе подмигнула.

– Нет, я отказываюсь от убийства образа, Магда, друг мой!

Указательным пальцем сощелкивая с сигареты пепел в высокую бронзовую пепельницу на цаплиной ноге, она сухо велела:

– Покороче, поприличней, и вымой ему как следует голову, Моти, мы торопимся.

Нормальные брюки и блейзер тоже пришлось купить новые, так как шмотки Меира были несоразмерно «цуцику» велики.

И он предстал перед Иммануэлем – с кларнетом в руках, в таком вот приглаженно-благоухающем (мерзкими парикмахерскими лосьонами) виде,

стриженный, как черная болонка. Вырасту – обрею волосё наголо, к чертовой матери, в отчаянии думал он.

– Никто не просит тебя целовать руки благодетелю, – сказала Магда, паркуя машину у забора, за которым восставала и выплескивалась на каменный гребень колючая цветная поросль. – Но в двух-трех достойных словах – поблагодари. Он того стоит.

Заглушила мотор и вышла из машины.

Они открыли калитку в воротах и очутились в саду – совсем ином, чем у Калдманов, не сосново-оливковым, а пальмовом, засаженном миртовыми кустами; поднялись по каменным ступеням в огромный, как театральное фойе, увешанный картинами и заставленный странными скульптурами холл с роялем и минут пять еще бродили, заглядывая во все двери, «по оставленной шхуне в поисках капитана», как сказала Магда.

Наконец, обнаружили его у бассейна в просторном патио, с двух сторон обнесенном крыльями дома.

И у Леона просто не оказалось возможности ни подобрать, ни вымолвить слова: из плетеного кресла, стоявшего к ним спинкой, показалась рука, пальцы щелкнули, а маленькая веснушчатая кисть крутнулась, подманивая гостей.

Они подошли, и Магда со словами:

– Дом нараспашку, все по-прежнему в стиле «ограбьте меня уже кто-нибудь, ради бога!», – склонилась и поцеловала в макушку кого-то там, кто сидел в кресле и даже не был виден из-за высокой спинки. Та же рука потянулась к низкому плетеному столику, ловко плеснула из бутылки «спрайт» в два бокала, а зычный

голос приказал:

– Пить!

И дальше говорил только старик, а Леон, вытянувшись перед ним влюбленным солдатиком, кивал, или мотал головой, или смеялся забавным словечкам старика и его неожиданному – посреди иврита – и потому особенно смешному русскому «суч-потрох!» – когда тот удивлялся, возмущался или явно что-то одобрял.

Потом Леон играл на кларнете и по просьбе Магды спел, не чувствуя никакого стеснения, до ужаса боясь только одного: что Магда сейчас прервет его и скажет: «Ну, довольно, пора нам возвращаться...»

Но и она, видимо, чувствовала себя здесь как дома и не собиралась уезжать; принялась уверенно хозяйничать на кухне, разогревая обед. И втроем они очень вкусно пообедали совершенно домашней едой: куриным супом с лапшой, котлетками с гречневой кашей, оладьями со сливовым джемом – будто Стеша готовила.

Тогда еще у старика не было ни Тассны, ни Виная, шкандыбал он сам, опираясь на палочку; весь огромный разлапистый дом убирали приглашенные филиппинки, а обеды готовила Фира, репатриантка из Молдавии, с которой, кажется, он заодно и жил.

– Как, ты сказала, фамилия этого цулика? – спросил Иммануэль Магду чуть позже. – Хм-м... звучит элегантно. *Наш* немецкий вариант. Был такой религиозный мыслитель – Фридрих Кристоф Этингер, Германия, восемнадцатый век. – И вздохнул: – Чего только мы не подцепили, шляясь среди них... Хотя, глядя на *этого* Этингера, я б не удивился, услышав фамилию Хусейни или Муграби.

– Если б ты видел его мамашу, – возразила Магда, улыбнувшись, – ты бы решил, что самое подходящее ему имя – О’Брайен или О’Хара.

\* \* \*

Станислав Шик был Леоном доволен: тот быстро восстановил уровень, с которого прервались занятия с Григорием Нисанычем, и хорошо продвигался. Педагогом Станислав оказался умеренным, корректным, чудес не требовал и сам особых чудес не предъявлял. Свою речь пересыпал уважительными «голубчик», «милый» и «парень, это никуда не годится, повтори, пожалуйста!».

А Леон скучал по нежному хамству Григория Нисаныча, вспоминая, как наливалась вишневым соком груша его вислого носа, если ученик фальшивил, и как колотил он Леопа по спине мягким волосатым кулаком и орал: «Звук!!! Где твой хер-р-ровый звук?»

Через месяц Леон уже участвовал в первом своем благотворительном концерте в доме Иммануэля, вполне прилично исполняя под аккомпанемент «верного Гриши» концерт Людвиг Шпора. Кажется, в тот вечер собирали средства на строительство хостеля для солдат-одинок.

*Впоследствии Леопа приходилось бывать на самых блестящих приемах и светских раутах в самых великолепных особняках, дворцах и театрах. И он вполне отдавал себе отчет, насколько «попрошайские посиделки» у Иммануэля вышколали*



его, сызмальства выучив непоказным приличным манерам, умению приветливо и неназойливо завязать беседу и столь же изящно ее закруглить, когда течение этой беседы становится для тебя нежелательным; ответить на вопрос, не пускаясь в долгие объяснения, и вскользь поинтересоваться тем, что остро тебя занимает. Приучили к мелким, но полезным умениям и знаниям – вроде того, какой нож чему на столе предназначается, когда удобнее расстелить салфетку на коленях, а когда лучше заложить ее за воротник, и как поухаживать за дамой, сидящей справа, и что ей рассказать, чтоб ее вздорный лепет не мешал слушать чрезвычайно важный разговор двух неприметных господ напротив.

Его унаследованное от Эськи «чувство стиля» было отточено и доведено до совершенства в открытом всем ветрам доме невзрачного крапчатого старичка среди выдающихся полотен и скульптур.

У Иммануэля собиралась старая израильская аристократия: легендарные генералы с задубелыми лицами пожилых кибуцников; научные гении с недостающей на рубашке пуговицей; два лауреата Нобелевской премии в каких-то областях химии или физиологии; выдающаяся актриса Камерного театра Фанни Стравински с мужем, о профессии и должности которого никто ничего не знал или многозначительно помалкивал; неприметный, неразговорчивый, весь пружинистый и каучуковый человек со смешным именем Сёмка Бен-Йорам, которого все так и называли: Сёмка.

Бывали там известный скульптор Тумаркин, и дирижер израильского симфонического оркестра Зубин Мета, и скромный, с внешностью учителя

ботаники, специалист по ядерной физике, под чьим недреманным оком вырос таинственный реактор в пустыне. Был еще сухонький мальчик, вечный Питер Пэн, старый юрист и выпускник Сорбонны – бывший генеральный прокурор, бывший министр юстиции, член комиссии ООН по правам человека и советник Президента по каким-то каверзным вопросам (Иммануэль говорил про него: «Хаим? Это гигант, гигант, старый поц!»), и наконец, солисты израильской оперы – все многоцветье голосов, что не гнушались перед гастрольями по Южной Америке или Северной Италии обкатать часть программы на таком вот «домашнем полигоне».

Иммануэль, веснушчатый хитрый гном с вечно прищуренным правым глазом (зрелая катаракта, которую он решил не оперировать: «Все равно завтра подышать!»), возникал в центре любой группки всегда в самый разгар спора, перекрывал любой разговор своим зычным «заявительным» голосом, обращая в шутку любое мнение, предъявляя «личное свидетельство», вытаскивая из своей необъятной биографии то такой эпизод, то такую встречу, то судьбоносный спор шестидесятилетней давности.

– Эти три подонка – я имею в виду Ибн Сауда и двух его шпионов, Джека Филби и Аллена Даллеса, – они и вырыли ту выгребную яму на Ближнем Востоке, из которой все мы сегодня хлебаем помой. Филби и Ибн Сауд насадили американские нефтяные корпорации, сделали их хозяевами, а помогал им этот адвокатишка Даллес, суч-потрох, американский шпион! – координировал действия американской разведки на Ближнем Востоке. Эта троица и заказывала музыку, а дирижировали нацисты, потому как доходы Даллеса были завязаны на Германии, и всем это было известно. Эти трое сколачивали террористические группы и посылали их сюда, и

предавали всех и всякого, кто имел с ними дело... Даллес! Однажды я столкнулся с ним на каком-то приеме в Лондоне и выплеснул чашку кофе на его белоснежную грудь. Больше меня туда не приглашали, но рубашку я ему испортил навеки... Ха! Ватикан... Ватикан сейчас более всего озабочен вопросами выживания всей конгрегации... В конце шестидесятых они попросили моей помощи в подборе картин современных мастеров для их коллекции и однажды пригласили на обед... Ну-у, это был странный обед: бумажные салфетки, стол без скатерти, металлические вилки и ножи... Я удержался от замечаний, конечно. Но разве христианское смирение в том, чтобы не иметь приличного платка – высморкаться, суч-потрох?..

*...Когда, много лет спустя, где-нибудь на приеме в посольстве Испании или Франции Леон обводил взглядом публику, отмечая то лицо знаменитого комика, то широкие плечи олимпийского чемпиона, то профиль шоколадной фотомодели, то парочку явных резидентов под прикрытием дипломатических должностей, он всегда с грустным удовольствием думал: «У Иммануэля бывало круче...»*

\* \* \*

Уже и не вспомнить, когда Иммануэль впервые сам позвонил Леону – будто обычное это дело, будто каждый день звонил пожелать доброго дня – и велел приехать «вот сейчас, да-да, именно, и инструмент прихвати».

Леон ужасно взволновался: минут через пять он должен был выйти из дома на

репетицию оркестра музыкальной школы, но, услышав голос Иммануэля в трубке, решил все немедленно отменить и ехать. Забормотал, что, конечно, сейчас же выскочит... на автобус до станции, а там в три часа есть автобус до...

— Оставь этот караван вьючных верблюдов, цуцик, — нетерпеливо оборвал Иммануэль. — Вызови такси и езжай прямо ко мне, я заплачу. Хочу тебя кое-кому показать.

Леон схватил кларнет, выскочил и сразу поймал такси. Водила попался лихой и наглый, и, несмотря на дождь, подрезал и обгонял всех на горных виражах, так что долетели минут за сорок, и пока мчались, Леон пытался угадать, кому там он должен *показаться*, фантазируя и представляя себе чуть ли не Лучано Паваротти собственной персоной (и ничуть бы не удивился).

Но под навесом в патио сидел рядом с Иммануэлем такой же мужичок-боровичок, как и сам хозяин, неприметный и какой-то... *допотопный*, которого Иммануэль слегка насмешливо звал то Амосом, то Пастухом. Для Леона это оказалась странная и совсем неинтересная встреча, страшно его разочаровавшая (пропущенной репетиции было жаль).

Иммануэль попросил его сыграть, и он заиграл что-то из недавно выученного, потом его попросили спеть... И хотя мальчик в то время уже избегал петь этим надоевшим ему «бабьим» голосом, за который его все время дразнила неумная Габриэла, и устал ждать, когда наконец придет и минует природная ломка и новенький, еще неуверенный, как птенец, его тенор (или даже баритон?) раздвинет голосовые связки, как прутья клетки, и вылетит на волю, — он не смог отказать Иммануэлю и послушно запел свое коронное, из «Нормы», что всегда повергало в

трепет тех, кто слышал это впервые.

Он пел, равнодушно отмечая, как с первыми звуками меняется выражение лица у неприметного мужичка, как складывает тот ладони домиком и, подперев им крошечный колючий подбородок, задумчиво рассматривает рябоватую от мелкого дождика воду бассейна. И когда Леон умолк, мужичок пробормотал, не поднимая глаз на мальчика:

– М-да... очень похоже... – И повернувшись к Иммануэлю: – Знаешь, что мне это напомнило? Нашу канарейку в Вильно, до войны. Мама выпустила ее из клетки, когда всех нас уводили в гетто. Сказала: *пусть хоть кто-то из семьи будет на воле.*

– При чем здесь гетто?! – вскричал Иммануэль. – И здесь не Вильно. Ты хоть понял, *с чем* имеешь дело, Пастух?!

И тот опять сложил ладони, как пастор перед молитвой, и задумчиво произнес:

– Пока не вижу, чем это может пригодиться. Разве что внешность...

*Пастух действительно пас, и овечки его были особенного рода, а отправить на пенсию семидесятилетнего Амоса не решился бы ни один из руководителей конторы.*

*Дело было вовсе не в количестве его заслуг перед страной (большинству из них суждено было оставаться под грифом секретности еще добрых полсотни лет), а в том, что заменить его было некем.*

*На протяжении многих лет раза два в неделю Пастух отправлялся на работу в министерство просвещения, где давно числился штатным психологом, получая за эти полставки весьма неплохую зарплату. Год за годом на правах сотрудника минпроса Амос объезжал школы и интернаты, детские сады и молодежные лагеря*

*и выискивал, выискивал, выискивал...*

*Главный интерес в «овечках» для него представляло все, что так или иначе могло пригодиться разведке в недалеком будущем, включая странные особенности, вроде полного отсутствия у ребенка каких-либо талантов, кроме невероятной памяти, мгновенно и совершенно бездумно глотавшей мегабайты информации, или способности у какой-нибудь в остальном самой обыкновенной девчушки мгновенно совершать в уме никому не нужные – в наше-то компьютерное время – громоздкие арифметические действия.*

*Не говоря о главном: кадровики самого секретного батальона израильской армии, солдат и офицеров которого называют «мистаарвим» – «псевдоарабы», – батальона, выполняющего спецоперации в густонаселенных арабских кварталах, – к отбору курсантов приступали с прочтения тощих папочек, скрупулезно подготовленных Пастухом. Он, блестящий и опытный арабист, знал все деликатные особенности обманчивой игры генов в бурливой крови аборигенов Ближнего Востока. Евреи, приехавшие сюда из Марокко, Йемена или Туниса, из Алжира, Турции, Сирии или Египта, переодетые в галабию, с куфией на голове, ничем внешне не отличались от арабов на базарах Каира, на улицах Дамаска или в переулках и тупиках палестинских деревень и лагерей беженцев.*

*В виртуозных операциях этого легендарного батальона, помимо тщательной подготовки, глубокого изучения языка и диалектов, жестов и привычек, походки, мимики, родственных обычаев и клановых пристрастий, следовало учитывать множество других мелких деталей: у арабов Иерусалима могли попадаться и голубые глаза (вечный след крестоносцев с их Иерусалимским королевством), у*

арабов египетских нередко встречался вздернутый нос; йеменцы отличались тонкими чертами лица.

Щедрый поток репатриантов из бывшего СССР, хлынувший в страну в начале девяностых, Пастух воспринял как дар божий. Еще ни одна «алия» не была столь пестрой. Советские мамки, сами того не ведая, привезли с собой для Амоса настоящие сокровища – своих мальчишек, которых в Москве и Харькове, Одессе и Ленинграде называли одинаково, «детьми фестивалей», хотя отцами их вовсе не были участники Международного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего еще в хрущевские времена. Мало кто удивлялся, если где-нибудь на сцене детского сада в Виннице гопак в украинском национальном костюме отплясывал очередной негритенок или арабчонок с хорошим русским именем Коля, Андрюша или Миша.

Сказать по правде, папка Леона, заведенная на него в тот день, когда Пастух впервые увидел мальчика у Иммануэля, долгое время оставалась почти пустой. Вот разве что внешность... Пастух был уверен, что в крови мальчика с таким изысканно-«европейским» именем наличествует добрая толика той самой нужной нам крови... Голос? Да-да, он отметил и голос, – удивительный, конечно... Но какой разведке мира, скажите на милость, может пригодиться оперный голос? Разве что в далекой перспективе, и только если из пацана выйдет толк, а это совсем необязательно: голос – штука хрупкая, ломкая, изменчивая...

Спору нет, человек мало-мальски известный, не говоря уж о знаменитости, легко проникнет в частные дома или штаб-квартиры организаций, куда заказан путь подозреваемому в связях с разведкой. Мальчик может вырасти в такой вот

*бриллиант... а может и не вырасти: работа сеятеля, наша работа, быстрых плодов не приносит. Но иногда, бывает, взойдет дивный злак или какой-нибудь совсем экзотический цветок... Голос? Хм... пожалуй, голос...*

*Вернувшись от Иммануэля, Пастух вынул из ящика стола пустую картонную папку с унылыми канцелярскими завязочками, вложил в нее исписанный лист, закрыл, завязал...*

*А на лицевой стороне написал кодовое имя – то, что первым в голову пришло, навеянное пронзительным воспоминанием детства. Имя, которому суждено было пристать к маленькому и худому, очень замкнутому мальчику, голосистой птице, встреченной Пастухом сегодня у Иммануэля.*

*Странное имя: «Kéнар русí». «Русская канарейка».*

\* \* \*

Однажды – ему было лет пятнадцать – Леон спросил у Магды, зачем нужна Иммануэлю вся эта возня с концертами, привозными стульями, столами и обедами, на которых он чуть ли не с шапкой в руке собирает деньги для *страждущих овец*, когда он может запросто выписать чек и через минуту забыть и о проблеме, и об *овечках*.

Это была суббота, а накануне Леон, как обычно, остался ночевать – у него давно было свое место за столом на семейных пятничных ужинах у Калдманов. Все уже разошлись по своим делам: Натан у себя в кабинете что-то бубнил в телефонную



трубку, Меир умчался на занятия по тхэквондо. За столом припозднились Леон и Магда, и, конечно же, Буся, – она сидела у Магды на левом плече, выпрашивая свой «десерт». Продолжая говорить, Магда вытаскивала из кармана домашней куртки крошечные печенюшки, не поворачивая головы, поднимала руку и ждала, когда Буся с величайшей осторожностью возьмет рыжее колесико обеими лапками, поразительно напоминая руки новорожденного. Вдумчиво, не отвлекаясь – как ребенок – она его огрызала: сначала по краям, потом, внимательно оглядев, отправляла огрызок в крошечный рот и сразу всплескивала пустыми ручками, как домохозяйка, у которой подгорел пирог.

Выдав Бусе очередное подношение, Магда серьезно сказала Леону:

– А ты сам не догадываешься? Иммануэль занимается воспитанием.

– И кого же он воспитывает? – удивился Леон.

– Общество, – ответила она без тени улыбки. – Наше молодое неотесанное общество. Он не может иначе. Иммануэль – просветитель по своей сути.

По-настоящему Леон понял это и оценил лет десять спустя, в тот день, когда Иммануэль пригласил его в Хайфу на торжественную церемонию передачи своей коллекции картин и скульптур в дар университету.

Впервые Леон увидел всю эту великолепную коллекцию, развешанную по стенам трех больших залов.

К тому времени Иммануэль успел изрядно натаскать Леона в том, что называл обобщенным словом «искусство»; в любом разговоре – о политике, о еде, о морали, о женщинах, о путешествиях – он рано или поздно съезжал на любимую

«художественную ноту». Любая пикантная сплетня (а он обожал их и любил повторять, что «сплетни – кровеносная система общества») непременно приводила к очередному воспоминанию: «Кое-что похожее в тридцать шестом году произошло с Пикассо – этот суч-потрох меньше всего заботился о репутациях своих женщин...» Но и сплетня в конце концов завершалась пространным объяснением: истории картины, манеры художника, его принадлежности тому или другому направлению. Иммануэль, прирожденный просветитель, никогда не упускал момента поучить «цуцика» видеть, слышать и чувствовать. И если спустя лет пятнадцать тот мог на выставке ли, на аукционе или где-нибудь на вечеринке вскользь обронить что-то о *свойственной Сезанну цветовой архитектонике*, этим он был обязан Иммануэлю и только ему.

– Вот этот рисунок... читай подпись... громче! Правильно. Я купил его в двадцать девятом году в Париже, в одном занюханном ресторанчике, где столовались молодые художники. Ресторан – по сути, это была домашняя столовка – держала пожилая пара неисправимых добряков; они не могли отказать всем этим голодным оборванцам. Готовили так себе, зато обеды стоили плевые деньги, впрочем, и тех у богемной шушеры не водилось. Кое-кто пытался продать свои рисунки. Ходили меж столиков, предлагали купить... Жалкое зрелище – за столами-то сидели такие же нищие. Часто они расплачивались рисунками или картинами за еду. Там на полке резного буфета лежала большая серая папка со всей этой сомнительной «валютой», я любил ее просматривать. Один рисунок – наверное, когда-то им расплатился за обед очередной оборванец – очень мне нравился; я и сам в то время был чертовски юн и перебивался с кваса на воду, но в конце концов решился и купил его. Знаешь,

почему? Хозяин сказал: «Тот парень был похож на еврея, и как-то... истощен, и вскоре умер то ли от пьянства, то ли от туберкулеза». Вот этот самый рисунок... Я называю его «Моя Мадонна» – видишь, длинный стебель шеи – как струя, что льется из наклоненного кувшина?.. а эти пустые глаза, в которых одновременно божественное *ничто* и сотворенный Им мир, весь прекрасный проклятый мир?.. Тридцать франков, суч-потрох! Читай еще раз имя. Громче, громче! Это гибкое, длинное, как атласная лента, имя, которое просто не могло не стать знаменитым. Произнеси еще раз своим ангельским голосом.

– Модильяни!!! – орал осатаневший Леон. И насмешливо выпевал виньеточным арпеджио: – Мо-дии-иль-я-а-ани-и-и!

– То-то же, Модильяни... Через три года это имя стало известным. И я буквально заболел этим делом: разыскивать, рыскать, раскапывать, открывать!.. Одно время был одержим молодым Де Кунингом. Вон он – над торшером работы Джакометти: видишь, как закипают краски на холсте? Смотри и прочувствуй мощь этой звериной мошонки! Я вложил в него приличные деньги, снял ему мастерскую, оплачивал материалы – кисти, краски... Он тратил чертову пропасть этих красок! Я спрашивал: «Ты что, жрешь их?!» Сидел и часами смотрел, как он работает. Меня завораживала неистовая ярость, с которой он ляпал краски на холст. Они отлетали от мастихина и падали вниз, на газеты, которые он стелил, чтоб не испачкать пол, – строгая хозяйка ругалась... Два дня наблюдал, как наслаиваются случайные куски краски на листы случайных газет, и когда он собрался выкинуть сей пестрый мусор, сказал: «Постой, Виллем! Подари мне эти сраные позавчерашние новости». Он усмехнулся, сказал, что я сумасшедший. Протянул смятые комки. Я расправил их,

заставил его расписаться на каждом и стал ждать. – Иммануэль усмехался: – Один лист у меня выпросила Жюстин, моя тогдашняя секретарша, неумная птичка, седлавшая меня каждый раз, когда посетитель покидал офис... Через три года Де Кунинг был уже на олимпе, и Жюстин продала свой газетный лист за восемь тысяч долларов – учти, это были совсем не те восемь тысяч, что сейчас. А я... я подождал еще три года и продал на аукционе каждый из трех этих листов по 25 тысяч. Просто я умел видеть, цуцик. Понимаешь? Я умел видеть.

*На дарственную церемонию в университете Иммануэля, уже сидевшего в кресле, привезли Тассна и Винай. Леон примчался из Иерусалима на мотоцикле. Ходил по залам, смотрел. Был потрясен: оказывается, многого не видел раньше. Несколько скульптур Джакометти, три картины Эрнста, две картины Де Кунинга, яркие полотна Реувена Рубина. Большой, аскетичный по цвету Магритт и маленькая, всего сорок на тридцать, но прелестная работа Миро. И Робер Делоне, и лирический кубист Хуан Грис...*

*Он подошел к старику, опустил руку на его сухонькое и скособоченное плечо, прямо спросил:*

*– Тебе не жаль? – имея в виду отнюдь не денежную ценность этих сокровищ, просто зная, как Иммануэль привязан к каждому рисунку или скульптуре.*

*– Очень жаль, суч-потрох! – живо отозвался довольный старик, похлопывая по руке Леона, лежащей у него на плече. В тот вечер Иммануэль просто купался в потоках удовольствия, которое, как обычно, сам же себе и организовал. – Потому я и позаботился о своей коллекции. Вот теперь она останется в полной сохранности.*

Что касается Владки – она расцвела.

Насмотревшись на развернутые лозунги манифестантов у резиденции главы правительства, покрутившись среди людей и поглотив изрядное количество поучительных житейских историй, Владка уяснила главную двигательную силу местной политической жизни: ор, *кипеш* и судебные преследования.

Она сколотила и возглавила комитет афганских вдов и матерей, растянув меха своей гармоники до самых душераздирающих нот. Это было точным попаданием характера в температуру кипящего гейзера; удивительное слияние личного темперамента с гражданским рельефом общества. Нужная краска, вставленная в нужное место фрески. Пронзительное верхнее до во всеобщей какофонии.

Короче, Владка развернулась во всю ширь своей неиссякаемо кипучей натуры. Она как бы вернулась в свой двор с его дружной коммунальной жизнью, с беготней по улицам и дворам, со встречами флотилии «Советская Украина» в Одесском порту. Кстати, в Хайфский порт на демонстрацию портовых рабочих она тоже съездила: «поддержать товарищей по борьбе».

Вообще, очень скоро без Владки не обходилась ни одна мало-мальски приличная забастовка или демонстрация.

Она складно и бойко, с раскованными и убедительными жестами, вещала на

иврите готовыми телевизионными фразами, так что журналисты израильских СМИ, всегда, как осы, облепляющие подобные группы протеста, все чаще брали у нее интервью на фоне очередного палаточного лагеря. Она была чрезвычайно, как говорят здесь, «аттрактивна», то есть зазывно-колоритна: речь ее состояла преимущественно из воззваний и обвинений «израильской политической элиты» в коррупции, равнодушии и бездействии. С готовностью выхватывая микрофон из рук подоспевшего журналиста, Владка устремляла в камеру взыскующий взор своих *кружовенных* глаз, и... при первых же звуках напористого и звонкого голоса матери Леон морщился и выключал телевизор.

Чуть ли не в первые дни вступив на работе в профсоюз, Владка очень скоро подвизалась на разных общественных должностях и поручениях; в составе каких-то *комитетов* встречалась с политиками и членами администраций, *выдвигала требования* и *держалась общей линии*... К тому же она затесалась в одну из леволиберальных партий, довольно худосочных, и даже вошла в какой-то там партийный список, угрожая сыну, что скоро станет депутатом Кнессета. Но на выборах ее партия («Слава Аллаху!» – пробормотал Леон) не прошла электорального барьера, так что в перерывах между демонстрациями, переговорами и ночными бдениями в палатках протеста Владка продолжала выдавать тряпки и моющие средства все тем же сильно постаревшим от физического труда женщинам с лицами докторов искусствования.

Но главное, с Владкой произошла разительная внешняя перемена: она обрекла себя на какую-то чудодейственную интернет-диету, за полгода потеряла килограмм

двадцать и помолодела так, будто задалась целью выскочить замуж (что, как нам известно, не соответствовало ее реальным запросам и целям).

Кроме того, она купила самокат, запальчиво доказывая сыну, что все «деловые люди» добираются сейчас на работу именно так – не отравляя воздух бензиновыми выхлопами (кажется, в каком-то палаточном лагере она бралась и с «зелеными», этой чумой современного мира). И с рюкзачком за плечами, в джинсах и маечке, с велосипедными зажимами на штанинах лихо раскатывала – золотое руно на самокате! – вписываясь в местный гористый ландшафт с такой электрической точностью, что собственный сын озадаченно глядел в окошко полуподвала на то, как, оттолкнувшись ногой, его уже зрелая, мягко говоря, мамаша на всех парусах летит вниз по улице.

\* \* \*

Однажды, сдавшись на уговоры Иммануэля «...приволочь сюда мать, ты что – прячешь ее?!», Леон повез-таки Владку в «бунгало» на один из благотворительных вечеров. По дороге, не стесняясь «верного Гриши», усмирять ее тычками, одновременно шепотом умоляя «ради бога, молчать весь вечер».

Много лет с ужасом вспоминал *эту ассамблею*; месяца два уклонялся от участия в концертах, пока не решил, что впечатление от Владкиной «гастроли» несколько сгладилось. Но он ошибался: Владка всегда и на всех производила неизгладимое впечатление.

И дело было не только в ее неостановимом и невероятном вранье, которое она звонким голосом вываливала поверх бокалов и салатниц, оглядывая гостей торжествующими зелеными глазами. И даже не в этой повадке портовой шалавы обеими ладонями истомно поднимать с шеи и протряхивать меж пальцами густые пряди рыжих волос, демонстрируя всем желающим свои ослепительные подмышки...

На вечер к Иммануэлю впервые был приглашен знаменитый израильский писатель, уже третий сезон штурмовавший нобелевский комитет своим главным романом. С собой он привез гостью, переводчицу-японку, – грациозную женщину лет за сорок, с лицом цвета морской раковины. Переводчица жила у него вторую неделю, напряженно работая над романом. По словам писателя, «вкалывали днями и ночами». Его можно понять, заметил на это Иммануэль, – не знаю, как там она переводит и насколько хорошо знает иврит, но особа прелестная.

Впрочем, очень скоро – при помощи Владки – обнаружилось, что ивритом Кумико-сан владеет очень даже неплохо.

– О! – воскликнула Владка, уперев взгляд в эту миловидную женщину – та, приветливо улыбаясь, сидела как раз напротив. – Да это же тайская принцесса, а? Я ее знаю! Мы принимали ее в канцелярии! У нее такие зубки острые, выступающие... Приглядитесь, когда рот откроет. Она этими зубками все понадкусывала. Даже деревянные ложки надкусила! А они же все-все буддисты, вы знаете? Все сидят в позе лотоса. И эта сидела, не поднимаясь, потому что ноги кривые, как у кавалериста, – вот обратите внимание, когда привстанет. Последите! А у нас в резиденции – как? Кого принимаешь, так себя и позиционируешь. И все служащие –



все, понимаете? – садятся в позу лотоса: прием так прием! Мы вообще всех встречаем по полной программе, соответственно ихним национальным традициям. Японцев встречаем в кимоно. Индийцев – в сари... клянусь! У нас в резиденции даже консультант имеется по правильным жестам и обычаям. Страшные деньжищи получает!

Нобелевский соискатель склонился к Магде и тихо спросил:

– О какой резиденции идет речь?

И та, с состраданием глядя на помертвевшего Леона, так же тихо отозвалась:

– О резиденции главы правительства...

А «тайская принцесса» вполголоса – чтобы не мешать Владкиному рассказу, – с самурайской невозмутимостью попросила писателя:

– Передайте мне, пожалуйста, вон тот пирожок, Давид. Хочу понадкусывать здесь все, до чего дотянусь.

И тот принялся ухаживать за гостьей.

А Владку уже несло в открытое море – как всегда, когда она чувствовала интерес окружающих. Тем более что постепенно в разных углах стола разговоры стихали, и взгляды обращались на рыжую сирену.

– Поза лотоса – это не проблема. Вообще-то, лучше всего она получается после клизмы, корпус становится гибче. Но я-то в нее свободно сажусь, я вообще ужасно гибкая. Внимание, демонстрирую...

Она вскочила, оттолкнула стул, так что тот опрокинулся набок, уселась на ковер и дальше вела рассказ, задрав голову, весело прищелкивая пальцами, поводя плечами, вскрикивая и хохоча.

– Но кто может так долго сидеть! Только тренированные. У остальных старых задниц ногу немедленно сводит судорогой. И вот, представьте, сидим мы все в кружок на полу: премьер-министр, спикер Кнессета, глава банка Израиля, охранники и я. И тут у меня ногу сводит судорогой. Я хватаю вилку и принимаюсь тыкать в ногу – чтоб отмёрла! Сижу и вонзаю вилку в ногу с криком «Банзай!».

Леон поднялся и тихо направился в комнатку, что отдавали артистам под гримуборную. Там он с ледяным отчаянием сложил инструмент, незаметно прокрался по коридору в холл и покинул дом Иммануэля – как считал, навсегда.

А очень довольную Владку поздним вечером привезла Магда, но в каморку к ним спускаться не стала – видимо, понимая, что творится с мальчиком.

Заехала за ним на следующий день и чуть ли не силой увезла в Савьон.

Леон всю дорогу молчал, а Магда рассказывала про Греческие острова, про Санторини, где когда-то Натан вытащил из моря тонувшего мальчика и его отец, богатый местный обувщик, каждый год теперь отдает им на лето небольшой домик на горе:

– Дом белый, с синими ставнями на окнах и синим куполом – такие домашние небеса. И с огромной террасой, вплывающей в море, – всю жизнь на ней можно просидеть, глядя на парусники, лодки-пароходики, на огромные лайнеры... – Потом легким голосом, как бы вскользь, сказала, что Владка вчера, конечно (ну, ты же все сам понимаешь, мой милый), всех *скандализировала*, но это ровным счетом ничего не значит: умей дистанцироваться, ты уже для этого достаточно взрослый. Кстати, единственный, кто от нее в восторге, – это Иммануэль.

Иммануэль действительно был в восторге и минут десять говорил только о

Владке, широко и шкодливо улыбаясь.

– Она изумительная! – восклицал он, взмахивая короткими ручками. – Она такая живая, настоящая актриса... Ей просто нет равных! – И перейдя на русский, непосредственно Леону, вполголоса: – Вся эта история с погибшим солдатом – она ее, конечно, придумала, уж прости меня, цуцик. Но много бы я отдал, чтоб узнать, от какого че гевары она тебя родила. – И головой покачал, и повторил на иврите для Магды: – Ах, какая женщина! Жаль, что я для нее старик.

– Ну, будет тебе кокетничать, – отозвалась та.

А ведь права была, кокетничал: стоит вспомнить молодую любовницу-воровку в конце его жизни.

#### 4

В этот дом, распластаный по склону горы, спускаться надо было, как в глубокую воду, – задержав дыхание.

Лет тридцать назад Иммануэль выкупил в Эйн-Кереме для Магды, в то время выпускницы архитектурного колледжа, неудобный, чуть ли не вертикальный участок горы, поросшей соснами, тамариском и корявыми оливами, с развалинами старого арабского дома. «Ты у нас вроде бы архитектор, – сказал, – давай, строй себе жилье, хоть и вверх тормашками; готов оплатить эксперимент».

И Магда бросилась строить свое зачарованное гнездо на скале. А то, что это «просто какой-то птичий насест», Иммануэль сказал ей сразу, едва взглянул на

проект. Позже раза три приезжал смотреть, как движется стройка.

– В этом что-то есть, *мейделэ*<sup>[17]</sup>, да... в этом парении над ущельем, в беготне вверх-вниз... Пожалуй, первые лет пятьдесят тебя это будет забавлять... – и, выписав очередной чек, уезжал, озадаченный, но и восхищенный ее идеями.

От развалин Магда сохранила несколько старых мощных стен, фрагменты пола, мощенного винно-красной плиткой, три каменные арки и – над кухней – висевший на честном слове и лоскуте синего иерусалимского неба каменный купол. Подперев его двумя круглыми колоннами, она прорубила в нем два окна, впуская солнце днем и звездную россыпь ночью, и кухня воспарила невесомой ротондой и всегда была новой – из-за небесного спектакля в потолке: то бегущие облака, то графика распластанного в сини коршуна, то огненный прочерк падающей звезды, то водопады зимних дождей.

Свое гнездо Магда вылепила на двух длинных – вдоль склона – горных террасах, открыв из каждой комнаты стеклянную стену на противоположный лесистый склон и на закат, что пылал сквозь кисею мохнатых сосен, затем багровел, сгущаясь до сизого пепла, и наконец угасал...

Одним из ежевечерних аттракционов были горные косули, маленькие и грациозные: возникнув на тропке соседней горы, они замирали, услышав Меиров посвист, два-три мгновения с любопытством таращились на людей, после чего ныряли в заросли боярышника и исчезали за стеной кипарисов, тамариска и алеппских сосен.

По обе стороны дома над ущельем повисли два широких рукава: увитая виноградом деревянная терраса с длинным столом и пирамидой пластиковых

стульев для большой компании гостей и оранжерея под высокой застекленной крышей.

Там Магда, влюбленная в кактусы, выращивала причудливые экземпляры этих пришельцев: угрожающе-кособоких, с толстыми колючими лаптями, с хваткими осьминожьими присосками и цветками таких бесстыдных любовных форм и расцветок, что гости (а всех безжалостно волокли смотреть очередную расцветшую «новость») толклись вокруг, цепляясь за колючки шелковыми шарфами и подолами платьев, смущенные, очарованные, чуть ли не соблазненные, не в силах покинуть эту красоту.

Когда гора напротив угасала, как и белая стена кладбища монастыря Сестер Сиона справа, как и золотые купола Русского Горненского монастыря слева, на «гостевой» террасе наступало время ежевечернего чаепития: оживали круглые желтые фонари, приобщаясь к лунному клубу; из ущелья, даже на пике июльской жары, поднималась ночная влага, будоража пахучее царство лаванды, шалфея, мирры и тимьяна, и какой-то мелколистной горной травки, затопившей окрестности приторным медовым ароматом, так что после особенно глубокого вдоха возникало желание облизнуть губы.

Время от времени там, внизу, происходило какое-нибудь молниеносное яростное сражение невидимых сил, с дикими взывами враждующих сторон – то ли шакалий захлеб, то ли кошачий боевой клич, то ли лай пастушьего пса.

В траве шуршали, шмыгали и попискивали мелкие бесы: дикие скальные кролики с длинными ушами, фенеки – длинноногие местные лисички с острыми мордочками, ежи и змеи. Каждое лето две-три змеи непременно заползали в дом, и

в диком переполохе, стоя на стуле с драгоценной Бусей на плече, Магда вызванивала поимщика-змеелова из специальной службы. И разговоров потом хватало на неделю.

На их упрямо вздыбленном участке скалы было несколько чудес.

Во-первых, сразу, как войдешь в калитку, в земляных лунках, заботливо оставленных при мощении «верхнего дворика», росли два деревца, обсыпанных мелкими лимонами, такими желтыми, что их солнечные брызги даже в хмурый день вызывали счастливый вздох, а также раскидистый гранатовый куст, к концу августа буквально обсиженный небольшими, но ярко-пурпурными и очень сладкими плодами (особо тяжелые падали, и в их расколотой улыбке сверкали с земли малиновые зубки), из которых Магда давила сок, превращая его потом в свою фирменную «колдовскую наливку».

Но главным богатством – на «нижнем дворе», куда выходила стеклянная стена гостиной, – была старая корявая шелковица, царь-дерево, приносящее такие сладкие черные ягоды, что нижние ветви дети обрывали, не дожидаясь объявленного Магдой сбора урожая, после чего дня три ухмылялись черными пиратскими губами. Эта роскошная, истомленная сладостью крона ежегодно в середине июля становилась прибежищем целой стаи юрких оливковых птичек величиной с желудь; не обращая внимания на людей, они ныряли и кувыркались в блаженно-плодовом нутре, лакомясь и перечиркиваясь скандальными голосами.

Леон, принятый в семью после первой же взятой им ноты, часто оставался у Калдманов ночевать в забавной келье, напоминавшей Стешину каморку в Доме

Этингера. И попасть в нее тоже можно было только из кухни, откуда три узкие ступени вели к низкому – словно бы для Леона делали – проему в натуральную скалу, оставленную Магдой в ее первоизданном виде: широкие сланцевые щеки пористого известняка со склеротичными лиловыми прожилками. Эта естественная пещерка была обнаружена в процессе строительства и довыдолблена в глубь скалы «на всякий случай»: кладовка и приют «для своих», для домашних непритязательных гостей, вроде приятелей Меира.

*– Они ж дырявые, как швейцарский сыр, наши Иудейские горы, – любила повторять Магда. – Отсюда легенда, что в конце времен все мертвые попадут в Иерусалим, где воскреснут и будут судимы Мессией. Как попадут? – подхватывала она, намазывая масло на свой уныло диетический хлебец, попутно выдавая кротко ожидавшей Бусе ее печеньице. – А вот так и попадут: перекачиваясь в ожерелье подземных пещер.*

Кладовку Магда называла «Бусина нора»: там, в углу между стеной и этажеркой, стояла корзина, утепленная старыми полотенцами. Но среди ночи, бывало, Леон чувствовал, как мягкий комочек забирается под одеяло, чтобы отогреться у него в ногах: топчется, приноравливается, сворачивается клубком, и обоим становилось теплее.

Деревянная складная кровать в «норе» всегда стояла разложенной и заправленной. И все небольшое пространство было полно легких раскладных вещей, вроде брезентовых походных стульев в виде сложенных зонтов, какие носят с собой

на этюды художники. В углу вырастала ажурная легкая башня вставленных одна в другую плетеных корзинок, корзин и корзинищ для сбора грибов, ягод и тутовника, а также крепкая и кряжистая бамбуковая этажерка, снизу доверху загруженная бутылками домашних наливок из всего, что росло по склону этого почти вертикального «имения».

И бывало, в старших классах Меир с Леоном допоздна засиживались в «норе», договаривая, dospоривая, решая и подписывая приговоры самым насущным преступлениям и промахам человечества, втихомолку подливая в бумажные (чтобы не звякнуть) стаканчики наливку из очередной Магдиной бутылки, раскупоренной пиратским налетом. После возлияний задвигали ее в самый дальний угол, давно хранящий тайны подобных алкогольных преступлений.

Леон был уверен, что ближе Меира у него человека нет. Магда – она, конечно, тоже. И Иммануэль. Но есть ведь сокровенные рассветные мысли и сны, и *следствия этих снов*, которые понятны лишь такому же бедолаге, как ты. Такому же – по возрасту, силе воображения и мощи неукротимой внутренней бури, что треплет тебя круглые сутки, даже по ночам, вышвыривая из постыдно томительного сна – обессиленного, в противной липкой луже, и все же облегченного хотя бы на день...

– Брось! – смешно морща нос, говорил Меир вполголоса. – Что за страдания в наше радостное время. Хочешь, познакомлю тебя с *правильными* девочками?

Леон знал, что Меир *дело говорит*. Но ни о каких правильных девочках он без панического ужаса слышать не мог. И вообще: ничего *правильного* не могло быть в этой области безумия, носящего длинное, несколько манерное женское имя, которое в течение суток он повторял – и вслух, и шепотом, и мысленно, и просто беззвучно



шевелия губами, лаская языком и небом – сотни, тысячи раз: Г-а-б-р-и-э-л-а-а-а-а...

\* \* \*

К концу восьмого класса она некрасиво изменилась: подурнела и стала какой-то несуразной – будто развинтились и разболтались все винтики и шурупы, скреплявшие конструкцию ее тела, прежде такого легкого, слаженно-стремительного. Руки и ноги вытянулись еще больше, коленки стали крупными и как-то нелепо стукались, мешая друг другу при ходьбе, нос укрупнился, а подбородок в сравнении с ним казался детски-маленьким. К тому же, испортилась кожа ее фарфорового лица, и воспаленная карточка прыщиков вскакивала то на носу, смешно его удлинняя, то на щеке, то на подбородке. Губы вспухли и капризно выпятились, на них то и дело возникали какие-то нарывы, и тогда лицо становилось несчастно-брюзгливым. Да и характерец ее, и без того вздорный, стал совсем невыносим.

Меир, ухмыляясь, втихомолку называл Габриэлу «уродиной» и относился к ней как к избалованному недоростку – но бережно. Он по-прежнему был старше, серьезней и великодушной всех. И по-прежнему отвечал за всех скопом.

Леон не замечал в ней никаких изменений. Габриэла была незыблемой драгоценностью, перлом творения, который, впрочем, можно, а порой даже нужно было слегка поколотить, – чтоб не слишком дерзила. А дерзила она через слово и первой распускала руки, а Леон отвечал, так что они беспрестанно дрались, и

ссорились, и снова дрались, даже на уроках, даже у Меира дома, на вполне мирном обсуждении какого-нибудь насущного вопроса. Им ежеминутно хотелось коснуться друг друга с силой, наотмашь, сжать, ощутить друг друга через удар, через тугий физический отклик.

Магда помалкивала, наблюдая за этими двумя подростками, искрящими даже при взгляде друг на друга.

— Эти сумасшедшие дерутся, как маленькие! — жаловался Меир матери — он постоянно их растаскивал. — Ну за что ты ее ненавидишь?! — восклицал он. — Габриэла, дикая кошка: разве можно так бросаться на несчастного *мальчика*!..

*Впрочем, и он вскоре обнаружит причину и исток этой ненависти шиворот-навыворот. Этой ненависти, что была не чем иным, как изнанкой яркой, искристой, как синие глаза Габриэлы, неистовой физической тяги друг к другу.*

Перед десятым классом, в конце лета вернувшись из Прованса, где провела с родителями и сестрой два месяца на какой-то вилле с романтическим именем «Модест», Габриэла явилась в класс совершенно преображенной: она вдруг *всем телом* изменилась, будто природа спохватилась и кинулась исправлять то, что напортачила: вновь подкрутила гайки и винтики, отполировала смуглым румянцем кожу, долепила и огранила по какому-то музейному римскому образцу черты ее лица, добавив аквамарина в глубокую синеву глаз, а волосы взбила совсем уж невообразимо сияющим облаком и, довольно причмокнув, завершила картину последним штрихом: двумя ямочками на лукаво округлившихся щеках. Словом,

новая Габриэла разила наповал.

Леон за лето тоже сильно повзрослел. Все каникулы от полудня и до поздней ночи вкалывал официантом в ресторане «Дома Тихо»; многому там научился, гибким угрем проскальзывая меж столиками на кухню и обратно, поспевая брать заказы, разносить подносы с тарелками-бутылками-бокалами, ловко перестилать скатерти, встряхивая их одним движением; низко склоняться к карте меню в руках клиентки, советуя в качестве гарнира взять... вот этот вид красного риса, сегодня он на редкость удался.

Там же, на каменной террасе «Дома Тихо», с ним приключилась странная история, впервые заставившая взглянуть на себя со стороны.

Весь вечер он обслуживал большую религиозную семью, состоявшую из кузенов, дядьев и двоюродных бабушек-дедушек. Крутился вокруг них как заведенный, надеясь на хорошие чаевые: клиенты были американцами. Вот где пригодился его английский! Весь вечер он рта не закрывал: советовал, отговаривал, смешил, поддакивал и даже напевал.

Среди прочих с краю стола сидела пара супругов: он – пожилой, с окладистой седой бородой, в черном традиционном прикиде ультрарелигиозного раввина. Она – пышка лет тридцати пяти, с быстрыми карими глазами, прелестным рисунком полных губ и очень белыми, очень ровными, как бусины, зубками, которые она показывала всем подряд – от престарелого мужа до юного официанта. Когда важный толстяк – видимо, глава их клана – попросил у Леона счет и уже надел свою черную шляпу, «Белозубка», как назвал ее про себя Леон, вдруг легко коснулась пальцами его

локтя и попросила показать, где здесь дамская комната.

– Внутри, по ступенькам и направо, мэм.

– Не могли бы вы меня проводить, я вечно блуждаю?

– Конечно, мэм, с удовольствием...

И – тонкий, в своей униформе: черная рубашка, черные брюки, длинный белый фартук на бедрах, – пригласительно оглядываясь через плечо, пригласительной же улыбкой невольно отвечая на улыбку ее совершенно девичьих приоткрытых губ, лавируя меж другими официантами и посетителями, поднялся по ступенькам и завернул направо, где в прохладном уютном закутке с двумя *разнополюми* дверьми по сторонам произошло следующее: Белозубка вдруг подалась к нему, приблизив к его лицу свое, с бисеринками пота над верхней губой, и, жарко дрожа перед ним горячим воздухом, пробормотала:

– Боже, как ты красив! Ты хоть знаешь, как ты красив, мальчик! – схватила его ладонь, что-то в нее вложила и скрылась за дверью дамской комнаты. А Леон ввалился в комнату напротив, открыл холодный кран и минуты две, склоняясь над раковиной, одной рукой бросал в лицо пригоршни холодной воды, пытаясь понять, что сейчас произошло. Поднял голову, исподлобья уставился на свою мокрую физиономию в зеркале. Ну и рожа, подумал. Во влип! А тетка – та просто трёхнутая. Надо Меиру рассказать... С некоторой опаской разжал левый кулак: в нем оказалась новенькая пятидесятидолларовая банкнота – американские чаевые, поразившие его воображение; подарок феи-Белозубки, трёхнутой тетки, дай ей бог здоровья... Он вспомнил бисеринки пота над верхней ее приоткрытой губой и вдруг запоздало ощутил такой мощный спазм внизу живота, что охнул и опустился на корточки. И

отсиживался еще минут пять, пока, по его расчетам, американская компания не покинула террасу кафе.

За лето он вытянулся и достиг своего предела – ста шестидесяти трех сантиметров, но все еще оставался ниже Габриэлы на полголовы, и теперь уже навсегда.

*Всю жизнь он подбирал себе женщин ее типа: высоких, откровенно выше его, синеглазых, с легкой копной каштановых тонких волос. Увидев, дурел, терял голову, преследовал, не давал передышки, задаривал подарками, напирал... пока не одерживал победу. Словно эта девочка раз и навсегда отпечатала в глубине его естества свой нестираемый, ничем не вытравляемый образ. Точно так же, как любая гроза, любой далекий рокот неба с незабываемой яркостью воскрешали в его памяти ту ночь в доме на склоне горы – ту Главную Ночь, что стала талисманом, уроком и ужасом его юности, да и всей его жизни.*

Что касается Меира...

К десятому классу всей школе было известно, что Меир – настоящий математический гений, будущий лауреат международных премий, надежда отечественной науки. На олимпиадах он побеждал студентов хайфского Техниона, участвовал в каких-то университетских проектах и даже в одном закрытом армейском, о котором важно помалкивал, напуская на себя вид государственного мужа. По сути дела, Меиру Леон был обязан тем, что в школе его перетаскивали из

класса в класс. Меир, друг, самый близкий и преданный человек в мире, всегда поспевал со своей помощью в последнюю минуту, порой целыми страницами переписывая за Леона контрольные по точным дисциплинам.

– Эх ты... Кларнет ибн-Кларнет... – добродушно говорил он, тихо подвигая к нему драгоценные листки за спиной педагога.

Впрочем, была область, кроме музыки, где Леон не только не нуждался в помощи, но явно опережал многих сверстников: языки. Они просто вливались в него через макушку и растекались внутри головы, разделенные чистыми ручьями по отдельным, не сообщающимся резервуарам с надежными клапанами. И когда открывался клапан одного резервуара, захлопывались клапаны всех остальных. Так, неожиданно и жадно он заглотал английский – буквально *заглотал*, ибо включал телевизионный оперный канал за ужином и слушал-смотрел, едва пережевывая куски булки с сыром, запивая, вернее, заглатывая их молоком из стакана.

Обеда не было никогда: Владка готовить не любила и не умела, вечно околачивалась по каким-то своим заседаниям, после которых бурно, с куском бублика за щекой, пересказывала сыну события, щедро украшая их виньетками собственного изготовления:

– И после того, как она это говорит, он хлопается в обморок – бэмц! Глаза закатились, тело дергается, ширинка расстегнута, и там – украденное ПОРТМОНЕ!!!

Обеды иногда приносил сердобольный Аврам, особенно по воскресеньям – остатки семейного субботнего пиршества, кулинарные изыски дочерей. Не особо вдаваясь в каноны сервировки, Аврам складывал в одну кастрюльку четыре рыбные котлетки, несколько ложек вареного риса с изюмом, приличный обломок творожной

запеканки. Являлся, ставил кастрюльку на стол, садился рядом, выложив на клеенку большие чистые руки, и говорил Леону:

– Ешь немедленно, я должен забрать кастрюлю, она не из дешевых. Отложи в тарелку для мамы. А теперь ешь, я хочу видеть, что ты сыт. Загребай ложкой все подряд, так даже вкуснее. Что ты морщишься! Что плохого могут приготовить ручки Сары и Мири, Дворы и Пнины, и маленькой Шайли – она взбивала яйца?! Нет, ешь прямо сейчас, я должен вымыть кастрюлю...

Так вот, американский музыкальный телеканал транслировал оперы с самых знаменитых мировых площадок; спектакль предваряли подробные лекции. Понизу кадра шли титры на иврите, и глазам Леона приходилось бегать по цепочке слов, как-то договариваясь с жадным слухом.

Через месяц, неожиданно для самого себя, он не только объяснил двум пожилым туристам из Англии, как пройти к Стене плача, но, вызвавшись их проводить и за эти полчаса подружившись, целый день бродил с ними по Старому городу, совершенно свободно болтая и понимая новых своих знакомых практически полностью. В девятом классе он иногда поправлял учительницу в специальных музыкальных терминах, благодаря тем же лекциям и передачам уже другого телеканала, британского.

И дело было не в запасе выученных слов; в любых языках, кроме русского, иврита и арабского, он использовал довольно скромный словесный багаж. Но лишь только открывал рот и произносил две-три фразы на том же английском, никому и в голову не могло прийти, что этот парень родился не в Бостоне или каком-нибудь Стэнфорде.

Однако самыми поразительными были у него успехи в арабском – в языке, не очень, мягко говоря, любимом учениками. Язык сложный, изысканный, множество синонимов (одно только слово «любовь» можно передать десятками слов); письменность витиеватая, почти как японские иероглифы. Арабский язык школьники выбирали дополнительным к английскому не из любви, а с прицелом на будущее, особенно мальчики: в некоторых спецподразделениях армии знание арабского сильно помогало продвигаться в военной карьере.

Леон же в арабский просто влюбился: готовя устный ответ по теме, выпевал фразы, очень точно интонируя в каждом слове; ведя рассказ, использовал по два-три прилагательных к каждому существительному, хотя учитель его об этом и не просил.

В арабском он парил, упивался, молился, цитировал суры Корана... Ну да, говорил преподаватель, усмехаясь и качая головой. Известный эффект: музыкальный слух, по всей видимости, абсолютный... В арабском это большое подспорье.

И не то чтоб он так уж вызубривал правила грамматики-фонетики, все эти гортанные согласные, огласованные *фатхой*, *дамой* или *касрой*... Просто, когда открывал рот и, полуприкрыв глаза, произносил что-нибудь из Корана – в классе наступала заинтересованная тишина, будто сейчас, после полагающегося вступления, Леон приступит к рассказу о похождениях зачарованного багдадского купца.

Иногда он и сам задумывался над тем, как интересно у него устроена башка: взять хоть эти «резервуары» с языками – запечатанные амфоры с драгоценными винами. Каждый напиток имеет свой вкус: терпкий или сладковатый, пряный, с



фруктовым или травяным послевкусием... Завершая фразу, ты собираешь языком последние капли, растворяя в себе последний отзвук смысла. Для каждого языка у него существовало гармоническое соответствие, и чтобы перейти с языка на язык, нужно было прислушаться... приклонить свое ухо, как говорят мудрецы восточных сказок, к глубинной сути самого себя; перейти в другую тональность. Стать *иным* совершенно.

\* \* \*

Мутация его упрямого голоса наступила невероятно поздно, в шестнадцать с половиной лет, и прошла стремительно и бурно – всего за три месяца, когда разговорный его голос упал на целую октаву и *вышелушился* в баритональный регистр. Ошеломленный и обрадованный этим превращением, Леон вдруг разболтался: непривычно много для самого себя говорил, с удовольствием прислушиваясь к тому, как в глубине каждого произнесенного слова распускается мужское ядро. Нащупывал новые тембры: восклицаний, смеха, протяжного зова. Знакомился с новым собой. Наконец, осторожно попытался петь в новом регистре, но при этом ощутил такое неудобство, точно в горло ему вставили крошечную шарманку, которую ежеминутно хотелось выблевать.

Все предыдущие годы он ждал, когда, сбросив линялую шкурку мутации, его новый голос взметнется теноровой птицей в «настоящем мужском» диапазоне. Вместо этого в горле возник какой-то шерстистый посредник, обойти которого не

было никакой возможности.

Леон пришел в отчаяние.

– Я потерял голос! – сказал он матери. На что Владка отреагировала со свойственной ей легкостью:

– Да и хрен с ним. Ты что, всю жизнь собирался птичкой чирикать?

Нет, конечно, голоса он не терял – в том смысле, какой придают этому профессионалы. Но петь мог только все тем же идиотским опостылевшим бабьим сопрано, что при его внешнем, столь же стремительном возмужании становилось уже посмешищем, приемом пародиста.

Когда оставался дома один, он все-таки пытался петь на прежних голосовых ощущениях. Ему так хотелось петь! Голос, запертый в своей тесной тюрьме, в груди и гортани, все время рвался наружу, и Леон, делая вид, что прочищает горло, позволял ему выпорхнуть на волю в виде какого-нибудь разбойного доминант-септаккорда, в виде короткой распевки, иронической трели. После чего вновь загонял в клетку.

Что же делать, что делать, что делать?.. Он метался, раза три ночью горько плакал, вдавливая лицо в подушку, чтобы Владка не услышала.

Потерю голоса – вернее, потерю мечты обрести *другой, настоящий голос* – он воспринимал чуть ли не третьим своим – после потери Стеши и Барышни – сиротством. И ни с кем этим горем поделиться не мог. Даже с Меиром. Даже с Магдой.

Наконец, смирился. Что ж, бывает, сказал он себе мужественно. Случается с очень многими великолепными детскими голосами. Дар божий уходит, растворяется

в тусклом мужском баритоне. А даже если и не растворился, если по-прежнему звенит и заливает мощью весь подъезд так, что изумленный сосед сверху, любитель Тридцать второй Бетховена, робко стучится с просьбой «повторить еще разок... Спасибо, детка, ты большой талант!» – что с того?! Не станет же он, запуская утром газонокосилку по островкам своей будущей мужской щетины, пищать, как в детском саду: «В лесу родилась елочка»? *Воображаю, что скажет Габриэла!*

\* \* \*

А Габриэла постоянно что-то *говорила*, и подчас ровно противоположные вещи в течение одного дня. Например, ей надоела их группа, хотя ни одна школьная вечеринка без нее уже не обходилась.

Вообще-то, настоящую славу группе принес Ури, который оказался прирожденным ударником. Его манила любая поверхность. Меир говорил, что, даже снимая крышку с кастрюли, Ури мгновение раздумывает: налить в тарелку суп или шваркнуть по ней половником. Его руки ни секунды не могли пробывать в покое. На уроках он беззвучно ласкал и пришлепывал крышку парты, на переменах выбивал дробь на собственных коленках, груди и животе, а уж если ему доставалась тарабука... тут весь мир застывал в ожидании, когда его ладони, костяшки и подушечки пальцев пустятся в многоуровневый, многозвучный и многоступенчатый разговор, бурно, взхлеб, выплескивая целые монологи и умолкая лишь для того, чтобы уступить место нежному, пылкому, томительному голосу кларнета в руках

Леона...

Меир и Габриэла старались подтягиваться за этими двумя, иногда ужасно мешая, сбивая с ритма, забывая, где и когда договорились вступать.

В конце концов на вечеринках ребята перестали скрывать, что хотели бы слушать Леона и Ури «без группы поддержки». Однажды Леон составил часовую программу, целую джазовую композицию, и они с Ури выступили дуэтом. И это был оглушительный успех, тем более что на время концерта Леон вымазался самой темной крем-пудрой, которую удалось достать в отделе косметики «Суперфарма», превратившись то ли в Эллу Фитцджеральд, то ли в Иму Сумак, и в паузах между игрой на кларнете выдавал такие рулады, что даже учителя и директор валились со стульев от восторга и хохота.

Меир тоже очень радовался – поздравлял, обнимал обоих, кричал:

– Это просто грандиозно, грандиозно, правда, Габриэла?

Та ответила: – Да, ничего – для школьного вечера...

А еще через неделю Меиру пришлось в голову сколотить такую бродячую труппу – «Новый Глобус» («А что, можно летом разъезжать в машине по всей стране: договариваемся с домами культуры и кибуцами, запикиваем реквизит в мамини корзины...»).

Не мелочась, взялись за Шекспира: «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Не всю пьесу, конечно, так, парочку сцен. Репетировали все там же – у Меира, на глазах Магды и Буси, под шумок таскавшей у Магды печенье.

Оливию, разумеется, играла Габриэла, герцога – Меир; Леон отдувался за двоих: за Себастьяна и Виолу. Ури был на подхвате и отвечал за мелкие роли и

звуковое сопровождение, явно злоупотребляя ударными; и еще две плотвички из класса крутились под ногами – подпевалки Габриэлы, ее преданная клада.

Магда пожертвовала в реквизитный фонд спектакля свой роскошный испанский веер. И, величаво овеивая им прекрасное лицо, раскрывая его на груди, Габриэла произносила текст – как считала правильным, чуточку в нос:

– Что вы, сударь, я совсем не так бессердечна! Поверьте, я обязательно велю составить опись всех моих прелестей: их внесут в реестр и на каждой частице и принадлежности наклеят ярлык с наименованием. Например: первое – пара губ, в меру красных; второе – два серых глаза и к ним в придачу веки; третье – одна шея, один подбородок... и так далее. Вас послали, чтобы оценить меня?

На что Леон-Виола, подавшись к Оливии слишком близко, отвечал:

Я понял вас: вы чересчур надменны.

Но, будь вы даже ведьмой, вы красивы.

Мой господин вас любит. Как он любит!

Будь вы красивей всех красавиц в мире,

Такой любви не наградить нельзя<sup>[18]</sup>.

Вот когда впервые он приволок на обозрение публики «венский гардероб» Барышни в его родном парусиновом саквояже. Не забыл ни шляпки с вуалью, ни сумочки с защелкой в виде львиной морды.

Магда была очарована. Оживилась, как девчонка, разложила вещи на столе и на

стульях, развесила на плечики, расправляла кружева, ахала и восхищенно качала головой:

– Она была такая грациозная крошка, твоя Барышня! Береги эти сокровища, Леон. Когда-нибудь продашь их в музей за весьма приличные деньги. Леон сказал:

– Еще чего! Они привыкли жить со мной. Я иногда дома их ношу, чтобы не скучали.

Габриэла зашлась от хохота и, задыхаясь, повторяла:

– О-о, представляю!.. Наша певчая птаха в оборках и кружевах... Какие перышки! Какой носок!

А Магда, не обращая на нее внимания, серьезно попросила мальчика:

– Надень, а? Вот это платье.

– Это уже не налезает, – с сожалением сказал он, тоже не глядя на Габриэлу, всем своим видом показывая, кому посвятил этот сюрприз, притащив свое драгоценное наследство. – Вот блузу и юбку, пожалуй, сейчас накину...

Скрылся в ванной и...

И когда дверь распахнулась, в проеме стояла девушка в кружевной блузке с несколько коротковатыми рукавами, в плиссированной юбке, в шляпке с вуалью, с сумочкой в руке... Босая.

– Господа, – прозвенела она жалобно-нежным голоском. – Прошу извинить мой вид... Мне посчастливилось скрыться от грабителей.

Габриэла завизжала и заявила, что сейчас описается. Меир просто лег на пол, умирая от смеха. А Магда серьезно смотрела на новоявленную девицу, на то, как угловато-изящно та двигается по кухне, как стеснительно-дерзко смотрит из-под

вуали, как закладывает за ушко выбившуюся прядку на виске и говорит-говорит не переставая этим звенящим, таким естественным, таким органичным образом голосом.

«Он не притворяется, – подумала Магда. – *Он просто стал этой девицей...* Так, значит, вот что имел в виду Шекспир в этих историях с перевертышами и переодеваниями. А я думала, это театральная условность».

Вечером, вынимая из рук уснувшего Натана газету, она нечаянно разбудила его, и пока тот ворчал и ворочался, уминая подушку и удобней пристраивая голову, говорила полусшепотом:

– Знаешь... сегодня дети репетировали Шекспира, и Леон переоделся в наряды своей прабабки, которые чудом сохранились... И он так легко, так органично двигался, девушку играл – просто поразительно! У него даже *шея меняется*. Понимаешь? Наклон головы, глаза такие кроткие... Настоящий артист!

– М-м-м... артист, кларнетист, певец...

– И очень ранимый... и влюблен в эту маленькую мерзавку Габриэлу...

– ...Ранимый... Магда, я хотел бы немного поспать.

Когда муж, погасив свою лампу, уже похрапывал, Магда сказала самой себе:

– Удивительная семья, которая вся уже *только в нем одном*.

Помолчала и добавила шепотом:

– Последний Этингер...

– Ты обратил внимание, что они не уточняют, где, собственно, работает Натан и что он делает? – спросила Габриэла.

Они сидели на лужайке, что возле Бельгийского дома, в Ботаническом саду университета. Прямо в траве сидели: какой-то особенной, мелкокружевной, шелковой на ощупь травке, с круглыми крошечными листочками. Школьные рюкзаки валялись рядом.

Это был третий их совместный (и тайный) побег – последние денечки одиннадцатого класса, кошмар контрольных и экзаменов, идущих плотно сомкнутым строем, римской «свиньей».

Месяц назад утром столкнулись у дверей школы, молча глянули друг на друга, будто впервые увидели, и так же молча, не сговариваясь, повернулись и пошли прочь... Шли по разным сторонам улицы, искоса держа друг друга в поле зрения. А отойдя на приличное расстояние, бросились бежать в университетский парк, где провалялись на травке до вечера, впервые открыто и жадно осматривая, оглаживая и ощупывая друг друга – пока только взглядами.

В Бельгийском доме шла какая-то конференция. В патио, окруженном чугунной, крупно кованной решеткой, толклись группки участников с одноразовыми стаканами и тарелками в руках.

– И что же он делает? – спросил Леон почти машинально, укладываясь на спину в тайной надежде, что, как и в прошлый раз, она склонится над ним и станет сорванной травинкой тихо водить по его лицу, по закрытым глазам, доводя до обморочного блаженства, но своего лица не приближая. Сам же он не смел ни коснуться ее, ни придвинуться ближе, хотя все его изнурительные ночи в последнее



время были заняты составлением судорожных стратегических планов: протянуть руку, якобы нечаянно задеть ладонь... и так далее, по возрастающей сложности, до апогея неисполнимого счастья. И все это – после нескольких лет драк, тычков, пинков и прочего мучительства; после того, как однажды он чуть не вытряс из нее душу – схватил за плечи и в ярости мотал по школьному коридору, пока Меир не вызволил ее из «этих железных лап».

– Что-то секретное. Так мама говорит.

Она вывернула руку локтем вверх и сосредоточенно уставилась на узорные отпечатки травы с прихлопнутой бедной мошкой на предплечье.

– Сдуй! – брезгливо морщась, приказала Леону, сунув локоть к его лицу. Тот принялся дуть. Перед его носом под тканью белой маечки дышал двуглавый рельеф ее недостижимой таинственной груди.

Леон уже знал, что Магда училась в одном классе с матерью Габриэлы, что в юности они были подружками, но позже почему-то разошлись. Еще он неумовимо чувствовал, что при Габриэле Магда всегда как-то *тщательнее* разговаривает, точно обдумывая каждое слово. Не так, как обычно разговаривает с Леоном, за *их* завтраками на кухне.

– Ты, конечно, знаешь, что он был в плену? – Габриэла сорвала травку, поднесла к его губам, и вот тут полагалось закрыть глаза... но он широко раскрыл их и рывком сел:

– Как – в плену?

– Ну да, у сирийцев. Года два, что ли... Давно, сто лет назад. И его обменяли – *задорого*. Бог знает, *что именно* за него отдали. – Она вздохнула и спросила

насмешливо: – Ну что ты так вскинулся, малыш? Бывает. У нас это бывает, а?

Прищурилась, будто усмотрела там, в мирном патио, откуда невнятно доносился шумок разговора освобожденных узников конференции, что-то очень интересное, и ровным голосом добавила:

– Они отбили ему яйца.

И грубая взрослая простота, с какой это было сказано, оттолкнули его от Габриэлы почти физически. Он даже отодвинулся.

– Ну, когда он вернулся, в таком, понимаешь ли, плачевном виде... то да се, психиатры, урологи... Короче, наши врачи, конечно, славно поработали, но это заняло приличное время. Подсчитай – когда у Магды родился Меир...

Все это было невыносимо слышать и особенно невыносимо – слышать от нее.

– Зачем мне считать? – дернув плечом, огрызнулся он. – Делать мне больше нечего.

– А просто интересно. Она же старуха. Ей его *всунули* из пробирки!

– Замолчи! – крикнул Леон. Он вскочил на ноги, Габриэла осталась сидеть, чуть откинувшись, опершись на обе руки, глядя снизу нестерпимо синими, темно-синими среди зеленой травы глазами, по-прежнему насмешливо щурясь, точно речь шла не о трагедии, а о чем-то непристойном.

– Могу объяснить, как это делается, – не унималась она.

– Не хочу слышать! И не хочу говорить с тобой о Магде, поняла?

– И все это время она ждала, как понурая ослица, – задумчиво проговорила Габриэла, отведя взгляд. – Ждала, когда ее оплодотворят. Ждала, ждала... а годы шли... – Она хмыкнула: – Я просто сделала бы *это* с кем угодно да и родила ему хоть

кого.

– Как – с кем угодно? – поразился Леон. – Ведь это Магда.

– Магда, Магда! – передразнила она. – Вот именно, что Магда. Тоскливый синий чулок. Верная зануда. Еще немного – и они бы вообще остались без детей. – Она помолчала и легко махнула рукой: – Не стоит копаться в этой семейной куче. Вряд ли он часто дарит ей супружеские радости. Больная семья. Образцово-больная...

– Откуда ты все это знаешь? – процедил Леон в брезгливом бешенстве.

– Знаю-зна-а-аю! – пропела Габриэла, поглядывая снизу вверх и явно им любуясь. Сидела, задрав ногу на ногу, носок белой спортивной тапочки покачивался, как бы сокрушенно кивая ее словам. – Мне, например, не все равно, будет ли меня нормально трахать мой будущий муж, – добавила она с тем же невозмутимым прищуром. – Будь ты хоть герой-инвалид, хоть секретный агент ноль-ноль-семь и всякая такая мура, а будь добр...

Голубая змейка вены пересекала загорелую лодыжку над белой кромкой обуви, что качалась перед Леоном, как ветка с запретным плодом. И с бессильным возмущением он понимал, что никогда не сможет повернуться и уйти, что бы там она ни несла; что он готов стоять так до вечера, не двигаясь, не отрываясь от смуглой косточки с голубой жилкой, от тонких рук, прищуренных синих глаз; от сводящих его с ума безжалостных губ.

Она будто ждала от него ошибки, за которую могла бы наказать; подначивала, насмешничала, обижала – тонко и умно, не так, как раньше, – по-женски. Когда хотела позлить, называла *малышом*, зная, как переживает он из-за разницы в росте. Да он еще и выглядел подростком, и, находясь рядом, она была похожа на его старшую сестру – развитую, уверенную, ироничную. Она постоянно провоцировала и дразнила.

– Не распускай руки, – предупреждала она, как бы невзначай положив теплую ладонь сзади на его шею. – Попробуй только руки распускать! – И материнским тоном: – Я проверяю – не вспотел ли ты на сквозняке, малыш...

И он бесился.

К концу июня, как раз ко всей этой экзаменационной мясорубке, требовавшей невероятного напряжения, Леон уже был близок к помешательству и думать мог только о Габриэле, мысленно повторяя и пережевывая все *удачные минуты* их встреч, разговоров, касаний, поцелуев (они уже целовались, когда у нее бывало настроение)...

И о том, *как* она его поцеловала на днях – как бы пролетая мимо, но все же задержавшись снять нектар – *рассеянный язык в поисках друга*... Отклонилась и насмешливо спросила:

– Боже, что я там забыла, а, *малыш*?

И тут наш Меир, *наш душа-человек*, объявляет, что есть удачная идея: отпраздновать окончание этого долбаного года. Как это где? У нас, по-настоящему, без предков. Те намылились на какой-то концерт аж в Хайфу и даже заказали там

номер в отеле, чтобы ночью не пилить назад. Так что – ура, свобода, заветные бутылочки из «Бусиной норы»... А сама Буся, будем надеяться, не настучит. И главное – втроем, *по-семейному*. Обойдемся без дублирующего состава, а? И даже – ой, пожалуйста, – без Ури: он же всех перебарабанит. Вечер в духе старого доброго блюза. Расслабимся... Что мы, не заслужили?!

– А родители в курсе и разрешили оторваться, – добавил Меир. – При условии, что дом не разнесем.

Он действительно припас несколько дисков «старого доброго бродвейского блюза» – Гершвин, Копленд, Уайлдхорн – и, кажется, всерьез решил «оторваться», чтоб все было «как полагается у взрослых людей». Даже травки где-то раздобыл. По очереди они приобщились к радостям свободы, валяясь на тахте в гостиной и передавая друг другу косячок, который на Леона ничуть не подействовал (видимо, все из той же носоглоточной брезгливости он не затягивался по-настоящему).

Несколько бутылок Магдиной фирменной настойки были торжественно вынесены из «Бусиной норы», раскупорены и выставлены на стол. И Меир стал азартно накачиваться, будто задался целью напиться вдрызг. Видимо, у него это тоже входило в программу «полного отрыва». Сначала он танцевал с Габриэлой, потом один, заплетающимся медвежьим танго. Но после того как локтем чуть не сбил с полки любимую мамину фигурку саксонского фарфора, Габриэла приказала ему лечь вот тут, на тахту, и не рыпаться. Меир с готовностью распростерся, изображая падишаха, и велел «своим одалискам» развлекать его танцами. А, сказал Леон, сейчас устроим шоу! И началось настоящее безумие: Леон сбегал в спальню, залез там в шкаф, вытащил длинный шелковый халат Магды с безумными черными розами

по голубому полю. Скинув рубашку, мгновенно переоделся и предстал перед владыкой: соблазнительный, тонкий, в чалме, сооруженной из там же найденной кашемировой шали. И пустился отчебучивать танец живота, поддавая бедрами, страстно поглаживая растопыренными пальцами грудь и живот, томно вращая глазами и всячески изображая исступленную страсть. Габриэла, вообще-то не очень пластичная от природы, хохотала, как безумная. Она оседлала расprostертого Меира и, одобрително покрикивая, подсказывала у него на животе в такт Леоновым коленцам так, что даже здоровяк Меир кричал и выл, прося пощады. Когда Леон – полуголый, в расстегнутом халате, пошел колбасить вокруг тахты, извиваясь угрем и маша длинными широкими рукавами, они с Габриэлой уже смотрели друг на друга поверх Меира долгими влажными взглядами. Габриэла, скользя с тахты, то и дело бегала к столу и обратно, по приказу «владыки» доливая в бокал следующую порцию наливки...

Вдруг Леон с Габриэлой оказались на виноградной террасе, куда вышли «подышать», и, в полной уверенности, что Меир уснул, долго там целовались в темноте, как сумасшедшие, отлепляясь только чтобы вдохнуть и вновь ринуться друг на друга, смешно сталкиваясь носами и лбами. Габриэла раздвинула халат на груди Леона и принялась гладить и массировать его грудь.

– Ух, как сердечко у тебя тарыхтит, малыш! – и вдруг сильно и властно сжала его левый сосок, будто взяла душу в пригоршню.

Но наш Меир, наш Самсон, наш несокрушимый Портос – он был не из таковских, чтобы его свалила рюмочка или паршивый косячок. Дурным рыком

поверженного сатрапа он велел им вернуться, пока не обезглавил обоих, к чер-р-р-ртовой матери!

И они вернулись и, переглядываясь поверх опрокинутого навзничь падишаха, все доливали ему спиртного, приподнимая крупную рыжую голову, вливая в ненасытную пасть еще рюмочку, и еще одну...

Меир уже не ворочал языком, а движения Габриэлы становились все ленивее, и все медленнее поднималась ее ладонь по Леоновой спине. Раза три, проскальзывая позади Леоны, она прижималась к нему всем телом, будто кто перцовый пластырь на спину лепил. И раз за разом все дольше длилась невероятная сладость теплого прикосновения к его спине ее груди и бедер...

...Вдруг они увидели – нет, просто почуяли, – что Меир наконец уснул.

Габриэла выключила музыку, и наступила тишина: строгая, исчерпывающая, четко поделившая ночь пополам. Кончилась игра. Стало слышно, как гроыхнуло и неразборчивым басом пророкотало небо.

– Странно, – сказала Габриэла. – Гроза, в это время? Что-то несусветное...

Он ждал, молча глядя на нее поверх расprostертого на тахте друга, не делая ни шага навстречу. Почему, почему он никогда не мог поступить с ней как мужчина? – этот проклятый вопрос мучил его всю жизнь. Да потому, отвечал себе сам, что ты и не был мужчиной – тогда.

– Ну, все, – добродетельным и даже каким-то будничным тоном сказала она. – Расходимся спать.

Быстро нырнула вниз и процокала по лестнице каблучками (никогда не

упускала случая стать выше его еще на пять сантиметров). Дверь в спальню, отведенную Габриэле на эту ночь, захлопнулась коротко и внятно. Мягко и картаво повернулся ключ.

Леон стоял, как болван, не в силах понять: что это было, что она затеяла? Какой знак ему подала – чтобы спускался за ней? чтобы не смел приближаться? чтобы знал свое место – рядом с Бусей, в «норе»?

И, вконец истерзанный своей мучительницей, всеми этими танцами, взглядами, поцелуями, коварными томительными прикосновениями, поплелся к себе, в «нору».

Он лежал в утробе скалы, как мертвый, ожидающий воскресения, и мысленно перекатывался из кухни в комнату и вниз, в спальню, где лежала Габриэла. Слушал гроыхания грозы – слишком странной, слишком поздней летней грозы; содрогания неба совпадали с содроганиями его крови.

Он лежал на спине, на складной кровати, и его подбрасывала и сотрясала тугая сила то ли грозы, то ли собственной крови, пока наконец не вышвырнула прочь. И едва касаясь босыми ступнями пола, он выскользнул в кухню и вылетел в темный коридор, где через три шага столкнулся с Габриэлой – тоже босой, тоже к нему бегущей, тоже – с kloкочущим сердцебиением.

Молча вцепившись друг в друга, они стояли и дрожали – босые на холодном каменном полу, под грозным полетом рваных туч в двух огромных купольных окнах в ротонде, губами жадно пробегая и ощупывая друг друга в шорохе дождя и ночи, боясь застонать, валкими шажками подвигая один другого, пока не притащились четырехногой гусеницей в спальню, не рухнули плашмя поперек широкой хозяйской



кровати...

В крошечной тьме за стеклянной стеной возникла раскаленная проволока молнии, на долю секунды впечатав черные пики елей и сосен в алюминиевое небо. И сразу грохнуло так, что показалось: дом сейчас отвалится от скалы и полетит в пропасть. Габриэла вскрикнула и обхватила Леона руками, ногами, прижавшись всем телом, как испуганный детеныш обезьяны.

Гулко рухнули на крышу бурные потоки, заливая огромное окно во всю стену, и это было – как вход в пещеру, занавешенный дождем, за которым принялся отбивать удары колокол соседнего монастыря.

Шум крови сливался с шумом дождя и был ритмом, биением пульса в телах, не стихшим, когда уже и колокол стих, и после вкрадчивых, неукротимых, пугающих его самого попыток проникнуть в нее, он вдруг в отчаянии (нет, никогда ничего не получится!) ударил ее всем телом и сам застонал с ней в унисон от жгучей боли и жгучего блаженства, понимая, что – *очутился*, – чувствуя набат пульса во всем теле – божественное сладостное стаккато, что охватило и повело их слитные тела и вело до конца, до мучительной вспышки грозовой кровеносной плети в окне за мгновение до громового разряда – *ее разряда*, – который он ощутил в медленном содрогании ее тонкой спины, заключенной им в охапку...

Все остальное (кажется, она бегала в ванную – стирать и развешивать *оскандаленную* простыню, а его шуганула как-то по-женски, не глядя махнув отсылающей ладонью) – все остальное, и главным образом его возбужденные рваные диалоги с самим собой – все продолжалось в «норе», куда он заполз уже один, уже *иной*, чем прежде.

Гроза, уютно погромыхая, медленно уходила дальше, на Иерусалим, Леон же продолжал говорить с Габриэлой новым своим голосом, с новой требовательной интонацией – как разговаривал с Владкой, когда хотел втемяшить ей в голову нечто важное. «Ты понимаешь, что теперь мы – навсегда?» – строгим шепотом спрашивал он Габриэлу, и тут же улыбался в темноту, и опять что-то строго ей говорил, а она что-то отвечала, вроде как Владка: «Ну ты и зануда, Лео...» – стихали шорохи, где-то шлепали по плитам чьи-то босые ноги, и все это было уже в блаженном сне, что выпрастывался из грозы на чистое-чистое небо. Навсегда. Навсегда. Навсегда...

...Разбудил его Меир – ласково, даже как-то... жалостно. И легко, точно они играли очередную сцену в какой-нибудь постановке их несбывшегося бродячего театра.

Тронул за плечо и мягко проговорил:

– Просыпайся, *малыш*...

Ничего особенного в том, что Меир его будит, не было. Обычное дело. Тот всегда вставал ни свет ни заря и – эгоист несчастный! – никогда не упускал случая вытащить из-под головы друга подушку. Ничего особенного, кроме слова «малыш» – так дразнила Леона Габриэла и никогда не говорил Меир. Почему Леона подбросило и он сел на кровати, озираясь, точно искал и не находил Габриэлу?

– Ну что... – так же грустно и сострадательно проговорил Меир, старательно пряча торжествующую улыбку победителя. – Что, *малыш*... Ночь любви закончилась не в твою пользу. Хотя ты и постарался меня напоить – думал из игры вывести, а?

Леон, ошалевший, сидел на кровати, все так же озираясь, уже понимая – ничего

не понимая! – что в его жизни случилось что-то непоправимое.

– Габриэла?.. – выговорил он хриплым шепотом.

– Габриэла спит в моей кровати, – усмехнувшись, просто сказал Меир. – Она захотела выбрать, понимаешь? Сравнить и выбрать. Это ее право. И выбрала меня – извини...

Меир, душа-человек, как обычно, взял на себя самое тяжелое: объяснение с соперником. Великодушно повиниться, даже если и не считал себя виноватым (какого дьявола они его напоили! счет изначально был не в его пользу), но все равно уж: повиниться, подвести черту и остаться друзьями.

Меир, душа-человек, так и не понял, с кем имеет дело.

Много дней и даже недель спустя, думая о том, что произошло, Меир прежде всего вспоминал удар змеи, что однажды летом ужалила отца на террасе. Та тоже, свившись в тугой комок, молниеносно взвилась всем телом и ударила метко в цель.

Для Леона это была точно взятая нота: головой – в солнечное сплетение. Меир согнулся, охнул и завалился на кровати.

– Ты что... – просипел он. – Ты что, совсем одуре...

Поднялся и вновь упал, уже на пол, сбитый с ног таким же точным ударом головой в подбородок.

И тут тело Меира просто вспомнило тренировки, вспомнило *отдельно от него* – в конце концов, его же учили чему-то! «Ноги – всему голова»... Там, в «Бусиной норе», развернуться было негде, но Меир вскочил и ударом ноги долбанул Леона, отшвырнув к стене. Тот сильно приложился головой, отключился, поплыл... Тогда

Меир сгреб его в охапку, выволок наружу, протащил через весь дом к открытой террасе – вот уже тут было вполне просторно – и, чувствуя только одно – ледяную ярость, – пошел чесать ногами чуть ли не вслепую; натренирован был... Он не слышал визга проснувшейся и прибежавшей Габриэлы, не услышал, как (чудо!) к дому подъехала машина и вернувшиеся раньше времени (не спалось на гостиничных матрасах) Натан с Магдой ринулись в дом. Он не слышал ни воплей матери, ни окрика отца. Он бил, выбрасывая ноги, издавая боевые хэканья и взвои, словно демонстрировал все приемы, которые знал; с каждым ударом сталкивал Леона все ближе к невысокому барьеру террасы, где склон обрывался круто вниз, и остановлен был только отцом: тот налетел и отшвырнул сына прочь. Но Меир опять вскочил и кинулся добивать, так что Натану потребовалась еще пара увесистых затрещин, чтобы отрезвить *этого бойца*.

После чего Натан взвалил на плечо бесчувственного Леона и тяжело поднялся с ним в гору, к машине.

Габриэла пряталась в оранжерее, за огромной кадкой с веерно распахнутой пальмой *хамеропс*, среди колючек проклятых кактусов. Она была потрясена и заморожена страшной *всамделишной* дракой, в которой Меир *убил из-за нее* Леона. Сидела на корточках, в одних трусиках, трепеща от ужаса и вины, пригоршнями закрывая дрожащие грудки, ясно сознавая, что за эту ночь поднялась в цене и что главной валютой в этих торгах явилась не ее красота, не она сама, а эта вот убийственная драка, это преступление; впервые в жизни неуловимым женским чутьем она поставила знак равенства между преступлением и любовью. Она

дрожала, плакала, бормотала... торжествовала.

И только угадав шорох шин отъехавшей машины, выбралась из своего колючего укрытия, бочком проскользнула мимо орущих друг на друга Магды и Меира («Ублюдок!!! Ублюдок!!!» – «Мама, он первый напал *ни с того ни с сего!!!*») Меир багровый был, потный, взъерошенный, но тоже почему-то очень торжествующий), юркнула в комнату, кое-как накинула одежду и, путаясь дрожащими пальцами в пуговичных петлях, выскочила за калитку.

...Весь день Натан провозился с Леоном: первым делом повез его в пункт скорой помощи, где добродушный и невозмутимый *русский* хирург, приговаривая «отлично, отлично», послал парня на рентген, подтвердивший перелом ребра и сотрясение мозга. Затем, все так же меланхолично-одобрительно бормоча, наложил несколько швов, смазал йодом все ссадины и кровоподтеки – живого места там не осталось – и предложил отправить Леона в больницу. Но тот, хотя и рвало его, и на ногах он не стоял, попросился домой, и Натан привез его, уложил, укрыл и сидел в ногах кушетки, пока испуганная, как потерянный ребенок, Владка носилась кометой по комнате, вскрикивая: «Не понимаю – не понимаю!» и «За что, за что-о-о?!» – словом, часа через полтора пришлось ее спровадить, тем более что вечером она должна была выступать на пресс-конференции комитета афганских вдов и матерей, и пропустить это *значительное событие* означало *подвести серьезных людей*.

Больше всего Натана беспокоило молчание парня. Тот делал вид, что спит, на вопросы не реагировал. Может, и в самом деле спал – все-таки по просьбе Натана ему вкатили неслабую дозу какого-то успокоительного коктейля. Разумнее всего

было укрыть его потеплее – уж больно колотило его и подбрасывало – да и оставить в покое. Но Натан все сидел у Леона в ногах, время от времени выдавливая какие-то слова, казавшиеся ему *правильными*... Вот тогда впервые он назвал его «ингелэ манс», «мальчик мой», и в его голосе было непритворное сочувствие и смутная вина. Что вспоминал он – собственное калечное тело? Собственное унижение, страх и ярость?

Он порывался сказать Леону, что это, увы, бывает – когда мужики дракой завоевывают женщин... такая вот паршивая штука, да... Что Габриэла – она, конечно, хорошая девочка, но ты увидишь, что встречаются и получше. Что со временем он, Леон, научится выигрывать не ростом, не весом и не силой, а *талантом* – чего ему-то не занимать, потому что стоящие женщины, сынок, влюбляются не в деньги, не в красоту и даже не в ум, а в *талант*, который их завораживает, как дудка крысолова; когда-нибудь ты это почувешь, как кобель чует запах течки...

Натан сидел в ногах бесчувственного Леона, и ему казалось, что это его *опять* били, поддавая ногами под дых, и под ребра, и в пах... Сидел, понимая, что надо бы сейчас как-то поддержать парня, объяснить, доказать ему, что...

И вместо всех убедительных слов произнес:

– *Ингелэ манс*... Этих баб никто никогда не поймет.

Он вернулся домой поздним вечером – мрачный, молчаливый, очень уставший; сказал жене:

– Успокойся. Это оленьи бои... Просто мальчики выросли.

– Ты спятил? – возмутилась Магда. – Ты видел этот ужас? Еще секунда, и он бы сбросил Леона в пропасть!

– Да, – удовлетворенно отозвался Натан. – Мой сын умеет драться.

– Твой сын – негодяй! – крикнула она.

– Нет, – спокойно возразил муж. – Он подрался из-за женщины и отбил ее.

Угрюмо подмигнул жене и добавил:

– Похоже, Габриэла досталась нашему Меиру.

– Этого-то я и боялась, – бросила Магда и отвернулась.

Своей сильной ладонью с искалеченными пальцами он погладил ее по спине – властно, окликающе, как давно гладил, на заре их жизни, *еще до всего...*

– Все пройдет, – успокоительно проговорил он. – Они помирятся.

Она молча покачала головой.

Эта женщина многое чувствовала лучше, чем ее опытный, умный, перенесший плен и страдания муж.

\* \* \*

Недели через три Леон разыскал подвал на улице Жаботинского, где спортивная школа снимала тренировочный зал для ребят, записанных в группы восточных единоборств. Группу «крав мага» – жесткого ближнего боя – тренировал Сёмка Бен-Йорам.

И Леон пришел, и полтора часа отсидел, неподвижно горбясь, инстинктивно

оберегая еще не зажившее ребро, отстраненно наблюдая, как Сёмка увалисто кружит на полусогнутых вокруг двоих парней, как подныривает, пружинисто приседая, чтобы следить за проведенным приемом, как покрикивает:

– Ступни параллельны!.. Вес тела на обе ноги!.. Локти согни!.. Я сказал, локти согни! Ладони открыты, защити голову!.. – И останавливал, хлопая в ладони: – Стоп-стоп-стоп! – и обоим тяжело дышащим противникам: – Еще раз показываю технику: из фронтальной позиции выдвигаем левую ногу вперед, так? небольшой шаг на переднюю часть ступни, так? И – следи, Шрага! – разворачиваемся справа налево, правое плечо резко вперед и! – ударное движение кулаком по прямой. Шрага, ты понял? Еще одно объяснение, и ты отчислен. Я не попугай. Так: заняли фронтальную позицию... пошли!

По лицу Леона невозможно было понять, нравится ему это занятие или оставляет равнодушным. Он безучастно смотрел на прыжки, кувырки, захваты... Жизнь раскладывала перед ним на своем прилавке новые товары: выбирай не хочу. Все, что составляло суть и радость его жизни, – музыка, вечера у Иммануэля, Габриэла и дружба с Меиром, милый дом над ущельем, «Бусина нора» и поздние завтраки с Магдой – все казалось далеким, чужим, погасшим и затоптанным, как вчерашний костер, – навсегда...

Когда взмыленные ребята закончили тренировку и поплелись в душ, Сёмка подошел и сел рядом с Леоном на широкую низкую скамью, потрепал его по жесткому плечу.

– Не думал, что ты сюда забредешь, Музыка! – сказал он. – Ну? Я зачем тебе



понадобился?

Не поворачивая головы, Леон глухо выговорил:

– Научи меня убивать.

Сёмка ладонью повернул его лицо к себе, заглянул в эти глаза, безмолвно истекающие горючей смолой. Помолчал. Не стал ничего уточнять и расспрашивать. Похлопал по спине и сказал:

– Через месяц придешь. Пусть у ненависти выйдет срок годности.

\* \* \*

С сентября Леон перешел в другую школу и еле-еле дотянул до конца года, сдав экзамены на аттестат зрелости по самому сиротскому минимуму. Зато весь этот последний школьный год упорно и даже истово бегал на занятия к Сёмке, и тот сначала сдержанно его похваливал, потом явно выделял, а потом, уже не скрывая одобрения, цокал языком и, если запаздывал к началу тренировки, звонил Леону и просил его «начинать с ребятами».

Леон уже получил первую повестку в армию и, когда Сёмка поинтересовался, намерен ли он пополнить ряды музыкантов *нашего почтенного армейского ансамбля*, скривился и что-то неразборчиво фыркнул, дав понять, что презирает подобное будущее. В анкете предпочтений он отметил самые тяжелые боевые части, включая «мистаарвим» – если уж бог дал такую рожу и такое произношение, *субхана раббийаль-азим...* Странно, думал он, – а я ведь так на Барышню похож.

Вспомнил ее коронное: «Какая в том беда Дому Этингера!» – и выкинул все дурацкие мысли из головы.

Сёмка еще посоветовал «понырять» – мол, это отлично развивает дыхалку, а дыхалка – она в любой ситуации пригодится. Дал телефон своего друга, инструктора в эйлатском яхт-клубе.

– Только не дайвинг, – предупредил. – Там ты нагружен снаряжением, баллонами с воздухом – самосвал под водой... Проси его поучить задержке дыхания. Это фридайвинг, свободное погружение: маска, ласты и ты сам наедине со своим телом и всем, что там, под водой, встретишь...

И целый год дважды в месяц Леон добирался на попутках в Эйлат, а там до одурения нырял под приглядом Эли Волосатого – такая уж была фамилия у этого гладкого, шоколадного от загара гиганта с литыми мускулами человека-амфибии.

Он делал успехи, Леон, – это было необходимо ему позарез, чтобы справиться с собой, своим *плюгавым* ростом, своей тонкой костью, своим проклятым писклявым голосом детсадовского солиста.

И то ли природный объем его легких был отменным, то ли духовой инструмент сделал свое дело, но очень скоро он научился задерживать дыхание на полторы, на две минуты, с каждой тренировкой добавляя еще по две-три-пять секунд к личному рекорду, под водой зачарованно глядя на стайки жемчужных пузырьков, вылетающих из губ...

В эти месяцы в его сны проникла морская глубина: медленные длинные караваны водорослей, бесконечные змеистые их волны, влекомые подводным

течением. Величаво развернулись причудливые за́мки кораллов, сиренево-оранжевые, губчатые, пещеристые, из укромных впадинок взмывали текущие стада серебристых, розово-черных полосатых рыб. Во сне пришла такая невесомая свобода тела, такая светлая радость парения, каких на земле он не чувствовал никогда.

*Ну почему же – не чувствовал...*

*Лет через пятнадцать его коронные задержки-ферматы из репертуара легендарных кастратов, идущие не от дирижера к солисту, а наоборот, когда дирижер ловит желание певца продлить ноту и порой до обморока держит для него гармонию в оркестре, жадно ловя переход на коду, – будут потрясать и публику, и музыкальных критиков. После премьеры «Семирамиды» Николы Порпоры в парижской «Опера Бастий», где он пел арию Миртео и почти на две минуты застопорил оркестр на невероятном, текучем, искрящемся алмазными всполохами си, а на исходе выплеснул в зал целую стаю серебристых рыбок движением груди и обеих рук, и зал «Опера Бастий» загрохотал и смял все течение спектакля, и долго раскачивался и выл свое «браво!!!», а грудь Леона ходила счастливым поришем, некий молодой и остроумный критик написал в «Ле Монд де ля Мюзик», еженедельном приложении к «Ле Монд», весьма лестную рецензию, припомнив там «затейников-кастратов, вроде Фаринелли, Виченци, Ауэрбаха или Валларди, которые подобными задержаниями на одной ноте, причем не на самой высокой, а чуть выше рабочей середины (прохвосты!), убивали публику наповал, доводя впечатлительных дам до нервного потрясения и удушья. Ведь не секрет, – писал он, – что некоторые экзальтированные слушательницы и слушатели специально*

задерживали дыхание на подобных сверхдлинных ферматах вместе с солистом. В театре Генделя в Лондоне случались регулярные обмороки именно по этой самой причине – для чего всегда наготове был лакей со специальной нюхательной солью в кисете: он ходил по рядам и приводил в чувство самоудавленников от оперы... Леон Этингер не позволяет себе жульничать на удобных “вышесредних” нотах, он “гвоздит” в высокой тесситуре, на пределе диапазона, и это, конечно, связки и мастерство, но еще и чудо невероятно развитых и умело расходуемых легких. Это не просто “вокально-техническое сочетание”, это настоящее психотронное оружие! Не забывайте, что со времен написания барочной музыки “камертон” подскочил вверх, так что си того периода относительно нашего с вами си выглядит бедным родственником...»

И далее автор рецензии остроумно замечал, что «при подобном исполнении обмороки в зале обеспечены, а вот летальные исходы – это уж на совести блистательного артиста. Не скрою, – так он заканчивал статью, – я бы с удовольствием отправил к праотцам столь изысканным способом пару-тройку ныне здравствующих политиков».

\* \* \*

А Эли Волосатый к тому же оказался земляком-одесситом, фанатом парусных лодок, и сам владел подержанным швертботом, который беспрерывно чинил и латал. Энтузиаст морского спорта, он был главным вдохновителем и организатором

ежегодных регат юниоров в Эйлатском заливе. Леон сначала опасался выходить с ним в море – не потому, что боялся глубокой воды, просто на волнах, даже слабых, его укачивало. Но в один прекрасный день, поддавшись на уговоры Эли («Эх ты, Одесса-мама!»), переступив борт и прыгнув в лодку, уже не упускал возможности еще и еще раз это испытать: соленый мокрый ветер, солнечные жгуты на плечах, шипучие брызги в лицо и горящие, вспухшие от напряжения ладони...

– Это тебе не лыжи, – говорил Эли. – На лыжи прыгнул и помчался. Здесь ты физически устаешь, устаешь как мужчина: узлы вязать, поднимать и настраивать паруса, все учитывать: состояние ветра, как вошел в поворот. Ты должен владеть своим телом и мозгами, понимаешь?

В июне Леон участвовал в своей первой регате юниоров и занял третье место. Эли утверждал, что это прорыв, а для первой регаты (она проходила с хорошей, но короткой волной) – вообще отлично.

Но Леону всего было мало, он всюду жаждал реванша, признания профессионалов, первого места во всем – словно та, годовой давности драка с Меиром, вернее, его, Леона, *гибель* в глазах Габриэлы, превратили все его существо в некий смертоносный снаряд, выпущенный на орбиту длиною в целую молодость.

Подслеповатые пуленепробиваемые окошки, в них – отверстия для стрельбы. Бронированная приземистая машина, в солдатском просторечии – «рыцарь».

Обычное средство доставки бойцов к месту проведения операции. Такой вот катафалк, благослови его Аллах; прибежище вооруженных до зубов пилигримов.

Все в полном снаряжении: бронежилеты застегнуты, ремешки касок подтянуты, винтовки заряжены и под рукой. Все остальное – гранаты, патроны, нож, пакет первой помощи, рация – расфасовано по кармашкам «броника». Не балетная пачка этот бронежилет. И даже не смокинг.

Трясемся по колдобинам, умявшись на длинных лавках вдоль стен, и кое-кто по пути умудряется тихо подремывать, хотя дороги здесь – как Стешина стиральная доска, и той заднице, что не поместилась на лавке и трясется на ящике с боеприпасами, можно посочувствовать. В данном случае это задница Леона.

В кабине трое: водитель, командир и сержант-навигатор с целым хозяйством на коленях – карты, аэрофото... Но это на всякий случай; все и так вызубрено наизусть: «Район операции каждый из вас должен знать лучше, чем содержимое собственных трусов!»

Вот распахивается задняя дверь, и ты вываливаешься во тьму, не на страницы «Тысячи и одной ночи» – хотя острый новорожденный месяц на небе упал на спину и хочется почесать ему животик, – а в полный сказочных звезд арабский город Шхем, кузницу местных талантов.

– Квартал нагревается! Квартал нагревается, торопитесь, ребята!

В рации – напряженный голос полковника. Он в машине командования, откуда наблюдает за операцией. Если «работа» пойдет не по плану, будут вызваны прикрытие, огневая поддержка или медики. А операция длится долго, уже минут

пятнадцать. Отгребели шоковые гранаты, дверь дома выбита, «действующее» звено ворвалось внутрь и прочесывает комнату за комнатой. Дом «запечатан» со всех сторон: Леон и Туба держат на мушке дверь и окна, Зимри прикрывает тыл. Там, внутри, Шаули с ребятами, ищут добычу – ту, что разведка преподнесла им на блюде. А Шаули – детина не маленький, Леона всегда мучит мысль, что тот – отличная мишень. Впрочем, сейчас никаких мыслей, а только – ночь, как лезвие ножа, винтовка и «акила», прибор ночного видения. И минуты, что тянутся невыносимо долго.

Здесь каждый дом буквально нафарширован оружием, а потому в любую секунду жди пения металлических пчелок или треска автоматных очередей. И спящий район – окрестные улочки Шхема, на одной из которых в доме родственников засела гадюка из ХАМАСа, – действительно постепенно просыпается. Нет, никто не зажигает света в домах, не слышно криков. Просто кожей, обостренным нюхом ты ощущаешь близость смертельного жала. Кожей чувствуешь температуру ночного, закипающего ненавистью воздуха: он и вправду *нагревается...*

Молодчик, которого им сегодня предстоит свинтить, тоже наверняка вооружен. Вообще, он мужик серьезный: прошел не один тренировочный лагерь, послужной его список внушителен и заслуживает доверия: взрыв армейского джипа у КПП Рафиях (двое погибших, двое раненых), подготовка диверсантов, взорвавших рейсовый автобус Тель-Авив – Эйлат (пятеро погибших, семнадцать раненых), ну, и еще десятка два заслуг в том же роде. Разведка пасет его уже года полтора, но он чрезвычайно осторожен: ночует в разных местах, чаще всего в каких-нибудь

бункерах, близко никого не подпускает, кроме трех братьев и шурина. И вдруг – удача! *Наша удача*: младшая сестренка выходит замуж. Родственные отношения у арабов – дело первостепенной важности.

А район мы разворошили, вот-вот заполыхает...

Леон прирос к прицелу, готовый «расцеловать улицу» при первом же ее вздохе.

Тот же голос в наушниках:

– Ребята, торопитесь! Время кончается!

И вдруг – взвинченный тенор Шаули, уходящий в фальцет:

– Взят!!! Готов! На антресолях прятался, сука! Внимание, выводим!

В проем двери бойцы выталкивают «джонни» – он в наручниках, глаза завязаны – и бегом волокут к «рыцарю». И разом черное дыхание ночи взрывается беспорядочной и ядовитой отрывкой автоматных и ружейных выстрелов.

Справа, слева, справа, слева, поверху, понизу... пули провизгивают в миллиметре от каски, бронежилет, как было сказано выше, – не балетная пачка... Солдаты бегут к машине, звено за звеном, стреляя во все стороны: источник огня в этом тайфуне вспышек и треска засечь невозможно. Вот уже «рыцарь», родненький, и дверцы открыты, и пока солдаты запрыгивают внутрь, Леон – замыкающий – останавливается и лупит во все стороны так, что гильзы разлетаются веером. Напоследок вышибает фонарь на столбе, и округа погружается в спасительную темень. Доброй ночи тебе, мирный Шхем!

Все уже внутри, *с уловом*; водитель рвет с места, «рыцаря» бросает вперед, и он прыгает, как рысь, и мгновенно набирает скорость.

Ну, вроде всё... Неплохо порыбачили. «Джонни» сгружен на скамейку, как



мешок, привалился к стене в неудобной позе, тяжело дышит, скалится. Стонет...

Еще не свыкся с мыслью. Ничего, привыкнешь, миляга. Вот сейчас сдадим тебя серьезным ребятам, уж они пощупают твою нежную промежность, уж они порасспрашивают кое о ком, вопросов у них к тебе накопилось достаточно.

А у нас главное – что? Потерь и раненых нет.

– Курить – умираю... – мечтательно произносит Шаули.

\* \* \*

...С этим круглолицым, бровастым, с нежными ямочками на щеках, очень высоким и очень тощим *парси* они столкнулись еще в *бáкуме* – на базе распределения новобранцев. Переодевались рядом в только что выданную новенькую форму. Размеры – ужасающе разные, до смешного. Этим двоим вообще вряд ли стоило показываться вместе: эстрадная пара комиков. Легкая добыча армейских остряков.

– Я – *парси*, – доверительно сообщил Леону верзила.

– А я – *руси*, – усмехнувшись, ответил тот.

– Да иди ты! – удивился Шаули и произнес пылкую фразу на каком-то незнакомом языке.

– Не понял...

– Это я на *фарси* сказал, на нашем языке, – что ты похож на меня, как брат. У меня дома говорят на фарси, – пояснил Шаули. – Вот попади мы с тобой в Тегеран...

- ...давай не надо, – отозвался Леон.
- Или в Тебриз...
- Знаешь, а не пошел ты...

И на переключке встали рядом, не обращая внимания на иронические взгляды, и попросились в одну часть. И дальше уже практически не разлучались, ни на базе, где протаранили весь курс молодого бойца, ни на следующих ступенях изматывающих учений, когда в пустыне спали просто в вырытых ямах в песке, жрали одни лишь консервы из боевого пайка вперемешку с песком, пили воду с песком, скрипели песком на зубах, плевались песком, дышали песком и падали в него, в абсолютной апатии к голоду, жажде, ударам, ожогам и собственной крови и вони.

- Эй, Леон! Сигарету хочешь?
- Не курю.
- Что так? Болеешь?
- Не, пел когда-то. Курево горлу вредит.
- Ты – пел?! А что ты пел, Леон?
- Да всякое там... из классики.
- Что это – классика?

Леон молчит, улыбаясь в темноту.

Они распластались на земле посреди пустыни, измочаленные тренировками и стрельбищами. Пухлая тьма щупает твое лицо омерзительно холодными мокрыми пальцами. Воздух полон какими-то шорохами, шевелениями, щелчками и вздохами, но тебе уже все равно, кто там ползает, прыгает, подбирается или жалит: сил едва

хватает на то, чтобы дышать, не до бесед по душам. Лучше не отвечать, притвориться, что уснул, да ты и уснешь через мгновение – просто выпадешь в мутный обморок забытья.

– Ну... как тебе объяснить.

Леон приподнимается на локте и выдает в студеную тьму пустыни длинную звенящую трель... и еще одну, октавой выше. И – в абсолютной тишине занявшегося дыхания в глотках полутора десятка солдат – третью заливистую трель, штопором восходящую в алмазное небо...

И когда на рассвете сержант поднимает их на первую пробежку, Леон просыпается с готовой кличкой «Кенарь». А армейская кличка – это вам любой резервист подтвердит – прикипает к твоей заднице на всю жизнь, будь ты потом хоть генеральный директор консорциума, хоть глава банка Израиля, хоть даже премьер-министр.

\* \* \*

Конечно, он знал, что Габриэла и Меир поженились.

Старшие Калдманы, робко нащупывая к нему «обратную дорогу», даже прислали приглашение на свадьбу, на которое он не отреагировал. Было бы странно заявиться туда и бродить одному с рюмкой-тарелкой среди нарядных родственников и гостей, любоваться на сияющую пару под *хупой* и слушать все эти *посвящаешься мне по закону Моше и Израиля...*

И рукоплескать, когда жених раздавит ножищей хрустальный бокал в память о разрушенном Храме.

Нет уж, без меня.

Ему казалось, что он научился *отгонять Габриэлу*. Во всяком случае, армия сильно этому помогла, а череда свойских девочек, с которыми так славно было проводить увольнительные, вполне его убедила, что уж с руками-ногами и попками у них все обстояло примерно так же, как у Габриэлы.

Леону казалось: встретить он ее сейчас, мог бы и мимо пройти, а мог бы и остановиться поболтать. Подумаешь, дело житейское: ну, оказались случайно в одной койке в сильную грозу...

...Как это ни смешно, в день, когда он столкнулся с ней на Центральном автовокзале в Тель-Авиве, тоже хлестал дождь, первый в этом сезоне. Небо раскатывало басовитые картавые арпеджио, что, впрочем, заглушалось обычными шумами этого гигантского здания: музыкой, голосами, ревом автобусных двигателей, непрерывной рекламой и объявлениями по местному радио.

Он ждал свой автобус на Иерусалим в отличном настроении: впереди ждали огрызок пятницы и целая суббота, еще и утро воскресенья, если встать пораньше. Он давно научился обстоятельно раскладывать все свои отпускные часы и минуты по уютным полочкам, смакуя каждую и каждую посвящая замечательным *не армейским, а личным* делам.

По пятницам здесь крутились, сновали, бежали к автобусам, на ходу жуя питы с фалафелем, целыми компаниями сидели в кружок на полу со своими винтовками

сотни солдат. За двадцать минут можно было встретить кого угодно из друзей, знакомых, однополчан. Леон и не удивился, когда на его плечо легла чья-то рука. Он даже не в первый миг обернулся, потому что запихивал в рюкзак вылезавший рукав форменного пуловера. А когда обернулся...

– Я ужасная, да? – спросила она, улыбаясь.

Он сказал:

– Да. Ужасная.

Она была прелестна: сарафан на бретельках открывал округлившиеся плечи, обнимал ее под упруго наполненной грудью. И так же упруго была наполнена под грудью нежно-бирюзовая легкая ткань сарафана. Глаза сияли, волосы стали еще пышнее.

– Смотри, какой огромный живот! – сказала она, упирая кулаки в поясницу и поддавая бедрами, словно предъявляя ему особое свое достижение. – И это только начало. Представляешь, что будет дальше? Это ведь близнецы!

– Я в восторге, – буркнул он, забрасывая на плечо рюкзак.

– Слушай, – сказала она, – покорми меня, а? Такая глупость, я утром сменила сумочку, и в той, другой, остался кошелек. И я без *груша* в кармане, раздетая, несчастная, в дождь... И ужасно есть хочу! Тебе не в напряг? – И свойски подмигнула: – Подкорми беременную тетку!

И ему ничего не оставалось, как, пропустив свой автобус, завести ее в кафе «Арома» на том же этаже и купить тост с сыром и помидорами, бутылку диетической колы. Пришлось сидеть за столом напротив, пока «беременная тетка» с

отменным аппетитом поглощала свой обед. Он сидел, вытянув праздные руки на столе, и, чтобы не смотреть на Габриэлу, оглядывал зал и потоки пассажиров, что напирала друг на друга, просачивались сквозь толпу, текли, спешили, гомонили, ругались, целовались на ходу...

И все же боковым жадным зрением следил за ней. Откусывая от тоста, она наклонялась над столом, и полная грудь являлась за ненадежной резинкой сарафана, как дорогое украшение на витрине. Всякий раз он поспешно отводил глаза, как бездомный нищий перед той же витриной.

– Меир служит при аналитическом отделе Генштаба, – сказала она с оттопыренной щекой. – Натан говорит, это колоссально – в его возрасте. Но сам и пальцем не шевельнул, знаешь, эти его паршивые принципы... Но Меир предложил одну гениальную штуку, и они все отпали и забегали вокруг него, как ошпаренные крысы... Какую-то безумно важную штуку для одной супершпионской программы. Что-то там с алгоритмом, предсказывающим различные события с точностью до восьмидесяти процентов.

– Угу...

– Меир же гений. Настоящий гений.

Он молчал, рассматривая религиозную семейку: двух совсем юных родителей, успевших наклепать троих ребятишек мал мала меньше. Это правда. Меир – гений.

– А ты что? Стреляешь?

– Стреляю помаленьку...

В сущности, это тоже была чистая правда: как раз на прошлой неделе он закончил специальные снайперские курсы, где отстрелял чертову пропасть

патронов, так что указательный палец не чувствовал и не узнавал из прикосновений ничего, кроме гладкой металлической поверхности ружейного цевья, а ключица ныла от дружеской отдачи выстрелов. И когда, сверив мишени, командир одобрительно присвистывал и буркал что-то о «глазомере», Леон мысленно усмехался. Каждому не объяснишь, что в цель он попадает *горлом*; механизм один: взять точную ноту. Он демонстрировал лучшие результаты. Прошло столько времени с той проклятой ночи, но он по-прежнему должен был все делать лучше всех.

Габриэла вдруг потянулась через стол и накрыла его руку.

– Я уже забыла, какие у тебя потрясающе красивые руки, – нежно проговорила она, перебирая его пальцы. И он не мог их отдернуть, чтобы не ставить себя в идиотское положение истерика и недотроги. – Знаешь, – сказала она спокойно и просто, как о чем-то бытовом. – Я ведь долго с собой разбиралась после той ночи.

– Замолчи, пожалуйста! – воскликнул он, отшатнувшись, будто его ударили под дых. – Пожалуйста!

*Господи, избавь меня от этой пошлости!..*

И вмиг ощутил, что ничего не изменилось, ничего: он задыхается, когда смотрит на нее, он дышать не может, и та ночь навсегда останется главной и безысходной, отвратительной, уродливой; самой прекрасной в жизни. Как молния, наотмашь секущая стеклянную стену.

– Нет, погоди, – терпеливо возразила она. – Ведь все в прошлом. Я сразу хотела объясниться... ну, объяснить тебе. Никто ведь не думал, что ты так резко, необъяснимо оборвешь... нашу дружбу, все наши отношения... Как будто они ничего не стоили! Ты оказался ужасным эгоистом и сволочью, Леон! Меир... он, знаешь,

готов был сам идти к тебе мириться. Но Магда сказала... ну, это неважно. Она, ты ведь не знаешь, была в шоке, потому что Меир случайно убил Бусю, эту ее обожаемую мерзкую крысу. Ну, что ты смотришь? Да, тебе ведь было *не до того*. Меир ее просто тогда... затоптал. Ну, случайно, я говорю же: случай-но! И Магда плакала. И уверяла, что Буся *кинулась спасти тебя и погибла, тебя защищая*. Представляешь этот маразм?

Она заторопилась, глядя на его болезненно застывшую гримасу, на то, как он поднимается, подхватывает рюкзак, винтовку... Торопилась достать его жалом, видя, что жертва ускользает.

– Ты сам виноват: тебе нужно было дождаться, пока я выберу по-настоящему. Я ведь была дурочка, девчонка... Для меня это была тогда... такая игра, новая, увлекательная. И... Меир – такой большой, крупный парень... А ты – мальчик, невесомый, трепетный и... новичок, как и я. А у Меира, я знала, уже были женщины. И мне захотелось попробовать – как это, когда большое опытное тело... такой вес, настоящий мужчина...

Он вскочил и пошел вдоль скамеек к линии перрона, уже не слыша ее голоса, бормоча: «Гадина... гадина... гадина...» Выбежал – беспамятный – в холодный, секущий лицо и руки дождь, на ходу запрыгнул в отъезжавший до Нетании автобус – совсем другое направление, ему ведь в Иерусалим. Драгоценный день потерян. Но представить себе, что он должен ехать с ней в одном автобусе, рядом сидеть, чувствуя теплое бедро, слушать подлые речи... Вскочил в чужой автобус, лишь бы скрыться – от ее живота, ее синих глаз, округлых плеч и тяжелой прекрасной груди. От быстрых ласковых рук и безжалостно разящего языка.



От этой «беременной тетки».

От девочки, которая, видимо, никогда его не отпустит.

\* \* \*

И снова – чертова пустыня, песок и раскаленные камни, и градусов сорок в тени. И тренировки, уже другие, *продвинутые*, марш-броски с полным снаряжением и всеми видами оружия, которые твой взвод использует в боевых действиях, а это и твоя винтовка, и пулеметы, и РПГ, и двадцатилитровая канистра с водой. Дистанция – восемьдесят километров. И когда, с трудом передвигая ноги, уверенный, что ты уже сошел с ума и вся твоя жизнь тебе привиделась, а настоящим было всегда только это: пустыня, винтовка, дорога по краю горы, с полусотней килограммов на горбу, с большим раскаленным болтом в башке, вбитым где-то между затылком и ушами, когда уже завершаешь дистанцию – тут командир приказывает расправить носилки и выбирает самого крупного бойца – обычно это Шаули, черт бы побрал долбаного бегемота! И, сменяясь под носилками, из-за пота, заливающего глаза, не разбирая дороги, ты волочешь «раненого» еще километров десять, а он знай покрикивает:

– Давай-давай, Кенарь! Прибавьте ходу, ребята, а то я сдохну, кровью истеку! Или просто обосрись...

Но наконец все подразделения разъезжаются по своим базам, получают «свое» оружие, и тогда...

И тогда начинаются тренировки «настоящие», как будто до сегодняшнего дня они репетировали «Танец маленьких лебедей». Перед ними возникает *инструктор военных действий* Надав – приземистый, на вид коряво-цепкий и лысый, как булыжник. С безжалостным взглядом душегуба, встреченного в лесу. И тут ты понимаешь, что все интересные уроки по «крав мага» с Сёмкой Бен-Йорамом были – так, некоторым ознакомлением, чистилищем, преддверием ада; что Сёмка берег тебя, дурака, дабы ты не наломал дров. А вот сейчас начнется то настоящее, что превратит тебя в боевую машину. В чудовище. В убийцу.

– Никаких разговоров! – говорит Надав. – Молчать, не думать, исполнять на автопилоте. Буду бить. Избивать, как собак. После спасибо скажете.

На первом занятии он сломал о спину Шаули три деревянные палки. Из Леона вышиб дух минут на пять.

– Не думать! Делать! Бить! Никаких чувств, только инстинкт!

И снова, и снова Надав ставит их в пару с Шаули: удар, удар, обманный в голову, апперкот под дых. Шаули переходит в нападение, и значит, главное сейчас – закрыть голову от чугунных его кулаков. Левая! правая! левая! правая!.. Пот заливает глаза, грудь ходит ходуном, перчатки весят килограмм по двадцать. Господи, это кончится когда-нибудь?! Удар левой, блок, двушка руками... серия ударов Шаули, тот бьет прямой ногой, отбрасывая Леона из клинча... Отскакивает и снова пробивает ноги Леону; тот удерживается, атакует, сближает дистанцию, ныряет под руку и проводит серию ударов ногами...

– Хорошо! – кричит Надав. – Хорошо, стоп! Сто-о-оп!!!

Они отскакивают и стоят, качаясь, еще не понимая, что бой остановлен, готовые

снова ринуться друг на друга. Наконец, обнимаются, стягивают перчатки и, спотыкаясь, бредут к бутылкам воды, составленным пирамидой в углу тренировочного зала. И хлещут, и хлещут ее, закинув головы, не вытирая ручьев, бегущих по горлу на грудь и живот, и никак не могут вволю напиться.

И оружие превращается в продолжение руки, головы, тела: вошел в стойку, стреляешь, перезаряжаешь, стреляешь сидя, стоя, лежа... бежишь и стреляешь. Ты не человек, ты машина, ты зверь. Бросаешь гранату, влетаешь в дом, стреляешь, стреляешь, стреляешь. Ты должен убить и выжить. Убить врага и выжить сам.

По ходу тренировок взвод покидают ребята – тот, кто сломался, кто устал, кто «больше не может». Молча собирают рюкзаки и уходят – в другие подразделения, где «человечнее», то есть легче. Хотя б немного, но легче, и не так страшно, и не так часто теряешь товарищей в бесконечных ночных операциях.

– Кенарь, знаешь, я не осуждаю, – говорит както вечером Шаули. Он лежит, закинув руки за голову. Длинные его ноги, как всегда, вылезают за края любой койки. – Я их понимаю, Кенарь. Ты перестаешь быть человеком. И уже не веришь, что когда-нибудь опять им станешь. Я бы и сам ушел, чтобы не рехнуться. Но не могу. Доказываю.

– Кому? – еле ворочая языком, спрашивает Леон, уплывая в сон.

– Старшему брату. Он в «Сайерет маткаль»<sup>[19]</sup> был и очень, слышь, Кенарь, меня достал, такой долбоеб! Очень я его люблю. Так чтобы он не выпендривался, слышь... – Шаули вздыхает, молчит с минуту и вдруг спрашивает: – Кенарь, а ты можешь петь нормальным голосом?

Леон хмыкает:

– Н-нет. Не получается... Не могу.

– Но ты же еще на этом играешь... на саксофоне?

– На кларнете.

– Ну, неважно... ты же все равно мог бы, как принц, эту армию трахать и в рот и в жопу! Какого черта ты паришься в этом аду?

Леон долго молчит и, когда Шаули уже похрапывает, говорит самому себе:

– Доказываю. И засыпает.

*И во сне проверяет – хорошо ли двигается затвор, и во сне заполняет магазины, и мягко вставляет патрон, чтобы при стрельбе не заклинило. И тщательно мажет маскировочной краской лицо и руки, чтоб не блестели, потому что (это он помнит даже во сне) блеск – главный враг снайпера. И во сне он идет по дну ущелья в полной тьме, чтобы не спугнуть дичь, и занимает огневую позицию, и лежит, лежит, лежит, ожидая своей мишени, врага своего – чтобы его убить... И когда тот возникает на тропинке, с винтовкой в руках, Леон ведет его прицелом, держа красный огонек на груди, в ожидании команды Надава. И во сне она звучит, эта команда, и он жмет на спуск, и передергивает затвор, и снова стреляет, на таком расстоянии вдруг замечая, что ведь это он сам! разве так бывает? Так кто же я? снайпер? террорист? их общая жертва? – и падает под собственными пулями...*

*И до рассвета прыгает с крыши на крышу притертых друг к другу арабских домов в лагере беженцев, и швыряет шоковую гранату, и следом за ней дымовую, и*

*сквозь черный шлейф крутящейся дымовухи видит пламя выстрелов и бьет туда, точно, горлом – ноту берет... и вжимается в стену, когда над плечом вгрызается пуля в бетон, отщелкивая брызги штукатурки... А после снова идет и идет по ущелью, и видит, как он же выходит из дома в арабской деревне, и, лежа за уступом горы, стреляет в того себя, и передергивает затвор, и снова стреляет. И вновь передергивает затвор, и стреляет – для верности.*

*Снайперскими пулями, что, попадая в твое тело, распускаются внутри, как цветок.*

*«Расаса кнас алати тусибук, туздахиру дахлак каалзухара...»*

\* \* \*

Весь последний армейский год оба они, и Леон, и Шаули, держались на мечте: после демобилизации месяца на три закатиться куда-нибудь на соленый-перченый край света. Не в Европу, конечно, – что там делать, в тихой заводи; как быть с накопленным в крови вулканом адреналина? Где взять ежедневную наркодозу смертельной опасности? Если уж ехать, то в Тибет, в Индию, в Гималаи, в Перу – как многие солдаты боевых частей израильской армии.

– Продираясь сквозь джунгли, вырубая дорогу топориком, вступать в схватку с вождями людоедских племен, – говорил Шаули. – Или хотя бы вши подцепить – экстрим есть экстрим.

Чтобы скопить на билет из плевой, в сущности, армейской зарплаты, Шаули

даже бросил курить – временно, конечно. Злой ходил, как черт, на все огрызался. Но, в конце-то концов, для чего нам, разведчикам, воля дана?!

На что невозможно не тратить – на девчонок. Выходишь в увольнительную, ведешь ее в бар – коктейль, закуска, все путем. Ее же потом завалить хочется. Это, конечно, уважительные расходы. Но все равно к концу службы должны были собраться *нехилые бабули*. Главное – на билет скопить, а там уж можно устроиться на любую работу в какой-нибудь паб или отель, повкалывать месячишко – и дальше пошел, с котомкой за плечами. Что такое тамошняя физическая нагрузка после наших-то марш-бросков, после наших-то изящных армейских ридикюлей вместе с рацией и прочими *кружевами*!

– На Филиппины поедem... – мечтательно говорил Леон. – Там есть классные места для фридайвинга. Остров Миндоро... Пляжи белые-белые... Научу тебя нырять, ты оценишь, что такое настоящий кайф.

– Скажешь, большой кайф, чем трахать Оснат?

– Большой, – убежденно говорил Леон. Об Оснат, девчонке Шаули, он знал только понаслышке: его ревнивый друг, истинно восточный человек, в этом деле никому не доверял, и меньше всех – Леону.

– Ну, давай, Кенарь... пой, – просил Шаули после какой-нибудь особенно тяжелой операции, вроде очередной «соломенной вдовы» – как на армейском сленге именуют засаду со всем вытекающим из нее *балетным дивертисментом*. – Давай: что там еще, на Миндоро?

– Там коралловые рифы.

– Как у нас в Эйлате?

– Лучше. Есть такой риф – Талипанан. Глубина метров тридцать. Возьмем их местную лодку, *банке* называется, с бамбуковым навесом. Можем прямо в ней и жить. Главное: ты налегке – маска, ласты, легкий костюм... Никаких баллонов, никакой тяжести. Ты – это просто *ты*, понимаешь? Погружаешься в другой мир, сливаешься с ним, и на две-три минуты – на сколько легких хватит – ты просто рыба. Такая рыба глазастая. И никакой другой жизни у тебя не было и нет. Скользишь вдоль рифа, оплываешь его, а под тобой – морские звезды, голотурии... полосатые змеи...

– Эй, Кенарь, не спи, пожалуйста, а? Тошно мне, Кенарь... Видал, как взорвалась у Цвики башка?..

Оба умолкают.

Цвика погиб на задании позавчера. Случайное стечение обстоятельств, не хочется вспоминать. Он был в «действующем» звене, шел с Леоном и Шаули, первым вбежал в дом и схлопотал свою пулю. Вчера его хоронили на военном кладбище, молча давясь слезами при виде матери и сестер. Нет, о Цвике – не надо. Не стоит сейчас о Цвике. Надо спать. К тому же в любой момент может влететь в казарму Шимон с воплем: «Тревога! Минута – готовность с полным снаряжением!»

– Ну, давай, Кенарь... дальше пой: голотурия, морские звезды. Может, и акулы там есть, а ты скрываешь?

– Акулы... водятся, да, – на зевке, с усилием продолжает Леон. – Шаули, ты бы снял свои прошлогодние носки, а? Так воняют – нет сил...

– Завтра дома постираю. Гони дальше: акулы. Настоящие?

– Ну-у... не игрушечные. *Черноперые акулы*. Только ты им на фиг не нужен. Не

дергайся, они тебя и не заметят.

– Но ножичек взять придется? Нож «коммандо» возьму, он приемистый такой, удобный. Что там еще?

– Скаты есть.

– Скаты... Это опасно?

– А улицу не опасно переходить?

– Ну, дальше.

– Ну, плывешь, паришь... ме-е-е-дленно, пла-а-авно...

– Не засыпай, Кенарь! Не будь таким гадом... Расскажи про голубых буйволов.

– Да я не сплю, с чего ты взял. Буйволы – не голубые, обычные. Просто картинку видел в Интернете: буйволы на Миндоро. Запряжены в повозку, низкую такую, деревянную. И сами – мощные, низкие, темно-серые. А вот рога голубые, да – как два полумесяца...

– Не засыпай, Кенарь! Умоляю, не засыпай...

\* \* \*

...С Филиппинами, однако, не вышло. Где-то в январе после увольнительной Леон забыл дома банковскую карточку, а к следующей увольнительной она уже была чиста, как вода в районе рифа Талипанан.

Сначала он пробовал ругаться со служащей банка «Апоалим», чей банкомат не хотел выдавать ему какой-то несчастный полтинник, выстоял очередь к окошку,



заставил девушку проверять по компьютеру счет.

– Ты слишком громкий, – заметила девушка, прощелкав на клавиатуре номер счета и заглянув в экран. – Слишком громкий для своих накоплений. У тебя там двадцать три шекеля.

– Как... двадцать три? – пробормотал Леон, мгновенно вспомнив шкодливо-сокрушенное Владкино лицо, когда он искал сегодня карточку и нашел совсем не там, где оставил.

Повернулся и молча вышел из банка.

Свидание с милой девушкой по имени Лимор пришлось отменить. Он не мог допустить, чтобы девчонка угощала его на свои, на девичьи.

Такие дела: просто мамка у него была – изобретательница.

– Ну, давай, рассказывай, – мягко предложил он ей, вернувшись через час со своего незадавшегося свидания, чистенький, отглаженный, выбритый и пахнущий недешевым одеколоном. – Во всех подробностях. Ничего не пропусти.

Владка вдохновилась, заторопилась, тряхнула кудрями, задрожала ресницами, замелькала руками. Ничего не понять. Он взял ее двумя пальцами за щеки и, не давая двинуть головой ни вправо, ни влево, тихо велел:

– Рассказывай, где деньги.

И она, испуганно таращась, шепеляво доложила, что речь идет о ее гениальном изобретении, самом гениальном – об изобретении века, «оно обогатит бежводную штрану!». Понимаешь, у нас ведь, если дождь, то раз в году, и он бесполезно уходит в землю. И я вот чего: надо вдоль шоссе по всей стране выстроить такие столбы, на

них – перевернутые металлические зонтики. Начинается дождь – опа! – зонтик открывается, и внутри собирается вода, которая по водостоку стекает в искусственное водохранилище. Все гениальное просто!

Она попыталась высвободить голову из железных тисков его пальцев, но ей это не удалось.

– Где деньги? – повторил сын, уже с любопытством глядя на эту удивительную женщину, которая приходилась ему родной матерью.

– Но... Лео... любое изобретение нужно оформить профессионально.

Он молча ждал, не давая ей дернуться. И, обреченно понимая, что провисит в этих тисках до второго пришествия, Владка конспективно закончила:

– Нужен чертеж. Заказала Гуревичу. Он главный конструктор... харьковс-с-с...с-специалисту надо платить.

Леон тряхнул Владку, коротко осведомился, каким именно способом она умудрилась вытянуть всю сумму, весьма приличную, ведь ПИН-код... и сам же спохватился: недавно он снимал при ней деньги (что интересно, ей же на жизнь), и Владка – фамильная сообразительность! – просто высмотрела и запомнила эти четыре цифры.

Престарелого хмыря Гуревича он трясти не стал, черт с ним.

Позвонил Шаули, коротко, не вдаваясь в детали, объяснил ситуацию: матери нужны были деньги на одно важное дело, подыщи кого-то из ребят, езжайте без меня...

Шаули, настоящий друг, бодро сказал:

– Да не очень и хотелось, честно говоря! Я как раз собирался сказать – ну его, этот детский сад: акулы, скаты, рифы... Надо и жизнь когда-то начинать. – И добавил (даже по телефону в голосе была слышна улыбка, с этими двумя ямочками на щеках): – Наконец-то закурю! Прямо сейчас, Кенарь!

Леон только Иммануэлю сказал правду. И то не сразу, а лишь когда старик поинтересовался, купил ли уже *цуцик* билет в свое эпохальное путешествие и когда собирается *выйти на тропу*. Тогда Леон изобразил Владку – в действии, в подробностях, в жестах...

Иммануэль выслушал рассказ о Владкином изобретении с явным удовольствием, даже с каким-то коммерческим интересом. Заметил:

– Потрясающая все-таки женщина! И, знаешь, *если вдуматься*, в этом что-то есть, в этих ее перевернутых зонтиках...

А через день позвонил Шаули с новостью, что «Эль-Аль» набирает парней, демобилизованных из спецподразделений, – сопровождать полеты под видом обычных пассажиров. Представь: сидишь ты в кресле, элегантно харчишь на халяву это самолетное дерьмо, и если какой-нибудь чокнутый *мехабель*<sup>[20]</sup>, возжелав стюардессу, потащит ее по проходу, ты лениво достаешь из обеих подмышек стволы и элегантно палишь во все стороны... Нет, серьезно: работа фартовая, бабки нормальные, армейские характеристики у нас – ой-ой-ой. Ну и братан порекомендует. Он уже год как летает.

Да, все сложилось на удивление гладко, и, *если вдуматься*, – как могло быть иначе? Не для того они жрали песок в боевых пайках, спали в ямах в пустыне,

учились продавливать пальцами щитовидный хрящ и на лету штопать пулями брюшко стрекозы, чтобы какая-нибудь *административная* крыса могла отклонить их ослепительные кандидатуры!

\* \* \*

И дальше судьбе не пришлось особо стараться: связывать маршруты, суетиться по поводу случайных встреч. В конце концов, и Натан, и Амос-Пастух, и даже сам Гедалья летали туда-сюда, бывало, что и вместе. И однажды в аэропорту Бен-Гурион, между двумя полетами – на Барселону и на Париж, – когда Леон со своим студенческим рюкзачком (в котором привычно и даже уютно спал короткоствольный «узи») стоял в очереди в буфет, из-за стола неподалеку выскочил, как черт из табакерки, не замеченный им в сутолоке Натан, облапил его, потрянул и потащил за столик, где сидели еще два унылых по виду старпера: сильно облысевший Пастух в сером свитерке под дряблую морщинистую шею и еще один, еще более неприметный пенсионер с неподвижным взглядом ящеричных глазок, всегда смотрящих в *пространство между* (позже выяснилось, что эти снулые глазки высверливают в тебе дырки почище любого сверла).

Даже Леон со своей памятью на лица не сразу опознал в нем молчаливого супруга знаменитой актрисы Камерного театра, ныне покойной Фанни Стравински. И не мудрено, что не опознал: после смерти Фанни ее муж перестал появляться на «благотворительных посиделках» у Иммануэля.

Натан и Амос называли его Гедальей, хотя кто знает, какое имя было у него в ходу в разные периоды жизни.

Выдернув Леона из очереди, Натан усадил его за стол, всучил свой сэндвич с тунцом-яйцом-огурцом, налил в свой же бокал колу и, явно искренне радуясь (что было Леону чертовски приятно), говорил старичкам:

– Рекомендую этого парня на всё, везде и всюду! Это отменный материал, слышишь, Гедалья? – И Леону: – Ты что, демобилизовался? И что, никуда не закатился? Ай, молодец! Дурацкая потеря времени – все эти экспедиции за мандавошками. У нас тоже есть чем заняться.

Пастух Амос добавил, помешивая ложечкой сахар в кофе:

– И мандавошки свои имеются.

– А у нас с Магдой внучки-близнятки, ты слышал? – говорил Натан. – Мы в них втюрились по уши, как дураки. Такие забавные, рыженькие – в Меира, и синхронные, как два стэписта. Их Габриэла по-разному одевает, чтобы различать. А ты куда собрался? – И сразу спохватился: – А-а... понял-понял: *летаешь помаленьку*. Ну, как же я рад тебя видеть, парень! Скажу Магде – она сомлеет от счастья.

– Передай ей привет, – проговорил Леон, неожиданно и сам растроганный встречей. Столь же неожиданно для самого себя добавил: – Передай, что... очень по ней скучаю, – и в ту же минуту подумал: а правда, как же я соскучился по Магде!

– А где служил, парень? – спросил вдруг этот неприметный, со взглядом варана, замершего на камне в ожидании добычи. У него оказался неожиданно певучий, драматически сильный голос.

Леон ответил. И тот вдруг перешел на арабский:

– *Кан сабан? Хал ирхакук шабабна?*<sup>[21]</sup>

Голос подходит языку, подумал Леон, прямо муэдзин на минарете. Помедлив, по-арабски же ответил:

– *Наам, лакина ирхакнахум актар*<sup>[22]</sup>.

Натан горячо сказал:

– Гедалья, ручаюсь тебе: какой язык в него вложишь, на том он через неделю и запоет.

– Постой, – вдруг произнес Амос, до этого молча и как-то незаинтересованно допивавший свой кофе. – Запоет... А я ведь уже видел тебя, парнишка, а? У Иммануэля. – И повернувшись к тому, кого Натан называл Гедальей, тихо проговорил: – В жизни бы не подумал, что он так изменится. Маленький был, кудрявый, глазастый. И пел.

– Пел? – подняв белесые, будто молью проеденные брови, переспросил Гедалья.

– Я даже на папке тогда написал: «Кенар руси».

– Почему «руси»? – еще больше удивился тот, разглядывая Леона, смущенного, что его ощупывают, как коня на ярмарке, – спасибо, в зубы не смотрят. Взглянув на часы, Леон вскочил, заторопился. Самолет без него уж точно не улетит, но надо и совесть иметь.

– Телефон запомнишь, Кенарь? – спросил вдруг Гедалья. Быстро произнес семь цифр и, не повторяя, властно по-арабски добавил:

– Во вторник позвони. Есть что тебе предложить.

Когда он размышлял о тех годах своей жизни, что начались после специализированного курса на одной из секретных баз – курса, включавшего многие странные дисциплины (не говоря уже об углубленном арабском, все пять групп диалектов), ему казалось, что артистическая биография его тогда и забрезжила; тогда, а не гораздо позже, после окончания консерватории, когда он подписал договор с Филиппом Гишаром и получил свой первый ангажемент. Разве что случайные зрители и партнеры по постановкам, даже и подыгрывая, не знали его настоящего имени и не считали нужным рукоплескать.

Разве что игра его проходила вдали от света рампы; разве что грим он накладывал с особой тщательностью, ибо небрежность гримера могла обернуться выпущенными кишками; разве что гораздо вдумчивей подбирал для роли костюм. Да и не грим и не костюм это были, а он сам; сам он, Леон, но – *другой*, с целой гирляндой других имен, с четками в руках, с куфией на голове, напевающий под нос мелодии арабских песен.

Бывало, на два-три месяца он становился тем *другим*, кто истово постится в Рамадан, молясь среди таких же, как он, мужчин, привычно повторяя: «*Аллаху акбар-субхана раббийаль-азим, Сами, а-Плаху лиман хамидах, раббана ва лакаль-хамду...*»; тем, кто за весь день может съесть одну питу с хумусом, и то лишь вечером; кто каждое мгновение настороже, ибо сюда явился из Иордании, проник через мост Алленби и идет к дальним родственникам в Рамаллу. К дальним родственникам, никогда его не выдавшим...

Однажды у него случилось нечто вроде нервного срыва.

Третий месяц он работал на стройке в Иерусалиме, где бок о бок с ним простыми рабочими трудились два связанных «Исламского джихада», готовившего к еврейским праздникам серию взрывов в центре города. Звали его в тот период Джавад Абу Зухайр, жил он в Восточном Иерусалиме, в большой *хаму́лке* <sup>[23]</sup>, в разветвленной и многодетной семье Бургиба.

В один прекрасный день он явился к ним из Аммана – отпрыск огромного клана Зухайр, с запиской от своего двоюродного деда, Нури Абу Зухайра, с дивно вырезанными старинными нефритовыми четками в подарок главе рода Бургиба. И обосновался в комнатке с младшим сыном, пятнадцатилетним Саидом, бесхитростным улыбчивым дауном, который стал ему настоящим *братом*, и даже много лет спустя, вспоминая о нем, Леон ужасно скучал по его безгрешной улыбке, по его внезапным слезам, посвященным вздору, выдумке: «Это правда было? Ты видел сам?» По вечерам Леон рассказывал ему «истории из жизни» – в основном оперные либретто, приспособленные под здешний антураж: «Аиду», «Чио-Чио-Сан», «Отелло»... Мальчик спрашивал:

– Ты никогда-никогда не уйдешь? Ты останешься со мной навсегда?

(Ну что ж, говорил в таких случаях инструктор Лео на, в нашей работе случаются травмы самого разного рода...)

Так вот, о травмах.



Ежедневно добираясь из Азарии на стройку сначала пешком, а затем автобусом, он случайно познакомился с девушкой Надей, репатрианткой из Тюмени.

Несколько дней подряд, оказываясь в одном автобусе, просто смотрел на нее, а она – на него. И вдруг она сама заговорила. Все это было совершенно лишним, но девчонка так обаятельно постреливала голубыми глазами, стеснительно ему улыбаясь... И робко, осторожно он ответил ей на очень плохом иврите. Забавно, что, пребывая в шкуре Абу Зухайра, он думал на арабском, и когда приходилось говорить на иврите, с трудом подбирал слова. (Русский же на эти три месяца просто *перестал знать*. Проходя мимо двух беседующих по-русски репатриантов, *слов не понимал*.)

Дня через три они с Надей уговорились встретиться в центре Иерусалима. Довольно нервная и никчемная вышла прогулка, оба – по разным причинам – то и дело оглядывались по сторонам.

Но в тот же вечер, в поставленном на ремонт молодежном пабе в «Иерусалимских дворах», на потертom плюшевом диване, заваленном всяким барахлом, у них случился мгновенный бешеный роман – со слезами, объятиями и, наконец, с расставанием, потому что она «не могла продолжать с... ну, ты сам понимаешь, Джавад... меня никто не поймет – ни родители, ни брат, ни друзья. Мне же в армию скоро... я же... Я всегда буду помнить тебя, Джавад!» И так далее.

И у него в глазах дрожали слезы (арабы легко плачут), и если эти слезы наворачивались при весьма незначительном усилии, то что сказать о сердце, которое сжималось и ныло уже совсем не по заказу? Почему? Потому что она «не могла продолжать с... ну, ты сам понимаешь, Джавад, – кто ты?..»

Впрочем, еще раз три они встретились.

У нее была мягкая славянская внешность, чудесные загорелые ноги бегуны в уже не модных «римских» сандалиях с такими длинными и замысловатыми ремешками, оплетавшими длинные икры, что она ни разу их не сняла (*морока потом распутывать*); короткая синяя юбочка, похожая на форменные юбки его одесских соучениц, и смешная майка на одной бретельке. Одежда по минимуму, да и тело по минимуму: птичка, худышка, нежные подростковые лопатки. Но при угловатой сдержанности она быстро достигала своей тайной жгучей радости, которую боялась обнаружить и потому больно прижималась губами к его губам, гася низкий стон. И – вскакивала, торопливо оправляя юбку, целовала его и виноватой походкой (длинные, тесно оплетенные *древнеримские ноги*) выскальзывала под строительными лесами на улицу. А он оставался: взбешенный, взвинченный, разочарованный и неудовлетворенный. Долго добирался пешком в Азарию, в комнатку к своему милому дауну Саиду. И потом полночи не мог уснуть, пялясь в окно на перемещение звездных облачков вокруг бычьего пузыря луны, в ожидании рассветного грозного зова муэдзина.

Незадачливый арабский парень, которому нет места в *их мире*.

\* \* \*

Он потерял счет этим опасным спектаклям, зато и много лет спустя помнил клички своих агентов, тайники и места встреч.

За несколько лет он успел поработать и в следственном отделе, и в арабском, и в отделе контршпионажа. Занимался ликвидацией нескольких главарей ХАМАСа и «Хизбаллы», и вряд ли кто из журналистов – будь то западные, арабские или даже израильские СМИ – мог предположить, что пресловутый «черный мотоциклист» – бич божий, мелькавший до выстрела или взрыва то в Алеппо, то в Хан-Юнисе, то в районе Баб аль-Табанэ в Триполи и затем бесследно растворявшийся в воздухе, – это один и тот же человек, способный перевоплотиться в подростка, одного из тех оборванцев, что торгуют на перекрестках упаковками цветных фломастеров, синими баночками крема «Нивея» и прочей расхожей дрянью, производимой в секторе Газа.

Шаули, с которым они теперь виделись от случая к случаю (тот – через брата – попал *в другое ведомство*), говорил, что Леон «огрубел», стал «слишком подозрительным» и имеет такой вид, будто каждое утро «допрашивает собственную задницу».

Он прекрасно знал, на чем держится его дело: на везении и риске. Знал, сколько стоит подслушанное слово, сомнительное сведение, что поневоле оборачивается точным предсказанием; пустяковая зацепка, которая может потянуть за собой целую цепь разгадок. Знал, что ничем нельзя пренебрегать: даже враньем, чепухой, которая так похожа на правду и потому вполне может правдой быть. Знал, что такое благодарность за намек, за ленивый кивок подбородком в сторону переулка, куда юркнула черная тень, – вдоль лавок, глухо задраенных на ночь рифлеными жалюзи. Знал, что ничего нельзя сбрасывать со счетов. Знал, что потеря «джо», агента, – это

удар, но и доказательство.

Он рисковал своими лучшими агентами. Он рисковал собой. Он просто шел туда, где было страшно и опасно, чтобы рассеять сомнения, – ибо меньше всего верил в преданность агента.

Среди его агентов были и охочие до денег рисковые голодранцы из окрестных деревень, и уголовники, взятые с поличным (этих он вербовал под угрозой многолетнего заключения), и отъявленные головорезы из террористических банд, которых он умел принудить к сотрудничеству, используя разные *методы давления*: и шантаж, и угрозы, и кое-что похуже – особенно если ситуация подходила под определение «тикающей бомбы»...

Впрочем, среди агентов попадались и настоящие перлы.

\* \* \*

Таким был Адиль, старик-антиквар, инвалид с сухой рукой. Вернее, не сухой она была, а детской – утлая доверчивая ладошка, которую он охотно подавал для рукопожатия. И глядя в сильное морщинистое лицо, в умные и жесткие глаза видавшего виды человека, ты принимал в свою руку эту детскую ладонь... Он любил повторять с ухмылкой:

– Стараюсь соответствовать имени [\[24\]](#).

Адиль достался в наследство от Арье Таля, когда тот ушел на повышение. Перед

тем как представить их друг другу, Арье сказал Леону:

– Учти, Адиль – мое сокровище. Умен, наблюдателен, умеет связывать между собой даже будущие события. И работает с нами не за страх и не за выгоду.

– А за что? – спросил Леон, которому еще не попадались агенты с благородными мотивами предательства собственного народа.

Они стояли недалеко от Дамасских ворот – два американских туриста, охочих до экзотики: рюкзаки, соломенные шляпы за пятнадцать шекелей, фотоаппараты на шее, шорты, сандалии...

– Ну, во-первых, он торговец и антиквар, и хочет, чтобы туристы и коллекционеры имели возможность живыми добраться к нему в лавку и таковыми же ее покинуть. Во-вторых: лет пятнадцать назад ублюдки из «Исламского джихада» убили (просто растерзали – «за нескромное поведение») его племянницу, дочь покойной сестры. И в-третьих: ты хоть знаешь, сколько лет эта самая лавка стоит на этом самом месте? – Арье поднял палец и назидательным тоном продолжал: – С начала прошлого века! И держали ее на паях двое дружанов-соседей: старый еврей из Галиции и дед нашего Адила. По семейному преданию, ни разу не поссорились из-за выручки. Редкий случай. Кстати, были в числе тех первых антикваров, что дружно распродавали лоскуты древних свитков Кумрана британцам и шустрой ватиканской своре... Ну, пойдем. Сейчас увидишь настоящий антикварный магазин – не лавку занюханную. В таких можно аукционы проводить.

Между прочим, даже после того, как Адиль был пристроен *в нежные руки Леона*, Арье нет-нет да заглядывал в лавку – просто выпить чашку кофе, просто посмотреть новые поступления монет. Говорил:

– За все эти годы Адиль воспитал во мне коллекционера...

Когда Леон впервые попросил у Адила разрешения порыться в старье, в подвале, тот удивленно спросил:

– Зачем тебе?

Его просторный, вызывающе западный магазин со стеклянными прилавками и витринами выгодно отличался от затхлых и темных арабских лавок, цепочкой своих узких комнат ввинченных в утробу Христианского квартала. Вход в главную залу открывала старинная каменная арка из сложенных вперемишку темно-розовых и желтоватых камней.

И товар был первоклассным. Знался Адиль, конечно, и с «черными археологами» (как все без исключения антиквары Старого города), но в основном торговал предметами старины, с сертификатами от департамента древностей.

В высоких витринах вдоль стен были разложены, расставлены, развешаны и искусно подсвечены крошечными лампочками-спотами старинные монеты, медные и бронзовые кумганы и блюда, серебряные канделябры и *ханукии*, украшения из римского стекла, из настоящих и поддельных – на любой вкус и цену – камней. В огромных медных чанах по углам можно было целыми днями копать в поисках ценной серебряной бусины позапрошлого века. В дальней комнате лежали и стояли рядами ковры – иранской, афганской, друзской и индийской работы. По углам и в каменных нишах были расставлены кресла и кофейные столики, инкрустированные перламутром и слоновой костью. И, конечно же, отовсюду зеленовато-голубыми, желтыми, вишневыми бликами празднично сияла под электрическим светом иранская керамика со своим вечным «рыбьим» мотивом, отчего казалось: по

полкам, меж расставленных ваз, кувшинов и голубок-светильников в вечном плавании скользит стая цветных длиннохвостых рыб.

Были и редкие книги – в витрине, за спиной у хозяина.

Он восседал на засаленных подушках, в старом кресле с высоким резным изголовьем, как раз против двери, чтобы видеть каждого, кто возникает под старой каменной аркой.

Всегда ласково предлагал чашечку кофе: по левую руку от него стояла электроплитка, и кофе он варил сам – настоящий, турецкий, густой, как патока. Неспешно разливал в керамические чашки, наклоняя джезvu, цепко сидящую в детской ручке, следя за ленивой струей, не прекращая при этом виртуозный и неторопливый торг, в конце концов выгодно сбывая очень дорогой товар.

– Мне торопиться некуда, – добродушно замечал он. – Товар мой не портится, только растет в цене. Через неделю будет стоить на три доллара дороже...

– Зачем тебе хлам? – удивился Адиль. – Поверь, ничего стоящего я там не держу – слишком сыро.

– Просто интересно, – признался Леон. И был совершенно искренен: барахольщик, *больной на всю голову*.

– Как хочешь, – пожал плечами старик. – Но слишком часто тут околачиваться... Меня ведь каждая собака знает.

– Ну, насчет этого не беспокойся, – отмахнулся Леон. И с тех пор являлся в лавку в таких невероятных обличьях, что самого Адила оторопь брала. Он вытаращивал глаза на какую-нибудь развязно ему подмигивающую американскую

туристку с рюкзаком за плечами, или на арабского парнишку с куфией на шее, или на вьедливую седую аргентинскую стерву в роговых очках. Но чаще в лавку заглядывал отец Леон, любитель древностей, францисканский монах из монастыря Сан-Сальваторе.

Старье, «некондицию», лом и негодную ветошь Адиль годами, десятилетиями сносил в подвал, куда из «задней комнаты» магазина вела низкая металлическая дверь, завешенная большим сюзане друзской ручной работы. Спускаться в подвал надо было осмотрительно – глубокий и гулкий, в древности он принадлежал церкви крестоносцев и, возможно, оказался бы еще глубже, пусти Адиль туда археологов с их лопатами. Но в подвал ныряли совсем другие личности.

Откидывался край друзского сюзане, приоткрывалась металлическая дверь, и по железной лесенке спускались Рахман или Кунья – смотря кого из своих «джо» хотел видеть Леон или кто подавал знак – просьбу о встрече.

И «джо» сидел в промозглом собачьем холоде (да же в июльскую жару), на ящиках с потрепанными книгами или на кофейном поцарапанном столике, потерявшем товарный вид лет тридцать назад, или на стопке плиток иранской керамики, в ожидании, когда отворится дверь и возникнет Леон – порой в самом странном образе.

Кроме рясы францисканского монаха, в его гардеробе имелись две абайи: темно-зеленая, с цветастой вышивкой на груди и по подолу, и лиловая, украшенная бисером (обеими он очень дорожил), а также хиджаб, целомудренно прикрывавший нижнюю половину лица: походка походкой, а щетина, как ни выбривай ее, кожу



грубит...

Да, подвал старой лавки Адиля...

Потом Леон пытался уверить себя, что *чувствовал*: его туда *вело и тянуло*... Чепуха, конечно. Просто понадеялся выпросить у Адиля очередную мятую кружку, старые четки с поцарапанными бусинами, да бог его знает – какое-нибудь старье, которое всю жизнь обожал. Копиться в том подвале могло только барахло, дрянь, никчемные отбросы: уж Адиль-то свой товар отсеивал самым скрупулезным образом. Но тогда как он мог сослать в ящик эту книгу – неужели русский шрифт попутал? Неужели внутрь не заглянул? Неужели не понадеялся сбыть товар – а ведь там, черт возьми, и год проставлен: 1800-й! Или подделкой счел, да еще и странной подделкой: на обложке – кириллица с ятями, внутри – иврит. И, главное, каким образом, каким чутьем нащупал Леон в полутьме, сквозь решетку ящика из-под пива, этот потрепанный корешок? Чудо, наваждение!

Он взлетел по ступеням из подвала, юркнул в угол «задней комнаты», заваленной рулонами ковров, и включил еще одну низко висящую лампу. Присел на корточки – и замер над гривастым львом под золотой аркой из тяжелых кубических букв: «Дом Этингера».

Да-да, Барышня, сказал он ей пересохшим горлом, «за любую цену», – и потому, что редкость и гордость коллекции николаевского солдата Соломона Этингера, и потому, что название милое-дурацкое: «Несколько наблюдений за певчими птичками, что приносят молитве благость и райскую сладость», и потому, что напечатана в типографии полоумного графа Игнация Сцибор-Мархоцкого – вольнодумца-деспота, светоча врученных ему Богом малых народов, в родовом его

уделе – в государстве Миньковецком. Господи, как тут не рехнуться...

В комнату заглянул Адиль, и Леон неторопливо поднялся, развернулся к старику и показал корешок.

– Я у тебя там, внизу, наткнулся... вот на это, – спокойно проговорил он.

– А, да, – отозвался старик, мельком глянув на книгу. – Курьез, ошибка переплетчика. Без начала, без конца... Не знаю, кому уже предложить, забросил ее совсем.

– Откуда она у тебя?

Адиль улыбнулся, покачал головой, подумал. Бывало, прежде чем ответить, он застывал на мгновение, как бы прислушиваясь к мыслям и намерениям: стоит или не стоит говорить. Умен был и осторожен чрезвычайно.

– Не помню. Может, от деда?.. Он в начале прошлого века был знаком с одним типом – Якуб Султанзаде его звали, купцом представлялся. Мутный человек, подозрительный... Торговал еврейскими книгами и какое-то время жил в доме дедова компаньона. Дед считал, что он шпион: говорил на многих языках, по-русски тоже. Исчез внезапно, не попрощался... Дурное воспитание, или кто ему хвост поджег? Дед потом всю жизнь плевался, когда его имя упоминал.

Леон помедлил, погладил корешок. И, будто минуту назад не горел страстным желанием выкупить фамильную реликвию «за любую цену», достал из кармана куртки свой охранный талисман (никогда с ним не расставался; выходя из дому, перекладывал из одного кармана в другой: тот зеленый фантик от карамели, от монаха-францисканца подарочек Барышне... «Белиссима!» – сказал монах, протягивая беспамятной старухе конфетку, и ее морщинистое личико расцвело

грустной улыбкой).

Достал и вложил между восемнадцатой и девятнадцатой страницами.

– Адиль? – спросил. – Пусть она постоит тут на полке?

Тот *взрослой* своей рукой поднял джезву с огня, аккуратно склонил черную струю в одну чашку, затем в другую. Придвинул чашку к Леону и коротко сказал: – Пусть стоит.

И два года семейная реликвия Дома Этингера служила идеальным «дуплом» для его сообщения с двумя лучшими агентами – Куньей и Рахманом. Если агент просил встречи, зеленый фантик от карамели перемещался с 18-й на 20-ю страницу. Фантик, вложенный на 30-й странице, означал опасность. Смертельную опасность: ибо тридцать дней – «*илошим*» – душа умершего пребывает среди нас.

*Именно на тридцатой странице, на смертельной опасности оставался сплюснутый временем, прилипший к странице зеленый фантик, когда Леон, не веря своим глазам, медленно, как во сне, вытянул книгу из ряда прочих букинистических диковинок, любовно выстроенных хозяином на средней полке книжного шкафа. Вынул, до последней секунды надеясь, что это всего лишь удивительное совпадение, другой экземпляр, уникальный близнец его книги. Открыл – и уперся в тяжелые кубические буквы экслибриса «Дома Этингера», а быстро листанув страницы, обнаружил и чудом сохранившийся фантик от карамели...*

*(Все было сосредоточено в этой книге: его семья, его судьба, его память, его риск и ненависть; его любовь...)*

*Впрочем, его любовь в ту минуту стояла рядом, как обычно, положив руку ему на плечо – так она слушала его, когда не видела его лица. Беда была в том, что слышала она не только речь; эти чуткие руки слышали и учащение пульса, и, кажется, даже мечущиеся мысли. И потому, ошеломленная внезапной бурей в его крови, она инстинктивно сжала пальцами его плечо.*

*– Да-да, – раздался за спиной голос хозяина дома, респектабельного лондонского дома, откуда Айя в свое время сбежала, как сбегала отовсюду. – Вы обратили внимание на этот потрясающий экземпляр? Я купил его в Иерусалиме, в Старом городе, несколько лет назад. Помнишь, Айя, старика антиквара с ущербной рукой? Меня, знаете ли, привлекло забавное сочетание: на обложке шрифт русский, а внутри – то ли иврит, то ли арамейский. Жаль, что мы с вами никогда не узнаем, что там, в этой книге...*

*Но Леон уже знал – что там, в этой книге. В книге было последнее доказательство, за которым он пустился в путь, начав его с острова Джум в Андаманском море. Последнее доказательство, неотвратно связанное с любимой рукой, что испуганно вцепилась в его плечо своими чуткими пальцами...*

Нет, никто и никогда не мог бы купить эту книгу, пока жив был Адиль.

Книга исчезла в тот день, когда его убили. И по тому, как грамотно была сломана у старика шея, как тщательно выбрано время – послеобеденного затишья в лавке, – Леон понял: Адиля убрали. Убрали те, кто проследил за Куньей и Рахманом.

Хотя безутешная Самира, старенькая жена Адиля, считала его смерть несчастным случаем: в конце концов, человек, имеющий только одну настоящую

*руку, вполне мог оступиться на лестнице и упасть, хоть и знал эту лестницу как пять пальцев своей больной руки. Самира давно уговаривала его либо построить нормальные каменные ступени, либо вообще заколотить дверь в этот проклятый подвал. «Так и лежал там, – плача повторяла она, – подвернув под себя свою бедную детскую ручку...»*

Леон обнял несчастную старуху левой рукой (на правом боку под рясой она могла почувствовать старину «глока») – кроткая душа, монах-францисканец, отец Леон...

В этом обличье он раза три бывал у них дома, и Самира знала его только как отца Леона, сицилийца, знатока-нумизмата из монастыря Сан-Сальваторе.

\* \* \*

Рахмана и Кунью, двух своих самых ценных агентов, он потерял через несколько дней после смерти Адиля.

Этим двум братьям не было цены: с их наводки были перехвачены несколько смертников с поясами, начиненными взрывчаткой, расстреляна колонна грузовиков с оружием для ХАМАСа, один за другим уничтожены лидеры трех группировок, запускавших ракеты по югу страны.

Погибли братья страшной смертью, как это водится в здешних краях. Их выкрали, вывезли в Газу и там убили.

В минутном видеоролике, выложенном на всех новостных сайтах в Интернете,

демонстрировалось, как их волокут по улицам – уже мертвых, но еще пригодных для надругательств. И вместо лиц у них было кровавое месиво, не было лиц, так что Леон, вновь и вновь запуская ролик и влипнув в монитор, не мог различить, кто из них Кунья, а кто Рахман.

Вновь и вновь заставлял себя смотреть, как волокут на веревке их тела, как безвольными макаронинами тащатся по земле голые ноги – Куньи? или Рахмана? – с обоих стянули джинсы; как озверелая толпа смыкается над мертвым телом, топча его, возбужденно и яростно возясь над ним, выкрикивая проклятья.

Он и сам сидел и выкрикивал арабские проклятья, и плакал. Он был бледен, пожираем ненавистью; он был *брат убитых* и желал только одного: убивать, убивать, убивать!

\* \* \*

– Он нужен мне целеньким, – почему-то полупшепотом сказал Леон Рону Вайсу. Капитан Вайс командовал операцией по задержанию Исмаила Раджаба, на счету которого было много чего, в том числе убийство двух солдат-резервистов, заблудившихся на своем «жучке» в Шхеме. Их просто разорвали на части, буквально, физически *разорвали*, и Леон вертелся ужом и не спал несколько суток, перетряхивая всех своих агентов. Трижды сам, переодетый, наведаясь в кое-какие лавки, забегаловки, гаражи и парикмахерские Шхема. Дважды (дородная пожилая тетюшка в темно-серой абайе) покупал баранину в мясной лавке, принадлежащей

дяде Раджаба: придиричливо перебирал куски мяса, постреливая по сторонам глазами из-под платка. Долго сидел – старый, слепой, полубезумный – в кофейне возле дома, где, по данным «прослушки», иногда ночевал шурин Раджаба, его самое доверенное лицо; сидел, перебирая четки, ошалевая от кофе и *наргиле*, бормоча рванным голосом перепутанные суры Корана... Пока наконец не собрал все сведения в *нужный букет*.

Операция, как обычно, была размечена по этапам, руководил ею опытный боевой офицер. Можно было не волноваться, но на сей раз Леон просто сходил с ума.

– Ты понял, Вайс? Он должен быть у меня в руках целым, испуганным и непорочным, как невеста. Я, – и голосом подчеркнул это «я», – буду его женихом. «Гряди же, мой суженый!» Я раздену его сам, волосок за волоском, мышца за мышцей, ноготь за ногтем...

– Кенарь, – проговорил Вайс, медлительный, как удав, и глянул исподлобья: – Иди, проветрись. Мне не нравится твое настроение. Мы просто солдаты. Мы делаем свое дело, ясно? А ты потом сделаешь свое. И не танцуй тут вокруг нас, уйди. Мои ребята должны быть собранны и спокойны.

– Я поеду с вами! – вдруг сказал он. – Хочу сам все видеть.

– Ну и видь. Сиди в командной машине. Не понимаю – ты же в любом случае получишь этого ублюдка. – И, нахмурившись, уточнил: – Это он кровавые пятерни в окне показывал?

– Он.

Фотография, на которой пьяный от крови Раджаб демонстрировал в окне

собравшейся под домом толпе свое красноречивое участие в «разделывании туш» (руки баскетболиста, протянутые в ожидании мяча), была снята шустрим французским журналистом, аккредитованным в Рамалле, и обошла все средства массовой информации, заставив кое-кого из западных политиков обронить свое смущенное и брезгливое «ай-ай-ай», так что уже несколько недель незадачливый журналист отсиживался в каком-то подвале, спасаясь от народного гнева, и все приносил и приносил оттуда испуганные извинения «палестинским борцам за свободу».

Но еще кое в чем Раджаб сыграл не последнюю роль: Леон полагал, что это благодаря ему, связному группировки «Хазит амамит», были выслежены, раскрыты и выкрадены Кунья и Рахман, это он, по сути, выкинул их толпе на растерзание; так что, пока собирались и анализировались технические и агентурные данные, разрабатывалась и планировалась операция по захвату, Леон не спал и рыскал, как голодный волк, учуявший сладостный запах свежатины.

И как голодный волк, подоспел к той минуте, когда ребята вытаскивали добычу из логова. Упитанный молодой телец, в накинута на голое тело белой рубаше, в наручниках, в повязке на глазах, споткнулся о высокий порог дома и заскулил щенком, потирая босой ступней другую, ушибленную ногу.

И тут Леон потерял себя.

Запрыгнув вслед за солдатами в боевую машину, пробрался в угол, где на скамье сидел пленный, и с волчьей улыбкой спросил:

— Как настроение, приятель?

Тот отвернулся, бормотнув арабское ругательство. Напуган, удовлетворенно



подумал Леон, чувствуя, как разливается пьянящее тепло по венам. Еще как напуган!

– *Саба-а-а-а-ба...* [25] – пробормотал он.

Все прекрасно, повторял он себе, все идет как по маслу, впереди большая работа. Он собирался просить у начальства разрешения на *специальные методы допроса* – иными словами, уж он постарается, чтобы судьба Куньи и Рахмана, как и участь погибших резервистов, хотя бы в ничтожной мере отозвалась мяснику – и не в тюрьме, где начнется санаторный срок этого борова, а в ходе следствия.

Пока возвращались на базу, Леону казалось, что он совсем успокоился (он потом и на допросах показывал – будто задался целью усугубить свою вину, – что был совершенно спокоен и «ни на минуту не терял контроля над своими действиями»).

Разве что кровавые пятерни в окне и озверело счастливая рожа, случайно вырванная из карнавала смерти французским журналистом, никак не уступали место ни единой другой мысли, ни единому намерению или желанию, подавляя все его естество. Мельком он подумал, что с утра даже воды не пил и совсем не помнит, когда и куда забегал отлить. Видел только пятерни в окне – кровавые медузы; видел, как лежит на дне подвала мертвый Адиль, подвернув под себя *детскую ручку*; как на веревке волокут по земле тела Куньи и Рахмана, их голые ноги, как макароны – по земле. И чувствовал, что это не их, а его рвали на части, волокли, топтали, насиловали...

Но и подобные эмоции он давно научился в себе подавлять, обязан был подавлять в силу профессии.

А в какой момент он вдруг ощутил *кровавое наводнение* в груди – трудно

вспомнить. Просто внезапно почувствовал, как в горло из сердца поднимается кровь, захлестывая, затопляя ненужный ему, никчемный здесь голос (*господи, как я тут оказался? что я тут делаю?!*); ощутил, как отказывают внутренние шлюзы, исправно служившие ему последние годы; как горло наполняется и захлебывается кровью, и все уже становится щель, через которую можно дышать... Да, он *нахлебался* и вот-вот закашляется, выблевывая литры *чужой крови*... Еще не хватало напачкать прямо тут, в машине, на глазах у ребят.

Перебравшись поближе к «джонни», он жадно оглядел сторбившуюся на скамье фигуру. Сдавить пальцами щитовидный хрящ – и гадина враз обмякнет. И сделать это незаметно: ребята расслабились, многие дремлют – солдат любую минуту ловит. Нет! убивать его и глупо, и преступно: за Раджабом десятки имен, сидят в нем, как в матрешке. Эту матрешку мы и будем развинчивать, спускаясь все глубже, извлекая сведения медленно, верно, азартно, артистично – до самого последнего, самого драгоценного, самого потаенного неразъемного малыша, что прячется даже не здесь, а где-нибудь в Бейруте, Дамаске или Тегеране. Нет, убивать Раджаба нельзя. Так что же? Этот молодчик с торжествующими лапами баскетболиста будет жить дальше, заочно учиться в Открытом университете, трахать на свиданиях жену и плодить себе подобных?

За последние минут двадцать пленный успел немного прийти в себя, уже не дрожал крупной дрожью, хотя непрерывно что-то бормотал себе под нос. Может, уговаривает себя, что самое страшное позади и в тюрьме его ждут почет среди товарищей, приличная жратва, спортзал и прочие увеселения, а при благоприятном раскладе года через три – ну, пять, – как и сотни других, его обменяют на тело

очередного растерзанного израильянина, и он выйдет на свободу. И будет, как прежде, готовить смертников, взрывать и убивать, рвать на куски человечину и бегать с автоматом...

Кровь поднималась, запруживая горло, уже нечем было дышать.

Нет, сказал он себе. Только не это. Только не как прежде...

*Адиль лежал, подогнув под себя детскую ручку... и ноги их волочились по земле, как макароны...*

Нет, парень. Вот бегать ты уже не будешь.

– *Мад риджлака, Раджаб*<sup>[26]</sup>, – мягко проговорил Леон.

Арестованный встрепенулся, повернул голову на голос – такой *братский*, такой родной.

– *Наам?.. риджл?*<sup>[27]</sup> – *Риджл!*

Ничего не понимая, тот слегка выдвинул вперед босую правую ногу.

Кровь поднялась к гортани, булькая уже так, что Леон едва мог говорить.

– *Баад шуайе*<sup>[28]</sup>, – заговорщицким, чуть ли не интимным шепотом приказал он, замороженно глядя на белевшую в темноте ступню. Застыл: змея перед броском. И молниеносно-мягко выхватив винтовку из рук дремлющего рядом солдата, прикладом нанес два страшных удара, дробя кости этой ступни, сладостным воплем выблевывая освобожденную кровь сердца, сливая этот вопль с диким визгом арестованного и с визгом тормозов застопоренной машины.

Из тюрьмы его вытащил Натан.

Многие недели, пока длилось дознание и шли допросы свидетелей, пока юридический советник *конторы* составлял рекомендации для отдела полиции, курирующего дела сотрудников спецслужб, с Леоном, отстраненным от должности, мало кто из коллег стремился встретиться и поговорить.

Все были здорово обескуражены. Не то чтобы этакий «упс!» не мог произойти там, где люди вынуждены копать в дерьме с утра и до утра; всякое случалось в их работе... Но, похоже, именно от Леона никто не ожидал такой дикой выходки (или, как обронил Натан, «настоящего идиотства»). От Леона, который отлично знал правила игры и неукоснительно им следовал, играя безупречно, даже с неким артистическим азартом.

Кто угодно мог слететь с катушек, объяснял Натан расстроенной Магде: солдатики, разгоряченные операцией, сопротивлением «джонни», возможностью потерь среди своих, — те, конечно, могли слегка *помесить* задержанного, такое случается и списывается на «ход операции». Но серьезный оперативник?!

— Ке-нарь?! — недоверчиво уточнял кто-нибудь из коллег или начальства, услышав эту неприятную новость в первые дни дознания. Свалить такого дурака? выплеснуть *свое личное* в таком важном деле, как работа с арестованным, вербовка, высасывание из него всей подноготной родственных, дружеских и боевых связей? Не-ет... кто угодно, только не он!

Среди коллег Леон считался мастером агрессивной вербовки, артистически проводимой мягчайшим и убедительным голосом, пробежавшим за время допроса

весь интонационный спектр, от ласковой свирели до мертвенного *шалюмо*. Именно он-то и был убежден, что физическое насилие – не лучший метод допроса; куда действеннее насилие психологическое.

Уж Леон, наш *Кенар руси*, сам как две капли воды похожий на всех этих арестованных *мухаммадов*, был особенно хорош со своим ровным, доброжелательным, а если требовалось, и сердечным арабским, со всем этим привычным...

– ...Сними-ка с него наручники и принеси нам кофе, пожалуйста. А ты расслабься, Ахмад, никто здесь не собирается тебя калечить. Смотри, Ахмад... в жизни все имеет свою цену. Весь вопрос в том, станем ли мы друзьями... Твой брат хочет работать в Иерусалиме, мы можем выдать ему пропуск на работу... Мама твоя болеет, да? Что-то с желудком, верно? Мы можем поместить ее в приличную больницу в Маале-Адумим. Ей хороший уход не помешает, правда? Ну, и немного денег тебе самому тоже не помешают, а? Хорошая невеста – недешевое удовольствие... Это если мы будем друзьями... Да ты пей кофе... бери вот вафли... И расслабься. И подумай хорошенько. Ведь если мы не договоримся, боюсь, брат твой может попасть в нехорошую историю, это легко устроить. А мама...

И если бы кто-то, прижав ухо к двери, вслушался в два голоса, беседующих на столь одинаковом арабском, отличить следователя от арестованного он смог бы только по смыслу реплик.

Конечно, именно Натан, и никто иной, приложил изрядные закулисные усилия к тому, чтобы статья приговора выглядела достаточно мягко, чтобы приняты были во внимание *то и это*, и состояние аффекта, и депрессия после потери ценных

*агентов*, и длинный послужной список блестяще выполненных операций, и рекомендации *шокированного*, но все еще горой стоящего за него начальства...

Тем не менее Леона («временно, временно, не вешай нос!») отстранили от дел, не говоря уж о том, что в ближайшие месяцы ему предлагалось поработать на пользу общества: санитаром в тюремной больнице, откуда три месяца спустя его выудил мрачный Натан, при встрече первым делом мстительно заявивший:

– Ничего, не сахарный, на чем-то надо учиться...

\* \* \*

Тюрьма «Маасиягу» находилась в Рамле, так что из Иерусалима Леон каждое утро добирался *до места* на мотоцикле: *ничего, не сахарный*, само собой. Но однажды после работы случайно столкнулся с Ури, своим однокашником, тотальным ударником, которого в первую минуту просто не узнал: Ури «вернулся к вере», но в каком-то ее *барабанном воплощении*. Он сколотил «Ансамбль истинно верующих» – таких же, как он, чокнутых молодых хасидов, и вчетвером они снимали пятикомнатную квартиру в Лоде, где по ночам изучали каббалу, дрыхли до обеда, а вечерами выступали в разных заведениях, порой сомнительного свойства – в ночном клубе для геев, например.

Одевался Ури в соответствии с полным религиозным протоколом: черная шляпа, черные засаленные штаны, спущенные под брюхо самым рискованным образом, мятый перекошенный талес поверх несвежей рубашки. Он располнел и

отрастил страшную густую бороду Карабаса-Барабаса.

– Не мешает? – поинтересовался Леон, кивнув на заросли, из которых торчал костистый нос и сверкали алчущие ритма тревожно-птичьи глаза.

– Я под талес пропускаю, – пояснил Ури, неумными пальцами выстукивая синкопы на собственном тугом животе.

Они зашли в бар, на крошечной сценке которого через полчаса Ури должен был «бить-колотить», выпили по коктейлю – и Леон просидел там до часу ночи, не отводя замороженного взгляда от нежных, грозных и опасных рук Дикого Ури, творивших страсть и ужас, ласку и любовные вздохи на натянутой коже обычной тарабуки. Это был шквал налетевшей грозы: удары безжалостного грома, треск падающих деревьев, смертельная битва в конце времен и блаженный конец света в медном ореоле двух грянувших друг о друга тарелок, которые Дикий Ури как бы отшвыривал от себя в неистовом прощании с миром.

Назавтра Леон перебрался к каббалистам, в их шумную, веселую и довольно нелепую общагу. Выгода от перемещения была огромна: в бензине, во времени, в отсутствии оголтелой Владки. Главное, до известной степени он стал невидимкой: каббалисты-хиппи не обращали на него никакого внимания, сослуживцы и приятели оставили в покое.

Предоставленный себе и новым обстоятельствам, Леон мыл полы в тюремной больнице, возил белье в тюремную прачечную, перестилал постели и выносил утки за теми, кого вчера еще допрашивал с пристрастием. И, казалось, навеки пропах тем особо ядреным запахом дезинфекции, которую практикуют в тюрьмах, казармах и домах престарелых.

В конце концов позвонил Натан и грубоватым тоном, каким говорил обычно, если «имел пару хороших новостей», назначил свидание – просто подъехал к тюряге после работы. Когда Леон вышел из ворот и приблизился к машине, Натан оторопел: в общаге каббалистов тот запустил смоляные кудри и жесткую угольную бородку, преобразившую его так, что, даже опознав Леона, озадаченный Натан не сразу открыл навстречу дверцу.

– У тебя так стремительно волосня прет, – заметил Натан, когда тот плюхнулся на соседнее сиденье. – Самсон, да и только.

– Да, – скупой отозвался Леон, не глядя на него. – Еще немного – и обрушу на себя своды тюрьмы.

Они и поговорили там же, в машине, отъехав от ворот метров на триста. Добрую весть, *добытую с некоторыми специальными усилиями*, Натан выкладывать не торопился; в сильном замешательстве разглядывал бледное лицо, картинно обрамленное кипяще-смоляными кудрями, и слушал скудные ответы, которые Леон едва выцеживал.

– Ты как-то... опустил, – хмуро заметил Натан. – Почему бы тебе не побриться? Возьми себя в руки, Леон. В чем дело: ты потрясен, уничтожен? Кем – собой, системой? Организацией? Только не делай вид, что перепутал *контору* с филармонией и теперь оскорблен в лучших чувствах: *они фальшивят!* Что, собственно, произошло? Ты сорвался и покалечил подонка. Так он же вообще не должен по земле ходить! Да, это – нарушение, превышение, недопустимое такое-



сякое, преступное эдакое-такое... и хватит уже! О'кей, ты отбыл наказание. Вернее, *наказаньице*. И скажи спасибо, что весь твой *голливудский шик* обошелся без объектива очередного говнюка-журналиги. Тогда бы вообще никто не отмылся, включая твое начальство.

Он вздохнул, опустил покалеченную руку на колено Леона.

– Похудел, истощен... Ты что, не жрешь ничего? Посмотри на себя. Судя по тому, что я читал в твоём деле, за последние месяцы ты курировал уйму операций, мотался бог знает куда, брал на себя бог знает что и занимался несколькими делами одновременно. Ты просто вымотан до икоты. В общем... Помимо того, что можешь обернуться и послать тюрьме прощальный привет, я договорился о... некоторой передышке. Считай, об отпуске. Потом, позже обсудим кое-какие возможности... э-э... смены декораций. Пока отдохни, съезди куда-нибудь на неделю. В Эйлат, скажем. Поваляйся, что ли, на пляже. И побрейся наконец, оперативник! Ты что, *шиву* сидишь?<sup>[29]</sup>

Ну, *шиву* или не *шиву*, а от каббалистов он добирался домой в тот вечер как был – заросший, лохматый, одичавший и настолько напоминавший тех, кого ловил и допрашивал, что удивительно, как это полиция не остановила его по дороге в Иерусалим.

А дома ждало вечное испытание: отсутствие жратвы и «каламбурная» Владка. Но все-таки это был дом – все та же крохотная квартирка в полуподвале, заполненная жизнью по самые окошки.

Владка открыла дверь на его два коротких и длинный, взвизгнула, повисла у

него на шею, ущипнула за задницу, потрепала за бороду, за ухо, запустила пятерню в его и правда львиную гриву и – не спрашивая, как и что, – побежала звонить какой-то подружке, оставив стоять разинутой посудомойку (Леон купил ее полгода назад, и Владка относилась к ней ревностно, как ребенок к новой игрушке: загружала, разгружала, нажимала кнопки...).

В холодильнике Леон обнаружил последнюю баночку йогурта, открыл ее и уселся за откидной столик, который сам придумал и сам привинтил к стене. Слыша, как Владка в разговоре несколько раз назвала его имя, машинально прикрикнул:

– А ну уймись!

*Когда-то, в самом начале работы, он прикрутил под Владкой фитилек, просто и незатейливо пообещав, что прибьет, если она с кем-то станет обсуждать, где он, когда приходит-уходит и вообще кто он такой.*

*– А кто ты такой? – с испуганным интересом спросила она, вытаращив глаза.*

*Он ласково сказал:*

*– Никто. Сынок твой Левка.*

*– Левкой тебя называла Баба, – возразила Владка.*

*– Вот и ты называй, – отозвался сын. Один из его паспортов, самый надежный и используемый, был изготовлен на имя Льва Эткина.*

*– Я сынок твой Левка, работаю в аэропорту на досмотре багажа. Такие дела.*

Что делать сейчас, завтра и через неделю, он не знал. Во что превратилась его жизнь и почему он стал специалистом по отслеживанию, преследованию и

убийству плохих парней, по допросам, обманам, вербовке, ликвидации, переодеваниям и выстраиванию смертельно опасных ходов и ситуаций, он мог бы объяснить со всей убедительной и ясной силой (он умел убеждать, в том числе и себя) – только не сейчас. Сейчас не хотелось.

И ради самой благородной цели, ради подписанной и пропечатанной небесной гербовой печатью справки, выданной на исполнение трижды заслуженной и четырежды благородной казни, – все равно не хотелось.

С чего ты взял, что в этой бойне останется нетронутым твое страдающее музыкальное нутро? С чего ты взял, что не захлебнешься в этом кровавом круговороте? Где твой кларнет, парень? И почему ты так давно не брал его в руки?..

Стоп, сказал он себе, тормозим. Мы это обсудим на днях. На днях, понял?

– Лео, – возбужденно спросила Владка, положив телефонную трубку. – Ты знаешь, что это: манда?

Он поперхнулся йогуртом, откашлялся, невозмутимо отправил в рот следующую ложку, бормоча:

– Неплохо, неплохо...

– Да нет, я имею в виду: знаешь, где это находится?

– Ну... догадываюсь, – отозвался он.

– Ты там бывал, а?

Отставив недоеденный йогурт, Леон молча воззрился на мать. Она невозмутимо глядела на него своими *кружовенными* глазами.

– Тебе побриться надо. И помыться. Ты прям как убийца: страх и ужас. Я в смысле... это ведь где-то у нас, да? Город или кибуц?

– А! – Он вновь принялся за йогурт. – Тогда ударение на первом слоге: Ма́н да. Кфар-Ма́н да. Это арабская деревня в Галилее.

– Так это ж здорово! – с энтузиазмом воскликнула Владка. – Тогда ведь можно его отыскать, ага?

– Кого? – морщась, уточнил сын. Он терпеть не мог этой ее манеры строить разговор с заднего крыльца.

– Твоего отца, дура-аха... – улыбаясь, пропела мать, метнулась к посудомойке, принялась загружать ее грязной посудой, накопленной за неделю. Она всегда копила. – Просто сегодня по радио услышала и вдруг ка-а-ак вспомнила: он же называл деревню! На страну, *понимаешь*, тогда внимания не обратила, не до того было. А вот это название прямо врезалось в память, потому что он мне на танцах его сообщил. Мы танцевали медленный танец, и я спросила, откуда он, собственно, родом, и сквозь музыку – там так грохотало! – он крикнул: «Манда!» Я ему: что-что?! Он уже громче: «Ман-да!» Так ему даже пригрозили, что выведут за сквернословие. А правда: неприлично как-то звучит, смешно, а?..

...Мгновение спустя она обернулась на его молчание и выронила ложку. Вернее, положила ее мимо посудомойки, попятилась, локтем задела бокал, из которого Леон только что выпил воды, и бокал упал набок, покатился и хряпнулся в раковину, где рассыпался на мелкие осколки.

У сына было окаменелое лицо. Страшное лицо.

– Чё эт ты? – поинтересовалась она. – Лео, ты чё? Живот болит?

Леон смотрел на мать так, словно минуту назад впервые увидел эту дикую

женщину и не может понять, каким образом и зачем она тут оказалась.

– Ты хочешь сказать, – наконец проговорил он ровным, любезно-бесстрастным тоном, каким говорил на допросах с убийцами, – что родила меня от араба?

– Выходит, так, – бодро отозвалась она.

Этого его тона она побаивалась. Было уже несколько случаев, когда она понимала, что сейчас он ее убьет. Может убить. И тогда он непременно бил что-то важное и нужное. Вот самокат ее раскурочил – саданул со всего размаху об стенку. А эта стенка – ей что сделается? Натуральный камень в метр толщиной... А однажды схватил нож и изрезал себе руку – сильно, швы даже накладывали. То, что сын – человек опасный, она знала с самого его детства. Но никогда еще у него не бывало такого лица: одновременно отрешенного, даже не телесного, а будто вырезанного из какой-то твердой блестящей породы дерева, и страдальческого.

*Его всегда интересовали странные реакции человеческого организма. Шаули, который лет с двадцати пяти, возжаждав знаний, принялся жадно глотать и переваривать разные курсы и степени в университетах – причем в разных университетах, – недавно «брал» курс по психологии и рассказывал много интересного про механизм так называемых «неадекватных реакций». Например: что это было там, в армейском «рыцаре»? Что произошло с безупречным механизмом его, Леона, высокомерного спокойствия на допросах? А вот сейчас: почему после кошмарного Владкиного признания он ощутил только полный покой – светлый и страшный, глубоководный покой; должно быть, такой настигает ныряльщика, решившего больше не возвращаться наверх... Чувство, что ты не*

имеешь отношения к самому себе, что ты покинул границы собственного тела и смотришь на себя, такого-то, с таким-то именем, откуда-то сверху? Ощущение, близкое к обмороку.

Ты выходишь из дома в арабской деревне и, лежа на горе, стреляешь в себя снайперской пулей, что раскрывается в тебе, как цветок. И слышишь внутри шум чужой, враждебной крови, что прокачивается по твоим венам и артериям, поднимаясь к самому горлу, и надо скорей отворить вены и выпустить из себя до капли все отравленные душной ненавистью потоки. И мелкие, как стайка рыбок – случайный подводный сор, – мысли: где-то в неофициальной биографии Фета (да, именно Фета, с чего бы?) читал о потрясении, какое испытал он, ярый антисемит, узнав (мамочка призналась на смертном одре, мамочка, высокий образец русской женщины), что отцом его был курляндский еврей, то ли мелкий торговец, то ли еще что-то такое... ужасное.

И Фет был уничтожен, раздавлен и документы о позорном своем происхождении велел положить с собой в гроб.

Но вот что любопытно с точки зрения той же проклятой психологии: вы нос-то свой, Афанасий Афанасьич, никогда прежде не видали – до мамочкиного признания? Ну, а вы, вы-то, Леон мохаммадович, или хусейнович, или как-вас-там-еще, – вы, последний по времени Этингер, видали свою рожу? И что ж вы себе насчет этой самой рожки насочиняли, а? Какую такую средиземноморскую, чуть ли не сардино-итальянскую, чуть ли не испано-португальскую романтическую отцовскую легенду невзначай придумали? Да так еще придумали, что никогда ни единого вопроса Владке и не задали – а почему? На всякий случай? Чтобы она

*ненароком не вывалила вам неудобной правды? Да она ее и сама не знала – мадонна с младенцем, святая душа...*

Ее надо убить, сказал себе Леон, медленно вращаясь в тихом гуле подводной раковины. Просто убить. Эту гадину. Сейчас же. Чтобы никто *далее* не узнал.

Мать стояла, спиной опершись о кухонный шкафчик, как всегда, глядя на сына с доверчивым ожиданием праздника: вечный его ребенок, врушка, актриска, изобретательница; любимый зеленоглазый, потенциально опасный сюрприз.

– Значит, ты не нашла в Одессе никакого иного занятия, – медленно произнес он с ледяным отчаянием (по краю сознания метнулось: диалог оскорбленного отца с дочерью-шалавой), – кроме как путаться с арабской швалью...

Владка сказала просто и сильно:

– Он не шваль! Он был очень хорошим. Нежным и робким. Говорил: «Почему ты всегда опаздываешь, ведь я готовлю свое сердце к семи!» И если б у него не умер отец, все было бы по-другому! – Она была абсолютно уверена, что говорит истинную правду, которую к тому же сыну хочется услышать. – Но он уехал и не вернулся. Говорил, старшие братья строгие. А если б вернулся, мы поженились бы, вот.

*...Вы «поженились бы, вот». И тогда я родился бы и вырос в каком-нибудь Шхеме или Рамалле, и взрывал автобусы, и в меня стреляли бы снайперскими пулями, что распускаются в теле, как цветок.*

Он схватился за щеку, будто зуб заболел, и промычал, покачиваясь:

– Боже, тебя надо убить, убить... Тебя ж надо просто убить!

(В эту минуту она не сомневалась, что сын вкладывает в данное слово не переносный, не эмоциональный, а вполне обиходный и прямой смысл, наработанный им таким же обиходным – и тоже простым, как она подозревала, – действием.)

– Это тебя надо убить! – запальчиво крикнула она с потрясающей своей готовностью к отпору. – Я тебя сколько раз просила ставить бокалы в *пseudомойку*! Вот я бокал из-за тебя разбила!

Он секунд десять смотрел на нее и вдруг истерично расхохотался, и хохотал долго – до слез, до икоты.

Наконец опомнился. Некоторое время неподвижно сидел, сосредоточенно глядя в угол.

– Что с тобой стало, Леон? – спросила мать, с недоумением разглядывая диковатое, обросшее, в пугающе спутанных космах лицо сына. – Что с тобой стало... в том аэропорту?

Он глухо проговорил:

– «Мандуш асаль анду аль-атиль»<sup>[30]</sup>. – И, усмехнувшись: – Впрочем... *Какая в том беда Дому Этингера...* Да?

Вскочил и выбежал прочь – от греха подальше.

\* \* \*

Блоха, заблудившаяся на изнанке ковра: узор тот же, но узелки, узелки... ни



черта не разобрать. Вот такой блохой он был, таким ему помнился короткий и тошнотворный период его жизни перед отъездом в Россию: мутный водоворот никчемных дел и бессмысленных шатаний, дурной аттракцион кривых зеркал, невнятица-бормотня, тяжелый сон...

Только Шаули, простодушный друг, к которому он переехал «пожить» на неопределенное время, но избегал говорить о своих делах, уходил из дому по утрам и пропадал до позднего вечера, а иногда и возвращался под утро, – только лицо Шаули осталось в памяти естественным: ни притворного сочувствия, ни натужной приветливости. Впрочем, в тот период Шаули и сам был чертовски занят в одной операции, то и дело исчезал, а вернувшись, просто заваливался спать, ничего не рассказывая и не объясняя. Друг с другом они общались короткими бытовыми фразами или оставляли записки: «Хорошо бы хлеба купить», или: «Хумус кончился».

И еще – Иммануэль.

В тот поздний вечер, когда небритый, обросший, нечесаный, провонявший специфическим запахом *заведения* Леон примчался к нему на мотоцикле и, ворвавшись в спальню, прямо с порога всё вывалил, старик глянул на него поверх очков и невозмутимо предложил... выпить.

– Seriously, – сказал добродушно, всем своим уютно-вечерним видом отменяя смысл короткого слова, только что выхарканного Леоном с такой горечью. – Налакайся, как свинья, и отлежись у меня денька три.

Велел ему принести из бара бутылку коньяка, но тотчас передумал и послал на

кухню за водкой: – Жаль на твою дурь тратить приличный напиток, – пояснил чуть ли не весело. – И помоги одеться, – приказал, – если уж свалился на голову среди ночи. Мои ужасные нубийцы терпеть не могут этих карнавалов с внезапным переодеванием. Они считают: уж лег так лег, старина! Дрыхнут, наверное...

«Карнавал» с поэтапной сменой пижамы на брюки и халат, с осторожным перемещением иссохшего старика в кресло (обиходные действия внутри разумного и милого сердцу Леона миропорядка) немного его успокоили.

– Жаль, что ты не алкаш, – заметил Иммануэль, наливая водку в белую чашку, из которой обычно запивал лекарство. – Это ведь благословение божье – забыться.

Вообще-то, Леон любил мягкие коктейли, как любил когда-то рюмочку Магдиной вишневки или сливянки; в барах проводил иногда по несколько часов, сидя над одним бокалом. Водки терпеть не мог, но сейчас послушно выпил, потому что с детства слово Иммануэля было законом. Глотнул с омерзением, содрогаясь своим драгоценным горлом.

– Нет, – покачал головой Иммануэль, наблюдая эту *позорную* картину. – Не дано тебе, малый, такого счастья. Не заберет и не поможет, это уж очевидно. Проклятая, трезвая еврейская голова!

И когда Леон вскинулся (с лицом, искаженным отвращением и мукой) в попытке вновь *выговорить* свое *новое естество* (как недавний вдовец к словам «моя жена», запинаясь, непривычно добавляет «покойная», сам не веря тому, что произносит его язык), Иммануэль поморщился и раздраженно поднял ладонь, останавливая его:

– Этот вздор настолько выбил тебя из седла, цуцик? Мне... – и, чеканя каждое

слово: — ...досадно — это — видеть!

За годы в их отношениях сложился свой языковой протокол: наедине друг с другом они говорили по-русски. Иногда Иммануэль перескакивал на иврит, если речь заходила о каких-то забавных израильских типах, историях или сценках (он называл это «местным колоритом»). Но любой важный разговор наедине вручался одному лишь посреднику: русскому языку. И тогда Леон чувствовал, что между ними протянута особенная, проникновенная родственная связь.

— Кровь?! — презрительно воскликнул старик. — Недалеко бы мы ушли, вышеживая свою дутую чистокровность сквозь сито всех гетто, погромов, крестовых походов и костров инквизиции. Нет, парень: *кровь сознания* — вот что имеет значение. Вот что нам удалось сохранить и взрастить в поколениях. Такой сорт мужества: помнить, не расслабляясь и не размякая на *душевный отклик чужого*, ибо он тоже — вздор и дым; он тоже — до первой увертюры партайгеноссе Вагнера...

В дверях появился Тассна — то ли не спал, то ли проснулся от голосов. Ревниво нахмурился, застав старика уже в кресле, одетым, да еще с бутылкой спиртного.

Налив себе водки, Иммануэль движением руки остановил протестующего «нубийца» и выпил из своей «лекарственной» чашки просто и легко, не закусывая.

— Эх, вот бы так помереть: с последним глотком водки в желудке, — заметил он. Снял очки и, щурясь, принялся задумчиво разглядывать Леона, как незнакомца. — Видал, как надо мной трясутся мои нубийцы? Боятся потерять работу, когда я откину хвост. А я ведь очень скоро его откину. Поэтому позволь я договору — на всякий случай. Вот ты мне сейчас — о крови, в которой ты заблудился. Удел чистокровности! Хо, это слишком просто, цуцик. Для нас — это слишком примитивно. Это как плыть

по течению: родился, принадлежал, упокоился с миром. Это для баварского крестьянина с перышком на шляпе. Нет: бесстрашие – *принять* долю, и больше того – *приговорить* себя к этой доле. Бесстрашие перед своим одиночеством, *высокомерие одиночества – сквозь тысячелетия улюлюканья, насилия и подлой лжи...* Готовность продолжать путь с одним попугайчиком – с самим собой, и даже Богу не позволить обзавестись атрибутами, дабы не поддаться искушению нащупать его бороду и пустить в нее слюни. Вот это – наш удел. Так что утри сопли и пошел в душ – от тебя разит черт знает чем.

Обернувшись к Тассне («если уж ты сам явился, парень!»), старик принялся давать ему указания – что там поджарить и какую на скорую руку соорудить жратву для этого странного и очень позднего ужина или очень раннего завтрака – цуцик, видимо, одурел от голода, надо его покормить.

– Да, и салату принеси, того, из холодной говядины. Одарим гостя луковой розой Виная.

И когда Леон направился к ванной, Иммануэль крикнул ему в спину:

– После в бассейн непременно! Мы сегодня воду меняли. Поплавай, отмокни, я на тебя полюбуюсь – красивый ты, как... суч-потрох! А потом поужинаем.

Минут через десять Леон – в полотенце, накрученном на бедра, – вышел в патио, где старик все еще командовал Тассной, сердился, что-то доказывал. Кажется, требовал добавить в соус горчицы или сахара. Но Тассна оставался невозмутим и несокрушим в своем поварском достоинстве. К тому же сахар старику не полагался из-за диабета. Как и водка.

Тут же присутствовал заспанный Винай; видимо, решил, что без него не справятся.

Нечего сказать, устроил переполох этот поздний гость.

– Я не нашел там плавок, – сказал Леон.

– Какие плавки, плюхайся так! Аллах тебя простит, а баб мы не держим.

– Хочешь, покажу, сколько могу жить под водой? – неожиданно спросил Леон, снимая и отбрасывая на кресло полотенце.

– Валяй.

– Засекай время! – крикнул тот, вдохнул и ушел под воду.

Невозмутимый Винай следил, как в толще воды подсвеченного и просиненного голубой плиткой бассейна плавно кружит сильный гибкий угорь, то зависая в неподвижности, то устремляясь вперед, то свертываясь в клубок и вращаясь в медленном танце. Иммануэль велел подвезти коляску к бортику и смотрел в воду с нарастающим напряжением. Трижды кричал:

– Bravo! – сначала с восхищением, затем с тревогой и, наконец, все сильнее вцепляясь в ручки кресла: – Ну, bravo же, вылезай, суч-потрох! Я верю, ты отрастил жабры!

Еще три-пять-шесть невыносимых секунд Леон дал на заключительный аккорд. И лишь когда Иммануэль завопил:

– Хватит, идиот! – выбил тело вверх, хватанул ртом, гортанью, легкими воздухом, еще, еще (маленько перебрал, это правда), подплыл к бортику бассейна, подтянулся и, шумно дыша, лег на него грудью, щекой, бессильно разбросав руки.

– Ты что, спятил?! – брызжа слюной, крикнул старик. – Еще секунда, и мои нубийцы прыгнули бы тебя выволакивать.

По виду обоих этого не скажешь, подумал Леон. Тассна повернулся к брату и что-то негромко сказал ему по-тайски.

– Переведи, – попросил Леон Виная.

– Тассна время засек: семь минут тринадцать секунд, – улыбаясь, отозвался Винай по-английски. – Говорит, ты как рыба в ручье на нашем острове. В тебя хочется воткнуть багор, вытащить и зажарить.

На ужин они как раз и подали жареное филе амнона с какими-то приправами, которые привозил из дому Винай. (Тот вообще довольно часто отлучался: кажется, у него осталась дома то ли больная мать, то ли больная сестра. Во всяком случае, Тассна научился управляться со стариком один, тем более что с годами тот все больше усыхал, превращаясь в тщедушного ребенка.)

Кроме рыбы и салата, как всегда украшенного восхитительной розой из лиловой луковицы, «ужасные нубийцы» подали фирменный напиток из апельсина с клюквой, который можно было пить канистрами; Леон заглотал чуть ли не целый литр и ожил.

Они сидели за раскладным столом у кромки бассейна, и хотя ночь стояла душная, влажная, пропитанная запахами жасминовых и миртовых кустов, неукротимо разросшихся в том году по периметру патио, от свежей воды поднималась волна пролады, и сам бассейн, пронизанный золотыми струями электрического света, казался голубым кристаллическим кубом на гигантской

витрине какого-то вселенского ювелира.

– Отпусти ребят, – сказал Леон. – Я сам тебя уложу.

– А знаешь, что я заметил? – задиристо спросил Иммануэль. – Ты не слишком жалуешь моих ужасных нубийцев.

– Глупости, – возразил Леон. – Напротив, я им благодарен: они так нежно за тобой приглядывают.

Да, «нубийцев» он не любил. Переходил на русский, когда они появлялись. Просил Иммануэля никогда в их присутствии не заговаривать о его работе. Да они ни бельмеса в иврите, говорил тот и даже обижался: был привязан к своим незаменимым «сиделкам». Леон упрямо считал, что постоянно звучащий в доме иврит за все эти годы мог бы осилить кто угодно. Но к чему искать смысл и подоплеку в летучей смене тональностей, в такой изменчивой материи, как симпатии и антипатии?

Он не любил «ужасных нубийцев». Не любил, и все. И сейчас настоял, чтобы Иммануэль отправил их *отдохнуть* – ведь они действительно тяжело работали в этом доме.

Леон сидел за столом в банном халате Иммануэля и старался слушать старика. А тот, оседлав любимого конька, все говорил и говорил, и это была милосердная для Леона возможность помолчать; блаженная пауза, свобода вдоха. И он молчал, время от времени судорожно втягивая влажно-пахучий воздух; дышал глубоко и часто, будто слишком долго пробыл под водой – не в буквальном, в каком-то совсем ином смысле, – а сейчас его выбросило наружу с пружинной силой, и можно просто

молчать и жадно дышать миртовым воздухом ночного сада, прикрывая клапан над свищом пронзительной боли, над неотвязной мыслью, что *все кончено* (что, что кончено?!), что мать уже не будет матерью, Владкой, его неразумным ребенком (точно, зачиная его, она обязана была подать прошение в какую-то специнстанцию), что вся жизнь уже не может быть прежней.

Здесь он дышал, слушал, не слушал, рассеянно кивал, глядя, как в струе желтого света – от лампы, зажженной в холле, – подрагивают, колеблемые слабым ветерком, сабельные листья старой пальмы.

– Вот в чем парадокс, – говорил старик, расправляя салфетку на коленях. – Отдельный интеллектual может гордо отрешиваться от своей веры и своего народа, провозглашая надмирность; может, как Пастернак, страстно проповедовать идею полного растворения, может всем своим существом служить культуре, языку, искусству народа, в среде которого родился, вырос и живет. Такая самоустановка порой свидетельствует о силе духа, о характере человека, об оригинальности таланта. Отпадение от общины и духовное одиночество (возьми великого Спинозу) могут вызывать сочувствие, могут даже восхищать – особенно когда влекут за собой проклятия, плевки в спину, анафему со стороны соплеменников. Но совсем иное дело – народ в своей целокупности: суть народа, тело народа, его пульсирующее и вечно обновляющееся ядро. Тогда ассимиляция – самое страшное, что можно любому народу пожелать. Тогда ассимиляция – растворение, исчезновение, назови как угодно – совсем не воспринимается доказательством силы или характера народа, наоборот: это свидетельство слабости, импотенции, истощения духа, одним словом



– невозможности *продолжать быть*. Помнишь, в пророчестве Эзры есть и такое: народ, мол, ослабнет до того, что не смогут всем скопом зарезать петуха? Это всегда следствие каких-то ужасных геополитических катастроф: войн, эпидемий, изгнания с земли предков, истончения генетической материи рода; попросту – вырождения... Разве может восхищать судьба исчезнувших Древнего Рима или Египта? Свидетельства мощи их цивилизаций – да, весьма поучительны и прекрасны; но кто согласится разделить подобную судьбу?

*Леон давно научился определять, когда Иммануэль совершенно серьезен и искренен и по-настоящему увлечен ходом своих мыслей. В такие минуты старик не следил за тем, чтобы «цуцик» брал попробовать то и это, и не прерывал свою речь, дабы спросить, согласен ли Леон, что Тассна готовит «суси» лучше любого долбаного японца? Короче, Леон прекрасно чувствовал те минуты, когда Иммануэля нужно внимательно слушать и помалкивать – вне зависимости от того, согласен ты с ним или нет. Сейчас старик говорил с какой-то страстной убедительной силой – не только для «цуцика», стоящего в начале пути, но и для себя, чей путь пройден. Это была выношенная всей его жизнью правда, подведение самых важных, самых сокровенных итогов.*

– Отсюда наше брезгливое презрение к выкрестам, к их предательской истовости, – продолжал он. – Отсюда. Ведь своей частной судьбой, своим частным уходом они – пусть на мельчайшую долю, на какой-то атом, микрон, какие там есть еще невидимые глазу частицы и величины? – ослабляют *тело народа*, предавая даже

не саму общину, а память предков; пусть и задним числом предавая могучую *волю быть* своего народа, разодранного на части, выдернутого с корнем из своей земли, отринутого всеми за какие-то мифические вины, но сохранившего главное: память и *кровь сознания*. Главное – память. Могучий корень общей генной памяти, уходящий в тысячелетия... Ты можешь возразить – но как же личность? Что есть личность, которая всегда противостоит общине?..

*...Обрывки этих разговоров, смысл отдельных фраз будут и дальше неожиданно всплывать в памяти Леона, настигать его в самые неудобные минуты жизни – будоражить, раздражать или, напротив, помогать. Наступит время, когда он будет всерьез задумываться то над одной, то над другой мыслью Иммануэля, будет спорить с ним, отрицать, удивленно соглашаться...*

*Но в те минуты, когда сидел у бассейна в банном халате старика, рассеянно поддевая вилкой кудрявые остатки луковой розы на тарелке, – в те минуты Леону было не до рассуждений. Может, потому он и ухватился за неожиданную мысль Иммануэля, вначале показавшуюся такой нелепой; за его предложение, а скорее, задумчивое предположение...*

*За попытку найти выход.*

– Тебе надо уехать, – сказал старик внутри какой-то фразы, внутри незаконченной мысли, потянувшись – через запятую – к плетенке с хлебом.

Леон застыл над тарелкой, вопросительно на него глядя.

– Куда? – спросил, помолчав.

– К чертовой матери. Неважно. Послушай меня, цуцик. Тебе надо поступить сейчас так, как испокон веку поступали наши предки: смени шкуру, сбрось эти лохмотья. Сейчас лучший выход: выпрыгнуть из повозки и бежать в другую сторону от своей колеи – как можно дальше; так далеко, насколько хватит сил. Кстати, мне никогда эта твоя колея не нравилась.

– Не вижу, чем бы я мог заняться, – пробормотал Леон, пожимая плечами.

– Ты?! – с презрительной силой воскликнул старик. – Ты не видишь, чем бы тебе заняться, кроме как ловить за яйца арабов?! Может быть, ты еще подашься в телохранители к пузатым нефтяным царькам где-нибудь в Кении или Замбии – говорят, наши ребята после армии нанимаются к ним сплошь и рядом?! Что с тобой случилось – у тебя украли кларнет? Ты разлюбил музыку? Ты больше не музыкант? А кто ты тогда?

И перегнувшись через стол, экономно застланный дешевой одноразовой скатертью, зависнув над тарелками с остатками рыбы, старик внятно проговорил:

– Поезжай учиться музыке. Куда потянет – в Лондон, в Париж. В Москву. Выбирай.

– В Москву? – переспросил Леон с неуверенной улыбкой.

– Чего ты улыбишься?

– Да так... Вспомнил, как в детстве наш хор выступал в Колонном зале Дома Союзов. И я солировал.

– Вот и поезжай в Москву, – отозвался Иммануэль, спокойно откинувшись в кресле. – Если я хоть в чем-то понимаю, там сейчас интересно. С удовольствием оплачу этот вираж, я люблю американские горки. – И взглянул на Леона исподлобья:

– Готов платить, чтобы ты вынырнул на поверхность и вдохнул наконец воздух. Сегодня я был впечатлен твоими идиотскими забавами, с меня довольно. Знаю, о чем ты думаешь, – ворчливо продолжал он. – Да, *контора* держит крепко, и твоя идея не понравится. Несмотря на то, что ты отчебучил, и на то, что тебя следовало бы выкинуть на улицу, эта идея никому там не понравится. Но ты будь тверд, потому что тебе до зарезу нужно смыться – поверь, в этих делах я понимаю, я и сам смывался не раз. Например, от женщин. Не хочу в душу лезть, но ведь у тебя и на этом фронте *есть от кого бежать*, а? И мой совет тебе, цуцик: мать оставь в покое, она ни в чем не виновата и ничего тебе не должна. Не смей ее казнить. Она и к пятидесяти мозгов не нажила, а уж в юности... представляю, что это была за огненная комета!

Он помолчал, то ли ожидая реакции Леона, то ли намеренно выдерживая паузу. Наконец проговорил, почему-то понизив голос:

– И еще совет, последний. Не выкладывай каждому встречному *тайну рождения Железной маски*. Даже если тебе кажется, что это убедительный аргумент... в пользу чего бы то ни было. Не открывай левого бока никому, даже друзьям. Особенно друзьям. – Он хлопнул по столу легкой старческой ладонью: – А насчет *конторы*... Предоставь это мне.

\* \* \*

Но и после разговора с Иммануэлем он медлил, ни на что не решаясь. Это был

странный отпуск – он просто шлялся по Иерусалиму, не зная, куда себя деть.

В те дни ему на улицах, в пабах, на рынке попадались люди, с которыми он был когда-то знаком, но давно их не видел, давно не встречал, даже слегка подзабыл. Например, хозяйка их первой иерусалимской квартиры или лавочник – тот, что тринадцатилетнему Леону обещал заработка бога... Леон-то с тех пор зарабатывал неплохо, а вот бедняга бог, судя по всему, по-прежнему пребывал в вечном и глубоком «минусе».

Встречая полузабытых людей, Леон говорил себе, что это в порядке вещей: когда без дела болтаешься по городу, да еще по такому тесному и домашнему городу, как Иерусалим, рано или поздно рискуешь столкнуться нос к носу с собственной физиономией. И все же в глубине души воспринимал этих людей посланцами, а встречи – неким *прощанием*.

То ли с городом, то ли с самим собой.

Особенно его задело неожиданное свидание с *главным посланником* – с Аврамом.

Однажды вечером Леон просто застал его у Шаули. Гость сидел на кухне за столом, а Шаули заваривал чай и нарезал пирог – и то и другое Аврам, как обычно, притащил из своего супермаркета.

– Ты... как ты меня нашел? – спросил Леон, застряв от изумления в дверях кухни. – Где ты адрес достал?

Аврам лишь укоризненно усмехнулся:

– «Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, Который дает песни в ночи?...» Ты что, думал, один *парси* не узнает, где *ба Арэц*<sup>[31]</sup> живет другой *парси*?

Шаули (по некоторым признакам, он был не в восторге от ситуации) сухова­то объяснил Леону: его отец в молодости работал с младшим братом Аврама на стройке в Холоне, что, вообще-то, ничего Леону не объяснило.

Зато Аврам, прямодушный и благородный, как библейский посланник, с места в карьер объявил Леону, зачем, собственно, его разыскивал. Правда, все-таки дождался, пока Шаули смое­тся, вежливо сославшись неважно на что. Потом Леона беспокоило: не попросил ли Аврам его с самого начала очистить сцену? И чем это объяснил, и насколько Шаули осведомлен? (Никогда этого так и не выяснил.)

Зато Аврам, выхлебав свой чай, пропотев и налив себе еще, задушевно и грустно сказал:

– Щенок! Как ты смел так поступить с матерью!

И едва Леон понадеялся, что Аврам не знает *подробностей* и что Владка ему на­грузила вагон и тележку своего фирменного вранья, как тут же и выяснилось: именно в этот раз – единственный в своей жизни – его мать принесла в большие и добрые ладони Аврама чистую правду, омытую слезами ее *кружовенных* глаз. И теперь тот протягивал эти ладони к Леону, потрясал ими, закрывал ими свои прекрасные, ничуть не потускневшие от времени глаза-маслины, разглаживал скатерть на столе, качая плешивой головой:

– Как ты смел назвать «швалью» целый народ?! Разве у араба не та же кровь, не то же сердце, не та же боль?! И даже если мы лютые враги на этой земле, даже если мы пытаемся высудить у Всевышнего наследие праотца нашего Авраама – разве нам следует друг друга презирать?

...Ну, и так далее, и тому подобное, в самом возвышенном тоне. Смешной

толстяк – лучший человек из тех, кого Леон встретил в жизни, – продолжал декламировать ему, похолодевшему (если она Авраму все выложила, этак она каждой кошке в подъезде объявит, от кого у нее сыночек), вечные, прекрасные и пустейшие идеи свободы, равенства и, без сомнения, братства:

– Может, ты вообще брезгуешь нами, восточными людьми? – подозрительно спросил Аврам, оборвав свой гуманистический монолог. – Может, тебе противны и мы, *парси*, которые...

Тут Леон застонал и поступил единственно возможным образом: обнял эту благородную добрую тушу, погрузился лбом в широченную мягкую грудь и уперся в круглый живот, прогремевший в ответ связкой ключей, где висел ключ и от их полуподвала, за который – надо отдать Авраму должное – они забывали платить ему уже много лет.

И хотя Леон обещал толстяку «прийти и повиниться, и ноги матери целовать», никуда он, конечно, не пошел и ничего не целовал: перетопчется, зараза. Но в одно прекрасное утро, дождавшись, когда Владка вырулит из дома и отбудет в вечно неизвестном направлении, вошел в квартирку, вытащил из шкафа кларнет, пробежался по регистрам, выдул несколько пассажей. Подумал с волнением: будто губ от мундштука не отрывал! И вдруг почувствовал такой прилив сил, такую радость, такой взрыв освобождения и надежды... Спасибо, Иммануэль, спасибо тебе!

Вытянув из-под кушетки чемодан, быстро и экономно, чувствуя себя вором, побросал в него кое-какую одежду, застегнул и уже направился к двери – но вернулся

с порога.

Где-то в глубинах шкафа мирно спал саквояж с «венским гардеробом» Барышни. Оставлять его было опасно: Владка запросто могла выкинуть «старье» в очередном приступе *расчистки жизни*. На раскопки ушло еще минут десять, и вот уже упакованы и сложены в бессмертный саквояж были Барышнино платье (кружева валансьен), Барышнин гобелен и две старые фотографии: подарившая Леону имя таинственная испанка Леонор в дурацком «парике парубка» и юная трогательная Эська с кенарем. («Знаешь, когда Николай Каблуков испарился, я пошла в фотографию и забрала вторую карточку, – сказала она. – Просто хотелось увериться, что мне ничего не приснилось».)

Так Леон и отбыл к Шаули – свободный, собранный, с кларнетом в руках. Шаули спросил:

– Ты ко мне с приданым? – но в душу лезть не стал. Как и любой профессионал в своем деле, он обладал некоторой неспешной мягкостью.

Оба они были кое-чему обучены, и хотя принадлежали разным *конторам* и после командировок заполняли разные бланки расходов, сдавая их в разные бухгалтерии, были верными работягами и умели многое: красть, обыскивать помещения, не оставляя ни малейшего следа; подбирать ключи к замкам, переснимать бумаги; когда надо – убивать, когда надо – бежать и прятаться. Друг другу близки были, как никто, и предпочитали *зря не мусорить*.

А наутро позвонил Натан, сказал: надо встретиться, *ингелэ манс*, поговорить начистоту, подбить бабки. В конце концов, добавил он, я думал, мы достаточно



давно знакомы, чтобы тебе действовать напрямую, а не через Иммануэля. В голосе слышна была если и не обида, то уж наверняка досада (позже стало ясно – почему: как раз в те дни Натан прилагал усилия, чтобы, используя дымовую завесу скандала, перетащить Леона в свое ведомство).

И откладывать не стали, тем более что Натан сразу предупредил: «начистоту» – значит, говорить придется с самим Гедальей. Прямо у него в кабинете.

И снова Леон почувствовал то самое: близость перемен, воздух иной жизни, штормовой натиск *Музыки, моей музыки, от которой я так далеко почему-то бежал...*

И все уже крутилось, он уже узнавал по Интернету даты вступительных экзаменов в Московскую консерваторию, опять много занимался со Станиславом Шиком – готовил программу...

Иммануэль кратко и сухо объявил, что положит на его счет «некоторую сумму – на обучение и жизнь, и не частями, а целиком, а то я откину хвост, и мои детишки вряд ли признают тебя родственником. Думаю, тебе должно хватить и на жизнь, и на толику удовольствий. Это твой шанс, лови его... И – *халлас*<sup>[32]</sup>, суч-потрох!»

Все еще было неясно, зыбко, непривычно, но уже так близко, так близко! В ушах пел кларнет, а горло сжималось от желания выпустить на волю парочку звонких трелей.

– Итак, – сказал Гедалья, подождав, когда закроется дверь за секретаршей, что принесла на сиротском пластиковом подносе три чашки отличного кофе. – Итак,

Натан считает, что ты будешь хорош в России. Что тебе там медом намазано. Что там тебе самое место...

Леон молчал. Почему за Гедальей, как за Владкой, всегда хотелось *переговорить слова*? Хотя это были два во всем диаметрально противоположных типа.

Пространство стола между Леоном и Гедальей казалось пустынным, бескрайним, *специально непреодолимым*.

Леон знал эти приемчики, сам использовал в работе и плевать на них хотел. Натан сидел чуть поодаль, в низком кресле, перекинув ногу на ногу, якобы комфортно раскинувшись, якобы не вмешиваясь, но своего раскосого бычьего взгляда с ситуации не спуская; следил за течением разговора, был сдержанно зорок: Гедалья славился неожиданными вспышками.

– *Но мы не работаем в России*, – продолжал тот своим высоким певучим голосом муэдзина, уперев взгляд ящеричных глазок куда-то между Леоном и Натаном. – И, *откровенно говоря*, я иначе представлял твое будущее. С твоим арабским, с твоими, *откровенно говоря и несмотря ни на что*, блестящими и многоплановыми данными... – И вдруг, оборвав себя, резко выплюнул: – Чего тебе дома не сидится?

– Гедалья! – подал голос Натан, легко постукивая по ручке кресла пальцами целой, не калечной руки, будто передавал коллеге и сопернику некое зашифрованное сообщение.

– Я думал, с твоими задатками, – не обращая внимания на позывные Натана, упрямо продолжал Гедалья, сверля своим набрякшим взглядом приспущенные

жалюзи на окне, – ты пригодился бы и здесь. *Откровенно говоря...*

Еще парочка *откровенно говоря*, и его речь была, в сущности, завершена. Ни грамма откровенности между ними быть не могло.

Леон молчал, тесно сцепив сложенные на груди руки: *не открывай никому левого бока.*

– Ладно! – сказал Гедалья и вздохнул. – Я ничего не понимаю в музыке. Фанни – та понимала... Ладно! Езжай, учись, бог с тобой. Хотя, убей меня, не возьму в толк, почему не учиться дома. Но мы никого насильно не держим, это против наших правил. К тому же я не смог отказать Иммануэлю.

Вот и произнесено ключевое слово. Имя ангела-хранителя, скрюченного годами и артритом.

И когда Леон уже приподнялся – завершить, наконец, это мучительское расставание с прежней жизнью, Гедалья, тоже приподнявшись (неужели все-таки пожмет на прощание руку?), оперся о стол костяшками и проговорил:

– Вот и все. Тебе остается только сделать паспорт. Твой *российский* паспорт.

Леон дернулся чуть ли не инстинктивно – как от щупалец спрута, что тянулись к нему через стол. Вопросительно обернулся к Натану.

– Гражданство восстанови, – уточнил Гедалья. – Пока они лавочку не прикрыли.

– Я собираюсь учиться музыке, – сдержанно возразил Леон. – Всего лишь музыке. И под своим именем.

– А нам твое имя не мешает! – раздраженно прикрикнул Гедалья. – Имя подходящее, удобное. Кому надо – немец, кому надо – француз. А может, и поляк... А скорее всего, просто одесский еврей с заполярной историей.

– С какой?! – ужаснулся Леон.

– Пойдем. – Натан хлопнул его по плечу, поднимаясь. – Все объясню.

И в *шварменной* неподалеку, – с удовольствием, по-простому, двумя пальцами подбирая с картонной тарелки выпавшие из питы кусочки жареной индюшатины, – *объяснил*: тебе придется всего-навсего забыть об Израиле, где ты никогда не бывал. Погоди, не мотай башкой! Никто от тебя ничего не хочет, ты собирался отчалить – отчаливай. Но мы видим смысл в том, чтобы тебя немного «почистить». Вернешься ты или не вернешься – дело десятое, но нет никакого смысла для твоей музыкальной биографии волочить *туда* всю твою здешнюю жизнь. А Одесса...

– Да кто меня помнит в той Одессе?! Там умерли все, кто меня близко знал! Или рехнулись. Или разъехались.

– Ну, и отлично, и очень кстати... «Род проходит, и род приходит...» Да и ты их смутно помнишь. Ведь ты в девяностом уехал в Норильск, к своей бабушке Ирине, где и вырос, такие дела... Она жива еще, кстати? Превосходно. Смотайся туда недели на две, погуляй, подсобери *воспоминаний*. В Норильске тоже люди живут – и играют на кларнете. И ведут кружок в Доме культуры. В Москву прилетишь из Норильска, по своему российскому паспорту. Все это, разумеется, *на светском уровне*; глубоко зарываться в дебри этой легенды не стоит, времена не те. И не мне тебя учить, как там держаться. Не думаю, что ты будешь часто сталкиваться с земляками-норильчанами. Вряд ли кто уличит тебя в недоскональном знании городского транспорта...

– Для чего это все? – воскликнул Леон. – Для крючка?! Я же сказал, что хочу

забыть обо всем. Натан! Я! Хочу! Забыть! – И жестко добавил: – Всех вас!

– Забывай на здоровье, – невозмутимо отозвался Калдман, отправляя в рот кружок лилового лука, но не донес, и тот упал на брюки, и Натан, чертыхаясь, принялся тереть пятно салфеткой. – Забывай! А когда чуток остынешь, поразмысли как следует. И сам поймешь, что новую жизнь – не только там, но и везде – лучше начинать с чистого листа. – Вытянул салфетку из салфетницы, аккуратно вытер руки. Вскинул на Леона свой знаменитый «всеохватно панорамный» взгляд: – На что тебе, кларнетист, все это хозяйство? – Широко повел рукой; и в щедро очерченное ею поле угодила и круглая физиономия продавца-курда, самозабвенно напевающего под нос восточную мелодию (при этом длинным острым ножом он срезал с бруса янтарной швармы тонкие ломти индюшатины), и подваливший к остановке автобус, откуда, белозубо хохоча, выпорхнули две девочки-эфиопки, и голенастая старуха в возмутительно мятых шортах и маечке, ведомая белым лабрадором на поводке, и трое велосипедистов, на лету оживленно перекрикивающих друг друга. – Отлично ты проживешь без всего без этого...

И хотя он ничего больше не добавил, Леон понял, что Натан имел в виду: и его полубезумную мать, и его армию, и странные последние годы, так много вместившие: охоту и риск, любовь и смерть, одиночество, ненависть, лицедейство, предательство... И милый дом, распластанный на горе.

И Меира с Габриэлой.

...О, вот укромное местечко за углом от курилки, и никого нет – редкая удача! Можно чуть-чуть «подуть» перед уроком. Все равно скоро прогонят. Духовиков всегда шугают, уж больно бьет по ушам близко звучащая «дудка».

Леон раскрыл на облупившемся подоконнике футляр, извлек кларнет и вполсилы пробежал весь диапазон инструмента – от мертвенного «шалюмо» до ярчайшей свирели третьей октавы. За окном уже которую неделю висело войлочное небо, откуда с разной степенью щедрости сыпала ледяная крупа. Он приступил к долбежке паршивейшего места из первой части концерта Вебера: два легато, два стаккато. Горло с утра слегка заложено (никак не приноровится к этому климату), к тому же из курилки тянет ненавидимым запахом курева...

Он прокашлялся, прочищая легкие, и негромко пробежал голосом доминант-септаккорд, легко достав вторую октаву. Голос, как скакун, застоявшийся в конюшне, рвался вылететь на волю, еще, и еще, и еще выше...

– Минутку, юноша!

Ну, вот и все. Сейчас погонят.

Леон уже встречал в коридорах «консы» этого невысокого, но осанистого старика с вьедливыми голубыми глазками под вздыбленными бровями. Преподаватель вокала. Его имени-отчества Леон не знал, фамилии тоже, только кличку, и та была выразительной: «Рыло». Его появление всюду сопровождал некий повышенный звуковой фон: то он ругался с кем-то, то на весь коридор нотации кому-то читал, то просто втемняшивал прописные истины в чьи-то подвернувшиеся под руку пустые головы. А уж когда рот открывал, спутать его было ни с кем

невозможно: поставленный в «раньшее время» *голос-не-тетка* напряженного тембра, то и дело соскальзывающий в благородное негодование. Среди студентов (да и преподавателей) этот человек имел стойкую репутацию мизантропа. Ей способствовала какая-то легенда, которой Леон тоже не знал, так, слышал мельком, да и бог с ним – чужие дела: вроде совсем молоденьким начинал «Рыло» драматическим баритоном чуть ли не в Большом или в Мариинке, потом в пятьдесят втором загремел по какой-то политической статье и гремел до самого низа лестницы, где, поцапавшись с начальником БУРа, отсидел по полной концертной программе: и действительно, по концертной – в лагерях тоже была своя самодеятельность. Но северный лесоповал – не самое благоприятное для голоса место. Так что с певческой карьерой было покончено. А склочный характер не пустил выше должности старшего преподавателя.

Студенты-вокалисты не любили его за грубоватую прямоту, но сумевшие удержаться вспоминали потом с благодарностью: школу, говорят, давал отменную – ту самую, которой некогда славились Москва и Питер.

– Это вы сейчас пропели пассаж?

Грозный, однако, дяденька... А, вспомнил, почему «Рыло» – это от Рылеева. Но опять же, по непрямой ассоциации. Не фамилия Рылеев, а имя-отчество – Кондрат Федорович. Вот так.

– Спрашиваю: вы пропели пассаж?

Леон сокрушенно кивнул, ожидая гневную нотацию за нарушенный покой курильщика.

Сейчас незадачливый духовик задрожит и скроется в неизвестном направлении.

*Для обучения и вообще для вживания в Россию он выбрал самый простой и расхожий образ: скромный провинциал-духовик, слегка ушибленный столицей, нам вашего не нужно, нам выучиться да и вернуться восвояси... Разговаривал он с легким уклоном в одесский говорок, сыпал тамошними анекдотами: знай нашу ах-одессугород-мой-у-морья, который никакой Норильск из человека не вышибет.*

*Ну и, конечно, простейшее чувство юмора: что вы хотите – духовик. И внешность: короткая, почти школьная стрижка полубокс и соответствующие шмотки, купленные на рынке у вьетнамцев (а все равно – дороговизна!).*

*Короче, все как полагается, а там видно будет. Спешить некуда, времени навалом, первый курс. Для этого незамысловатого паренька он скинул возраст на пять лет. Мог и на десять.*

*Деньги Иммануэля берег благоговейно: так Стеша перед походом на Привоз укладывала рубли-трешки в носовой платок, заворачивала конвертиком и подкалывала булавкой за изнанку лифчика. Леон снимал комнату в квартире еще с двумя духовиками-алкашами из Гродно. Блочная девятиэтажка на Звездном бульваре, мечта провинциала.*

– Так. Еще раз спрашиваю у внезапно отупевшего: это вы пропели пассаж?

– Да-да... извините, Кондрат Федорович. Я уже уйду.

– Стойте! Стоять, я сказал... Собогаволите повторить! Ну, что уставились на меня, как баран! Я сказал: повторить пассаж!

Леон, недоумевая, пропел еще раз доминант-септаккорд, любопытства ради



задержавшись на нем и даже чуть усилив звук.

– А теперь на тон выше. – Насупленные брови топорщатся, как небрежно приклеенные, бульдожьи брыли подрагивают, голубоватые мешки под пронзительными глазками (Барышня называла такие *кошёлками*) изобличают приверженность зеленому змию... И внимательно слушает, набывчившись, склонив голову к правому плечу. Интересно, что ему надо? – Еще на тон выше!

Леон старательно и удивленно раз за разом раскатывал извилистую лестницу в небеса. *Лестницу Якова, по которой всю ночь поднимались и спускались ангелы.* Это было бы смешно, если б не доставляло такого удовольствия ему самому. И он «разгулялся», уже не думая о нарушенной тишине, раскатывая и раскатывая звенящие пассажи.

Ехидно-сосредоточенно глядя – не на Леона, а в окно, мельтешащее невесомым снежным пухом, – «Рыло» бормотал:

– Невероя-а-атно: еще и купол идеальный, судя по тембру... И чертовская природная эластичность. Так лихо-ровненько проскочить с микста на фальцет... а ведь такому научить почти невозможно!

Сурово кивнул на кларнет в руках Леона:

– Какой курс?

– Первый.

– Тэк-с. – Старик чуть откинулся, изучая Леона. – Слушайте, юноша. Слушайте и старайтесь запомнить. Сейчас я распишу вам вашу судьбу, и будь я проклят, если это не то, что вас ожидает. – Косматые брови внезапно вздыбились, глаза округлились от необъяснимого гнева: – Еще четыре года вы будете плевать в свою

визгливую дуду, а затем зарабатывать эмфизему, просиживая штаны в оркестре, – кстати, не имея возможности лишнюю пару этих штанов купить! Зато на пенсию выйдете на целых пять лет раньше – если, разумеется, не выгонят или не сопьетесь.

Переминаясь с ноги на ногу, Леон машинально нажимал и отпускал клапан передувания: студент-провинциал благоговеет перед преподавателями, так что стой-переминаясь. Встрять посреди гневной тирады неудобно, да и собеседник так колоритен, так напоминает одновременно и покойного Григория Нисаныча, и незабвенного Гедалью...

Достав из кармана колпачок, Леон прикрыл мундштук кларнета. К чему старик клонит, угадать невозможно.

– А между тем, юноша... Между тем вы носитель редчайшего дара! Ваши голосовые данные – алмаз, и до бриллианта ему совсем недалеко. Если работать, разумеется, и много работать. Часто пробуете петь?

– Бывает, – пожал плечами Леон. – Пел в хоре музыкальной школы, потом... Потом перевели в оркестр.

О своей короткой и яркой карьере в Оперном театре Одессы он решил промолчать. Разговор получался неожиданным, Леона будто встряхнули. А к чему нам волнения и страсти? Уймись, беспокойное сердце... – Первым дискантом пел?

Леон кивнул.

– Короче, юноша! – решительно резюмировал старик. – У вас явный и яркий контратенор. Хоть слышали, что это такое?

То ли потому, что старик так возвышенно произнес это слово, с рокотом в глубине, с приподнятым «э» на гребне (контрратэ-энор!), то ли потому, что диагноз

поставил по нескольким пассажирам, пропетым, в сущности, спустя рукава, играючи, Леон смутился. Все в нем всколыхнулось: его потерянный и необретенный голос, его ожидания, разочарования, странная «осторожная» ломка, словно природа не желала расставаться с мальчишеским тембром – текучим кипящим серебром...

– Но... это ж вроде, а я...

– Ах да! Ка-ане-е-шна! – Старик расхохотался саркастическим оперным смехом. Кажется, он просто не умел разговаривать нормальным тоном. Любая реплика у него звучала на неестественном подъеме, как «люди гибнут за металл!». – Да, конечно! Вот что мы знаем, вот что мы слышали: смешное и стыдное слово «кастрат». А вы, разумеется, полноценный мужчина. Какое невежество, молодой человек! – И вдруг закричал на весь коридор, отчего проходившая мимо студентка шарахнулась и помчалась прочь испуганной косулей: – В ножки мне валитесь, в ножки! В моем лице с вами судьба говорит! – И дух перевел, обеими руками прилаживая за уши вздыбленные остатки клочковатых волос. – Контратенор, юноша, – редчайший дар, подарок того самого упраздненного бога, и достается он, может, одному на миллионы!

Вцепившись в рукав свитера, бесцеремонно потащил Леона к самому окну, словно в белесом свете бурно повалившего за стеклом снегопада хотел как следует взглядеться в этот диковинный экземпляр. И действительно: вглядывался, изучал, рассматривал, поворачивая Леона и так и сяк; даже бесцеремонно пощупал ему шею жестом отоларинголога. И все время казалось, что он ужасно сердится.

– Думаете, римские папы не разбирались в музыке? Как бы не так! Именно католики первыми поняли, насколько пронизан *грехом* сам тембр женского голоса,

как велико в нем плотское начало, как довлеет над ним детородный механизм, насколько *не место* этому дьявольскому искушению в храме! Дискант кастратов, они считали, быстрее достигнет ушей Всевышнего... Ах, улыбаетесь, невежда, вам смешно! Не могу видеть эту похабную, всезнающую улыбочку! – Кондрат Федорович не на шутку рассвирепел, хотя Леон всего-навсего любовался им, вспоминая своего Григория Нисаныча, забыв стереть с лица улыбку воспоминания. – Небось думаете, певцу-кастрату причиндалы отрезали целиком? – запальчиво выкрикнул он.

*(О боже...)*

– Так, дурачина вы этакий, готовили только евнухов для гарема! – гремел старик. – В цивилизованных странах мальчикам с чистыми сильными голосами делали небольшую операцию – перерезали сосуды, в крайнем случае раздавливали тестикулы.

*(О боже, боже! Бегите прочь, случайные студентки!)*

– Для Средневековья смертность была относительно низкой – процентов двадцать пять, не более... *(Не более?!)*

– Зато у выживших тембр голоса не менялся, а связки росли – вместе с легкими. И голос был фантастически сильный и бестелесный одновременно: так могли звучать лишь ангелы! Да-да, до весьма преклонного возраста эти певцы сохраняли регистр от тенора до сопрано, охватывали голосом четыре октавы, а объем легких позволял им держать ноту гораздо дольше обычных певцов. А теперь представьте: диапазон и длительность ноты плюс невероятная гибкость и пленительный резонанс голоса. Да они были богами сцены! Самыми влиятельными фигурами в опере! Больше, чем теноры, больше, чем *primo uomo, prima donna!*

Кондрат Федорович воздел руки и потряс ими чуть ли не в молитвенном трансе:

– Великий Моцарт преклонялся перед певцами-кастратами! Джованни Манцуоли давал ему уроки пения! Именно для Манцуоли Моцарт написал две свои первые итальянские арии – «Va, dal furor portata» и «Conservati fedele», и они ошеломляли красотой и необъятными возможностями голоса!..

*Господи, да как он сохранил на своем лесоповале такой темперамент, такое поистине итальянское горячее естество, из года в год глядя на дымные небеса и сизые снегопады? Как он вообще сохранился? Кто его прислал сюда, в этот закуток, в ту минуту, когда я слегка прохаркался...*

Ловчик, вдруг подумал Леон, во все глаза разглядывая своего искusstителя, освободителя и – предчувствовал – поработителя своего; он – ловчик, из тех, что отлавливали мальчиков, вроде моего прапрадеда Соломона Этингера, на нескончаемую рекрутчину и царскую службу... У Леона почему-то забилося сердце, и снег в окне, за спиной старика, повалил стремительней и гуще и казался ризами, укрывавшими всю его, Леона, прошлую жизнь. И вновь он слушал, не слушал, онемевшими пальцами перебирая клавиши кларнета, чувствуя только одно: вновь раздвинулся оперный занавес судьбы, и вот уже его выход, и партия выучена назубок, и разогреты связки, и голос рвется наружу: «Ca-a-a-asta di-i-iva! Casta diva inarge-e-enti...»

– Да, фигура у них, конечно, развивалась несколько женоподобная, но для знаменитых певцов – не только Средневековья и Ренессанса, но и эпохи барокко – это была относительно небольшая плата за славу, богатство и успех у дам. Да-да, молодой человек! Мужской механизм работал у них вполне исправно, среди дам

высшего света было даже модно иметь интрижку с кастратом: ощущения те же, что с нормальным любовником, а нежелательных последствий никаких! Вы, конечно, понятия об этом не имели...

Леон кивнул, не в силах сдержать улыбку слабоумного. Он пошел бы сейчас куда угодно за этим стариком, в одну минуту снявшим заклятие с его непозволительно, постыдно высокого голоса, столько лет томившегося взаперти. Он бы немедленно ринулся за этим очередным в его судьбе стариком («Ты любишь стариков, да ты и сам старичок, *мой малыш*»).

– Кстати, как прикажете величать?

– Леон. Этингер.

– Ах, вот оно что... Послушайте, Леон Этингер. Перед вами и в самом деле стоит судьба в образе занудного старикашки. Кларнетистов в мире сотни тысяч. Вряд ли вам светит что-нибудь иное, кроме провинциального симфонического оркестра или захолустной оперы, где двадцать восемь спектаклей в месяц и мизерная зарплата заставят либо спиться, либо сдохнуть от тоски. Поверьте, не одно десятилетие я учу петь здешних кретинов и бездарей. У вас звук, опёртый от природы, что само по себе феноменально, невероятная полетность голоса, очень теплый, «шоколадный», «масляный» тембр. А главное, такой верхней форманты я не встречал ни у кого и нигде. У вас смыкаются только те части связок, что нужны контратенору. Это даст и мощь, и гибкость, бóльшую, чем у самых высоких женских колоратур, и в то же время подлинную ангельскую бестелесность, о которой я вам битый час твержу тут, возле вонючей курилки. А какой фантастический репертуар! Музыка Средневековья и Ренессанса – ладно, согласен, это на любителя. Но вся

музыка барокко: Гендель, Бах, итальянцы – Господи, спаси и помилуй! И учтите, практически никакой конкуренции: контратенор – редчайшая и очень дорогостоящая птица!

Он, казалось, и сам устал от восклицательных знаков, что рассыпал в своей речи, как композитор-романтик рассыпает направо и налево свои взволнованные каскады. И когда Леону почудилось, что уставший старик уже завершил свою обольстительную лекцию, Кондрат Федорович вдруг собрался, приподнялся на цыпочки, тряхнул головой так, что задрожали мешки под глазами, и закричал:

– Нужно работать, работать не покладая рук!!! До проклятий самому себе за каторжную жизнь!!! Знайте: каторга для вас – дорога на Олимп! Эта дурацкая дудка, – он брезгливо кивнул на чудесный и дорогуший кларнет Леона, – туда не приведет.

Отыграв коду, спустился наконец с котурнов греческого трагика и совершенно спокойно проговорил:

– Запишите телефон. Есть на чем почиркать? Это недалеко – здесь, на Патриарших. Большой Козихинский переулок...

– ...коммуналка? – спросил Леон, записывая адрес. И Кондрат Федорович рассеянно отозвался:

– В общем, да... Приходите вечером, послушаем записи, посмотрим ноты... Если есть у вас хоть капля мозгов, Леон Этингер, а вам по имени-фамилии положено их иметь, то вы поразмыслите над тем, что я вам сейчас говорил.

*...«В общем, да» – это была коммуналка, во всяком случае, лет двадцать назад,*

когда Сонюра, как и другие девочки и мальчики остальных восьми семей, проживавших в огромной квартире в Большом Козихинском, гоняла по длинным коридорам и общей кухне, часто забегая в комнату к «дядь-Кондраше» угоститься карамелькой, потренькать по клавишам старого фортепиано. Потом Сонюра выросла, вышла замуж за программиста Мишу, гения электроники и бизнеса. И разбогатев на своей компьютерной программе геологического поиска чего-то там, они не стали переезжать ни в Лондон, ни в Бостон, ни в Сидней, ни еще куда-нибудь – Сонюра любила свой район, свой дом в Козихинском и своего уже старого и больного «дядь-Кондрашу». А потому, полюбовно и аккуратненько расселив всех жильцов бывшей коммуналки, оставила старика доживать у себя под боком, в его же прежней комнате – все с тем же фортепиано, но уже без карамелек по причине грозного диабета. Квартира была перестроена в духе самых изысканных зарубежных архитектурных новинок и являла собой пугающие просторы супердизайна, с крохотным островком прежней комнаты «дядь-Кондраши», где все стояло, лежало и тренькало точно так же и там же, что и двадцать лет назад, и куда совсем не каждого приглашали «послушать записи и посмотреть ноты»...

...Так в его замысловатой судьбе возник еще один любимый старик, еще один громокипящий дряхлый ангел-алкаш (а более близкое общение предъявило в лексике уважаемого бывшего зэка Кондрата Федоровича такие сильные выражения, с которыми сравниться могла лишь арабская брань – а ту, понятно, у Леона не было возможности предъявить, хоть подчас и подмывало). Словом, вот так и началась подлинная страда в исконном понятии этого слова: упоительная страда работы,



*страдание от осознания несовершенства, предстоящего долгого пути, ватная усталость-немота после бесконечных репетиций; вечное теплое питье, запреты, молчание, жесткий график жизни; погоня за упущенным временем, распевки, снова репетиции, разъезды по захолустью с «Агитбригадой» студентов Московской консерватории, первые выступления в концертах-«нарезках», в сольных концертах класса Кондрата Федоровича, первый настоящий успех...*

*В те годы на Пятницкой существовало теневое элегантное кафе «для своих» – «The Phantom of the Opera», «Призрак оперы». Изысканное меню, соответствующий антураж – этак чуток Ла Скалы: позолота, красный бархат, хрустальная люстра... Но рояль на подиуме стоял настоящий, и звуковая аппаратура была по тем временам отменной. В качестве музыкального фона посетителям предлагалась опера, опера и только опера во всевозможных ее преображениях, под разными соусами. В моду вновь входили кроссовер-версии: оперные арии под аккомпанемент современных и даже рок-обработок. Для начинающих вокалистов это был клондайк, великолепный плацдарм для начала карьеры, ибо в кафе наведывались именно те, кто решал судьбу будущих оперных звезд. Их слушали, высматривали, знакомились: какой курс? второй? А не хотели бы вы, молодой человек, попробовать себя в нашем проекте? Кроссовер «Дидоны и Энея» Пёрселла в стиле рок. Возьмите визитку, звоните, я буду рад...*

*Леон даже вначале выглядел там экзотической орхидеей, тем более что вскоре с удовольствием и облегчением выпростался из гнусной шкурки духовика-провинциала: избавился от одесского говорка, от школьной стрижки, обновил*

*гардероб и снял квартиру поближе к центру.*

*К нему подходили после каждого выступления, предлагали, зазывали, штурмовали... не подозревая, что постоянный и непреклонный отказ – не выкрутасы избалованного «золотого мальчика» («Да он просто чокнутый! Виктюк предлагал восстановить под него “Мадам Баттерфляй”, вы знаете? Тоже отказался!»), совсем не выкрутасы, а вынужденное послушание, творческое заточение под неусыпным взором голубеньких глаз его строгого тюремщика.*

И будто посланы они были друг другу аккуратно на то время, когда один учил, а другой учился, ибо к концу пятого курса уже смертельно больной Кондрат Федорович успел – из больницы, по мобильнику Сонюры, неотступно сидевшей при «дядь-Кондраше», – вызвонить из Парижа своего давнего знакомца, оперного агента Филиппа Гишара, с которым лет десять назад свела судьба, когда тот впервые приехал в Москву на конкурс вокалистов, удить свою первую рыбку.

– Приезжай, – прохрипел в телефон истаявшим голосом. – Ты жаловался, что у тебя контратеноров нет. А у меня мальчик... диплом пятнадцатого июня... редкой чистоты и силы голос... и дышалка бесконечная... и грандиозная программа... не пожалеешь...

«Мальчику» в том году исполнилось тридцать три года, хотя внешне он, как и Эська когда-то, по прежнему производил впечатление отрока.

Но вот уж кто производил впечатление лотарингского барона (кстати, предки его и вправду были лотарингскими баронами), – вальяжный красавец и гурман Филипп Гишар: трубка, холеная, черная, с яркой проседью эспаньолка, белоснежный воротник слегка мятой, но очень дорогой рубашки, да и костюм то ли от «Армани», то ли от «Босса», и все с подчеркнутым небрежным артистизмом: нам, людям творческим, что «Армани», что дерюга...

Впрочем, когда после ужина в ресторане отеля «Марко Поло» Леон доставил перебравшего Филиппа в номер, элегантный дорогой пиджак (в начале вечера аккуратно снятый и повешенный на спинку стула, но потом многожды оброненный и подобраный Леоном: на ступеньках ресторана, в вестибюле гостиницы, в лифте, в коридоре) и впрямь больше напоминал дерюгу, чем пиджак от «Армани».

Но вначале было знакомство.

Представить их друг другу было уже некому – увы, не поспел Филипп Гишар к похоронам Кондрата Федоровича, тот ушел за неделю до выпускного экзамена. А потому после дипломного концерта Филипп сам разыскал Леона за кулисами, сам предложил встретиться:

– Говорите по-французски? Нет? Английский? Отлично. Почему бы нам не поужинать у меня в отеле? Цены там не студенческие, но я приглашаю, месье Этингер, разговор нам предстоит долгий и серьезный...

Потом Леон гадал, почему Филипп выбрал именно этот ресторан – дорогой, подвальный, декорированный под сумрачную пещеру, где нагловатый официант, долго щелкая непослушной зажигалкой, наконец возжег перед ними свечу, без

которой Леон, не терпящий никакого, даже тонкого намека на дым, вполне обошелся бы. То ли барон хотел пустить пыль в глаза, то ли с самого начала предполагал расслабиться и потому выбрал наикратчайший путь от стола к постели.

В первые минуты Филипп показался слегка церемонным и даже чопорным. Несколько обязательных слов похвалы: не в моих правилах скрывать впечатление и вообще кривить душой – это сильный старт, месье Этингер. И вот эта русская песня... как ее: «Ах ти, но... чэ-энка», да? Та, что вы пели «а капелла», – она вообще выше всех похвал. У нас о подобном тембре голоса принято говорить «разливает маслом и рассыпает жемчугом». Что? Да-да, плавкий, без переходов и швов, «масляный тембр» в сочетании с филигранной колоратурой в подвижной технике: что ни нотка, то жемчужинка подскакивает при падении... В каких-то пассажах вы мне напомнили неподражаемую Терезу Берганцу...

Леон был несколько напряжен и, как оно бывало в подобных случаях, слегка замедлял движения, улыбку, ответы и потому выглядел слишком хладнокровным. Невозмутимо выслушал комплименты и подобрался, когда Филипп принялся излагать ему основные принципы «нашего альянса».

– Я бы хотел кое-что пояснить, Леон, – говорил Филипп. – В век популярности оперного бизнеса без агента (думаю, вам это уже известно) не может обойтись ни один, даже самый именитый музыкант, а тем более новое имя, никому еще не известное. Агент рыщет в поисках «аудишнз», прослушиваний в театрах или оперных проектах, составляет контракты, представляет вас и ваше «резюме», выгрызает гонорары, обворовывает вас... шучу! Словом, это человек, которому вы доверяете себя, свою карьеру, свою жизнь и свой желудок. Кстати, вы – *diva*? Э-э... я

хотел сказать, вы гей?

– Нет.

– Почему?

Леон расхохотался, удивился и спросил:

– А что, без этого никак?

– Непривычно... Так о чем я? Да: среди нашего брата уйма проходимцев, так называемых «черных агентов». Это мерзавцы, которые начинающих певцов нанимают рабами на галеры. Понимаете, нет? Ну, заставляют подписать так называемый «эксклюзивный контракт», и ты в кандалах и не можешь дернуться ни вправо, ни влево. Такие говнюки не считаются ни с вашим голосом, ни с будущей карьерой, им плевать, больны вы или здоровы... Главное для них – *easy money*, срубить бабло... Я понятно объясняю? Это надо растолковать?

– Не беспокойтесь.

– Так вот, я не из таковских.

По мере того, как Филлип ввинчивал в свою речь крепкие словечки, а Леона отпускало напряжение, разговор оживился; говорили по-английски, и видно было: француз приятно удивлен, что этот «русский певец» (на русского певца впрочем, похожий примерно так же, как на солдата японской пехоты) свободно владеет столь необходимым в «нашем бизнесе» языком международного общения (а вот увидите, перейти на французский вам будет проще простого).

Филипп и сам прекрасно говорил по-английски, время от времени вставляя парочку-другую французских оборотов, немедленно и не без удовольствия их переводя – буквально и очень топорно. Заказывая водку (и непременно черную

икру, и непременно осетрину, и непременно солянку, и да, обязательно «русский салат», у вас его называют почему-то «оливье»), повернулся к Леону и доверительным тоном сообщил:

– Мы говорим: «Blanc sur rouge, rien ne bouge; rouge sur blanc, tout fout le camp», – а переводим так: «Белое после красного – все тихо, а красное после белого – все полетит вверх тормашками», то есть сблюем! – И захохотал: – Французы любят, чтобы их считали знатоками – не всего, но обязательно чего-то. Вы что, заказали бифштекс?! Это неправильно. Заказывать в Москве бифштекс – все равно что в Париже заказывать щи или пельмени...

Словом, разговор созрел, наливался спиртным и вился, как лоза французского виноградника, прерываясь то появлением официанта, то проходящей мимо столика дамой, чью фигурку, походку, прическу Филипп почему-то считал себя обязанным отметить и прокомментировать.

Леон, полагавший, что французы пьют только хорошее вино или хороший коньяк, к тому же умеренными дозами, с изумлением наблюдал, как Филипп уже в третий раз заказывает «Зеленую марку». Поймав внимательный взгляд Леона, тот пояснил:

– Лечусь. Вчера немного отравился на барахолке... в этом вашем... парке... Каску искал.

– Каску? – осторожно уточнил Леон, ничего не понимая и даже слегка паникуя, что идет время, а знаменитый оперный агент, вместо того чтобы говорить об опере, о деле, о контракте, о планах на будущее, кажется, опять ищет глазами официанта –

заказать еще порцию водяры. К тому же, его раздражало, что Филипп то и дело раскуривает свою короткую трубку, даже не спросив, как к этому относится собеседник, затягивается и оставляет ее на блюде, услужливо подставленном официантом, и она лежит там на боку, уютно курясь омерзительным дымом.

– Вот именно, каску. – Филипп выразительно покружил трубкой над головой. – Знаете, француз непременно должен иметь хобби, это называется *mon violon d'Ingres*, «моя скрипка Энгра». Был такой знаменитый художник, о'кей? Обожал играть на скрипке и очень плохо это делал. – Он присосался к трубке, отложил ее на блюдечко и взмахнул обеими руками: – Так вот, «моя скрипка Энгра» – это каски всевозможных армий, начиная с наполеоновских времен. У меня их штук триста! Сейчас ищу каску японской пехоты, и не просто, а одной редкой серии, выпущенной в сорок третьем году... Умоляю, месье Этингер, если вдруг увидите каску японской пехоты!..

Леону вдруг показалось, что он сидит с безумной Барышней за столом в их первой раздолбанной квартире в Иерусалиме. И никаких двадцати лет не прошло.

– Обещайте купить мне каску японской пехоты, если вдруг увидите! – умоляющим тоном воскликнул лотарингский барон, принимая из рук официанта очередную стопку, не дожидаясь, пока ее поставят на стол. – За любые деньги!

– Обещаю, – отозвался Леон и, не поднимая головы, сказал официанту по-русски, ровным тоном: – Больше водки не приносить.

Тот нагло вато улыбнулся и развел руками:

– Но желание клиента у нас...

Леон поднял на него черные беспросветные глаза и повторил своим особенным,

вводящим в оцепенение, *мертвым* голосом:

– Водки не приносить...

– Хорошо, – потеряв улыбочку, тихо сказал парень.

– О чем это вы говорили? – поинтересовался барон.

– О каске японской пехоты.

– Кстати, как у вас характер – собачий?

– Н-не думаю...

– Вы – расхлябанный, эгоцентричный сукин сын, понятия не имеющий о времени?

– Э-э... я бы не сказал.

– Вы некоммуникабельны, требовательны, истеричны, жадны? Напиваетесь как свинья?

– Послушайте, месье Гишар...

– Ну да, сейчас вы заявите, что я подписываю договор с ангелом.

– Сейчас я заявлю вот что: уберите из-под моего носа эту вонючую трубку. Никакого договора я пока с вами не подписываю, вы мне не нравитесь. И заодно, с самого начала – какой процент от моих гонораров переключает в ваш карман?

Филипп с удовольствием хрюкнул:

– Тридцать. И скажите спасибо. Это ничтожно мало за мое слово, которое я даю за вас интендантам европейских театров, и за мою голову, которая, фигурально выражаясь, полетит с плеч... – ...даже в каске?

– ...даже в каске она полетит с плеч, если «мой певец» по любой, самой уважительной причине подведет театр! Особенно на начальных этапах карьеры,



когда я приношу кота в мешке и выпускаю его на подмости. Если вас переедет поезд, вы должны собрать с рельсов расчлененные останки, привинтить голову к туловищу, выйти на сцену и запеть.

Он откинулся в кресле и спросил, ехидно улыбаясь:

– Вы пробовали петь, когда больны?

– Вот уж нет! И не собираюсь.

– А всяко придется, милый вы мой. Второй состав артистов – дорогое удовольствие для любого театра. Чаще всего на проекте работает только один состав, если, конечно, это не «Метрополитен» и не Большой, где загорают по три состава. Что касается гонораров, то я так скажу: забудьте мифы о богатстве оперных певцов. Вы же пока не Паваротти и не Филипп Жаруски, о'кей? Нормальный певец в штате театра – скажем, в Германии – получает зарплату в пять кусков евро минус очень паршивые налоги, что-то около двух тысяч. И ты, как долбаный попугай, годами пашешь в театре, не видя собственного члена. Однако сразу оговорюсь, что контратеноров в штат театра не берут – не так уж много для них работы в репертуаре, а премьера – это всегда событие, для нее нужна еще парочка громких имен – типа того же Жаруски или Ценчича, о'кей? Так что себе дороже. Лучше всего – летать фрилансером, петь концерты, но для этого нужно быть известным в оперных постановках. Вот такая дилемма, дорогой мой. Так что начало вашей карьеры для меня будет ознаменовано сплошными убытками.

– Я понял, – сказал чрезвычайно довольный Леон. Беседа выравнивалась, они *нащупали друг друга*. – О'кей, вы очень бедны. Я, пожалуй, уплачу за ужин...

Так они просидели часа три, и даже Леон, расслабившись, порядком выпил, что

крайне редко с ним случалось; но возбуждение после дипломного концерта, его явный успех и явно огромное впечатление, которое он произвел на Филиппа (тот сидел в первом ряду и во время исполнения Леон смотрел на него не отрываясь; видел, как дрогнули у француза губы и заблестели глаза, когда Леон запел «Жертву вечернюю» Павла Чеснокова), – все это приятно будоражило, сообщало непривычную легкость, бесшабашность, свободу. Ему хотелось обнять Филиппа, дать ему в морду, нахамить, облобызывать... А Филипп (уже в номере, куда первым делом Леон затребовал крепкого чаю, и принес его очень смирный теперь мальчик из ресторана), Филипп – тот вообще пел соловьем, проклинал все на свете, жаловался на нищенскую жизнь, обещал небо в алмазах...

*Странно, что ручка Montblanc Meisterstück с золотым пером, которой после извлечения ее из кармана трижды потоптанного пиджака они подписали договор в номере отеля «Марко Поло», не выпадала из рук у обоих; и странно, что этот договор благополучно действовал, процветая и обрастая дополнительными соглашениями, на протяжении уже нескольких лет.*

– Конечно, было бы здорово иметь тебя в Париже, под собственной задницей, – бормотал Филипп. – Этак не налетаешься! Первые пару недель пожил бы у меня, потом снимем тебе какую-нибудь вонючую нору... Какую-нибудь собачью будку. Я надену на тебя ошейник и буду выводить на газон – поссать...

– Только убери ты, ради бога, свою вонючую трубку! Мои связи...

– Плевал я на твои связи!

*«Вонючая нора» – «собачья будка» – подыскалась месяца через полтора на тихой рю Обрио в Марэ, излюбленном квартале сегодняшней богемы. Квартирка небольшая – две комнаты, кухня размером с половник, зато просторная ванная, в которой хоть плавай, хоть распевайся. Как сказал удовлетворенный Филипп, “*ried à terre*” – есть куда ногу поставить. И не только ногу: недели три спустя чудесный случай привел Леона на авеню де Ламбаль, где на последние деньги Иммануэля после бешеной торговли со скупердьяем-хозяином был куплен антикварный, десятых годов прошлого века гамбургский «стейнвей» – на конусообразных ножках, «распухших в коленных суставах», отделанный светло-коричневым шпоном, с двухсторонним логотипом, выполненным на клапе золотой готической вязью: «*Steinway & Sons New York Hamburg*».*

*Приглашенный через неделю после перевозки настройщик, старый польский еврей, все два часа работы удрученно вздыхал: рояль звучал по-стейнвеевски потрясающе – мягко и одновременно мощно, особенно басы и средний регистр, однако, несмотря на панцирную раму, строй держал не ахти как, и, вопреки клятвенным заверениям антиквара в «идеальной сохранности инструмента», в правой части резонансной деки, отвечающей за дискант, оказалось несколько незаделанных трещин.*

*В первые же дни Филипп организовал два-три прослушивания («Не стоит бросаться, вывалив язык, на все амбразуры; мы явились завоевать, а не поднимать лапу на каждый куст»), и Леон подписал скромный контракт с музыкальной редакцией радиостанции RFI, при которой уютно существовал ансамбль старинной музыки, а также – что было уже несомненной удачей и даже, по словам агента,*

*«победой» – годичный контракт с «Опера Бастий», расположенной очень удобно, в двадцати минутах ходьбы от дома.*

*Леон въехал в квартиру, прибил на стенку Барышнин гобелен, вытянутый из парусинового саквояжа, и немедленно принялся за работу над партиями: арией Духа из оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней» и арией Оттона из оперы Монтеверди «Коронация Поппеи».*

Натан не сразу возник, через год.

Дали на травке погулять, думал позже Леон с горькой усмешкой.

Он уже стал привыкать к Парижу: к мелким белым плиткам станций его старого метрополитена, к желтоватой щели рассвета между штор, к изящному узору чугунных решеток, что «по колено» высоким окнам старых муниципальных домов на рю де Риволи; к маленькой забегаловке на площади Бастилии, где готовили блинчики из гречневой муки и подавали яблочный сидр и куда он непременно заходил после репетиций и спектаклей. Его рука привыкла отпирать ключом калитку в тяжелых, деревянных, утыканных шляпками стародавних гвоздей воротах бывшей конюшни, а ноги привыкли взбегать по ступеням кружевной кованой лестницы на третий этаж. Он привык к Исадоре, консьержке-португалке в их доме: она подрабатывала уборкой и раз в неделю прибиралась и у него в квартире.

Он уже свел знакомство с Кнопкой Лю – крошечным эфиопом, антикваром, бывшим пиратом, приговоренным к пожизненному и «вышке» чуть ли не всеми морскими державами. «Король броканта», неутомимый барыга Кнопка Лю порой искал с Леоном встречи лишь ради того, чтобы поговорить по-русски, ибо в свое время закончил филфак МГУ.

И, конечно же, – заядлый барахольщик, «больной на голову!» – в свободные от репетиций и концертов дни Леон пристрастился к парижским «брокантам» и «вид-гренье» – в Монтрее, у Ворот Клиньянкур, в Рюзе и даже у Сен-Жерменского дворца, – где за год успел приобрести: фонарь – из тех, что в старину вешали на дышло кареты; дуэльный пистолет «лепаж» с надписью на граненом стволе «Оружейник Короля и Герцога Орлеанского»; литую чашу для причастия, которая звенела, как ксилофон, и папиросную машинку со странным названием «moscovite».

Экспонаты для будущего Музея Времени подбирались медленно и со вкусом.

Он привык и к своему аккомпаниатору Роберту Берману.

Сушеная треска лет семидесяти пяти, тот был невозмутим и непристойно брезглив: после дружеского рукопожатия доставал салфетку и, даже не стесняясь, вытирал руки прямо на глазах у смущенного коллеги.

На первой же репетиции Леон был ошеломлен: Роберт играл от сих и до сих, оборвал работу на полуфразе, встал, закрыл ноты, опустил крышку фортепиано и хладнокровно проговорил:

– Итак, до завтра.

Кивнул на прощание и ушел.

Леон пригласил Филиппа на ужин.

– Слушай, а вот этот наш Роберт Берман, – спросил осторожно, когда уже принесли десерт, – превосходный аккомпаниатор и милейший человек... Филипп расхохотался:

– Что, вытирал руки гигиенической салфеткой после твоей грязной лапы?

Леон сдержанно возразил:

– Боюсь, он вытирал руки после моей грязной *еврейской* лапы. Он что, антисемит?

– Вполне возможно. Как и некоторые евреи. Не обращай внимания. После того, как его мама-немка в начале войны нашла четырехлетнему сыну желтую звезду на курточку и самолично отправила его в Терезин, у него несколько испортился характер.

– Как это – звезду? Что за бред! Почему?!

– Потому что отец его был евреем.

– Но... господи боже святой!.. – Леон уронил руки на скатерть. – Она что – чокнулась?

– Нет, и Роберт ее понимает и полностью оправдывает: это следовало сделать, иначе все равно донесли бы соседи. И Роберт выжил, потому что все-таки был наполовину немцем – видимо, таких боши приберегали на закуску. Но, сам понимаешь, не спешит дружески поделиться за чаем, что пережил в концлагере и откуда у него эта странная брезгливость. Ну, что ты вытаращился? Доедай свой мусс. Не понимаю, как человек может быть так привязан к вкусу вульгарной ванили!

Леон медленно вернулся к десерту.

– И с мамочкой его всю жизнь связывали нежнейшие отношения, – благостно добавил Филипп.

– А с отцом?

– С отцом тем более, потому что он благополучно сгинул в крематории того же культурного заведения в первый же месяц... Тебя устраивает расписание ваших встреч?

– М-да... вполне.

– Мне кажется, я все учел. Берман – профессионал в самом полном смысле этого слова.

– М-м-угу...

– Ну, и отлично. Доедай, и я хотел бы обсудить условия нашего контракта с испанцами. Я выбил из них пять тысяч, ты можешь мною гордиться. Да, вот еще что: я заплачу за этот ужин. Если ты будешь угощать всех, к кому у тебя есть вопросы, ты скоро вылетишь в трубу.

\* \* \*

Натан позвонил в начале марта.

Сиротская парижская весна струилась дождями, изредка извлекая голубое зеркальце из-под подола грязноватых туч.

Вначале Леон даже обрадовался: родной голос в трубке, возможность передать Владке тряпочки *со своим человеком*. (Время от времени он подкупал для нее что-

нибудь из серии *недорогой парижский шик*.) Ну и вообще, он тосковал по Иерусалиму.

Спросил:

– Ты один или с Магдой?

И Натан легко ответил: один, один, и буквально на пару дней, по личному делу.

И что совсем уже Леона расслабило и успокоило, – Натан напросился в гости. Ну, в самом деле, что нам опять сидеть в забегаловке, за казенной скатертью, как птички на заборе! Хочу увидеть, как ты устроился, Магде рассказать. Она умирает от любопытства.

Явился он не один, а с неким *Джерри*, шатеном среднего возраста и *среднетрамвайной*, сказала бы Владка, внешности, в котором Леон – по некоторым повадкам, по походке, по тому, как тот придержал дверь и, прежде чем захлопнуть, бросил взгляд на лестничную площадку, – опознал *нашего* человека. Мой дальний родственник и приятель, представил его Натан. Ай, бросьте! – как говорили в Одессе. Никаким тот не был ни *Джерри*, ни родственником, ни, разумеется, приятелем – слишком для этого самого «приятельства» молод и слишком предупредителен.

И Леон расстроился, даже напрягся; мельком подумалось: а как иначе могло быть? Неужто, идиот этакий, ты тешил себя иллюзией полной от них свободы?

А ведь как на радостях расстарался: приготовил лососину в щавелевом соусе, отварной картофель, на закуску – горячий козий сыр в салате. По средам и субботам в их районе по трем ближайшим улицам разворачивался продуктовый рынок. К тому времени – то ли Стешины гены проснулись, то ли пример Филиппа возымел



действие – Леон все чаще приступал к духовке на своей кухне, особенно в свободные от работы дни.

*Приятель и родственник* довольно скоро их покинул, и часа два они с Натаном просидели на крошечной кухне, тепло и оживленно болтая о чем угодно: о парижских ресторанах, о недавней забастовке рабочих сцены, из-за которой «Лючию де Ламермур» пришлось исполнять в концертном варианте (совсем обнаглели эти профсоюзы!), о нравах певческой братии в «Опера Бастий», о репертуаре другой, старой «Опера Гарнье», где сегодня поют веселые толстые итальянцы да истеричные румыны... И склонившись над столом, почему-то понизив голос, Натан спросил:

– Слушай, у французенок по-прежнему упругая маленькая грудь? Ты заметил? Мордашка может быть довольно кислой, но фигурка, но грудь!..

Натан был чертовски импозантен: коричневый твидовый пиджак, шелковый платок цвета бордо на шее – щеголь, старый европеец, даже не знакомый с тем угрюмым раскосым быком, что, вернувшись домой, вечерами заваливался «на минутку вздремнуть»... Господи, да Леон наизусть знал все его ухватки, походку, рокошующий храп с колеблемой в руках газетой, эту жесткую усмешку, когда по любому поводу Натан *резал правду* («ничего, не сахарный!»).

Он разгуливал по квартире, выглядывал в окна, хвалил все, на что падал взгляд. Пришел в восторг от каретного фонаря, прилаженного под потолком в прихожей. Присел даже к роялю, пробуя что-то изобразить, но сразу же снял руки с клавиатуры:

– Нет, кончен мой концерт. Каждому – свое. – И обернулся, подмигнул Леону: –

Все же, как ни крути, существуют две марки роялей экстра-класса, а? Гамбургский «стейнвей» и берлинский «бехштейн» – помнишь, стоял у Иммануэля в холле? Говорят, в конце войны американские ВВС разбомбили склад с деками фирмы «Бехштейн». Не случайно, а по личной просьбе главы дома «Стейнвей». Хотя два эти дома находились в довольно тесном родстве. Но бизнес есть бизнес. Так-то. И после этого фирма «Бехштейн» прекратила существование.

– Ну, хорошо, – проговорил он, поднимаясь из-за рояля. – Я доволен. Я очень тобой доволен, *ингелэ манс...* Проводишь меня до метро?

Почему бы тебе такси не вызвать, спросил Леон, поздно уже, и дождь накрапывает. Но Натан обронил: мол, по Парижу и пройтись всегда приятно, особенно в твоем симпатичном районе; воздуху, мол, совсем не вижу... или что-то в этом роде.

И вот тут Леон все понял и мысленно обматерил себя за лопоухую наивность. Разумеется, никаких «личных дел» (без Магды! в Париже!) у Натана не было. Скорее всего, эта поездка – обычная инспекция резидентур. Или необычная. Опытный разведчик в подобной ситуации всегда предпочтет *по делу* говорить на воздухе. Нормальная предусмотрительность: откуда знать, кто и с какой целью мог нафаршировать жучками уютную квартирку его молодого друга?

Оба надели плащи, молча спустились по лестнице, вышли из подъезда и одновременно подняли воротники: дождь настойчиво покалывал лица и руки, но было еще довольно тепло, даже приятно, если учесть, что редкие прохожие

занавешены зонтами и озабочены, как бы в лужу не ступить. Вполне освежающая прогулка по тихому району.

Натан вдруг заговорил – мягким и каким-то благодушным тоном: все прекрасно, я доволен, я тобой очень доволен. Чудесная квартирка, очаровательное место... и выглядишь ты прекрасно, и как жаль, что я угодил в те дни, когда спектакля нет, но в следующий раз непременно...

И все кружил и топтался вокруг этих «прекрасно», «чудесно» и «непременно»...

– А рояль – так просто блеск: все же, согласишься, лучше «стейнвея» ничто не звучит.

И видно было, что не рояль у него на уме.

Когда пересекали последний тихий переулок по направлению к людной рю де Риволи, Натан внезапно остановился у витрины химчистки, тускло освещенной изнутри ночным алюминиевым светом. В полутемном аквариуме тесной группой соглядатаев молча висели на вешалках две шубы, два плаща и целый взвод пиджаков.

Натан бросил беглый взгляд по сторонам и спросил:

– Послушай, *ингелэ манс*... а среди певцов встречаются мусульмане? – И уточнил: – Тебе приходилось с ними сталкиваться?

– Ну что ты, – пожал плечами Леон. – Религиозные люди редко попадают в мир оперы – это же не только музыка, это театр, кривляние, богомерзкое занятие. – Он задумался и припомнил: – Хотя Филипп рассказывал: один талантливый тенор, то ли чеченец, то ли абхаз – кстати, его подопечный, – отказался встать на колени перед актрисой. Мотивировал тем, что в его семье и в его религии перед женщинами на

колени не падают. Выглядело это дико, ну, и дирекция, само собой, расторгла с ним контракт. – Он усмехнулся: – Бедный Филипп был очень зол и, кажется, даже платил неустойку из собственного кармана.

– Ну да, – отозвался Натан, поворачиваясь и продолжая медленный прогулочный ход по переулку. – Да, конечно, как я не подумал...

И дальше таким же мягким ровным тоном конспективно сообщил, что сейчас *твой друг парси* очень уверенно входит в одну чрезвычайно важную операцию. Торговую, подчеркнул он.

Леон промолчал, но с силой втянул в себя воздух. Какого черта ему нужно знать, чем там занят Шаули в *конторе*? Оставьте меня в покое с вашей торговлей!

– Очень важный торговый проект, связанный с персидскими коврами. Я хотел вот о чем попросить тебя...

– Нет, – мертвым голосом ответил Леон. Остановился и всем телом развернулся к Натану. Проговорил внятно, тихо, начиненный тонной взрывчатки: – Я тебе благодарен за все, Натан. За детство. За участие в судьбе. За то, что отпустили. А сейчас все позади, и я – артист. Я – частное лицо. Я просто голос!

– Да, – спокойно, мягко и, кажется (они стояли между двумя фонарями, и свет, рассеиваясь, не дотягивался до лиц) – кажется, даже с легкой улыбкой ответил Натан, ничуть не смутившись и не задержавшись с ответом ни на мгновение, будто заранее знал, что скажет Леон, и через запятую продолжил его же речь: – Да, ты артист, и ты голос, ты у нас парижанин со «стейнвеем», и все позади, и так не хочется оглядываться отсюда, со славной рю Обрио, на неудобный, муторный опасный Иерусалим. Он *где-то там*, вдали от «Опера Бастий». Где-то там дети

рвутся на куски прямо у ворот своего сада. «А меня оставьте в покое, я свое отбарабанил».

После этой увесистой оплеухи он перевел дыхание и так же спокойно заметил:

– Обрати внимание, я не говорю: «ты – израильский офицер» и все прочие шутики, на которые нам обоим плевать, оставим это отделу пропаганды. Я не напоминаю, что ты резервист и твои сограждане-мужики в положенный срок оставляют семьи, работу и все свои астмы и геморрои, чтобы опять взвалить на себя это чертово бремя. Это мы оставим другому ведомству. Просто я знаю, что тебе не все равно, когда дети рвутся на куски у ворот своего сада. Иначе ты не попал бы *в ту историю*. Я видел тебя, я отлично тебя помню, когда ты не брился, точно в доме твоём траур. Нет, *ингелэ манс*, тебе не все равно, и твой голос тут ни при чем.

Натан снова перевел дух, будто долго взбирался по крутой лестнице и слегка подустал, задохнулся.

– Никто не собирается посылать тебя в поле, – примирительно добавил он. – Просто иногда, в свободное время ты можешь пошляться среди них в *правильном виде*, навестить парочку их культурных центров, вроде тех, что в районе Рюэя или Бельвиля, зайти в мечеть, послушать новости, *их новости*... Задать два-три пустяковых вопроса на *правильном* и – блестящем твоём! – языке... Мне тебя учить не нужно.

Он развернулся и продолжал идти, монотонно бубня:

– Они распахали свои ячейки по всей Европе, и рвется уже всюду, и попадают на эти рогатины все, без разбора вероисповеданий и гражданской принадлежности, но кто им считает! Конечно, мы поддерживаем какие-то связи и с британцами, и с

итальянцами, и с французами, но... – И вновь раздраженно остановился. – Ты же знаешь, все нужно делать самим. Разве можно кому-то доверять! Силовые структуры подчинены политике, а европейские политики не отвечают ни за что, кроме своей комнатной собачки. И к дьяволу все объяснения, оправдания и реверансы, к дьяволу! У нас исторический опыт: в свое время мы остались одни против СС, гестапо и всех прочих. И принимать еврейских беженцев согласилась одна страна – одна! – Доминиканская Республика, хотя Рузвельт нам «симпатизировал». И главное...

Он глубоко вдохнул, и Леон подумал: это сердечное, он просто не может долго ходить. (Так Стеша в старости то и дело останавливалась, будто припомнив нечто важное, и маленький Леон терпеливо переживал, когда можно будет тронуться дальше.)

– ...Главное в том, что *они* очень стремительно продвигаются по всем направлениям. «Хизбалла», например, уже располагает несколькими «дронами» – беспилотниками германского производства, купленными за границей через подставные иранские фирмы, вполне невинные: мебель, модный торговый дом, ковры-антиквариат или еще какая-нибудь элегантная хрень, напрямую связанная с Корпусом стражей Исламской революции... Тот парень, *Джерри* – ты уже понял: я привел его, чтоб тебе показать. Он человек нашего Шаули; познакомит тебя с парой *занимательных* историй, покажет кое-какие фотографии и примет любые твои соображения. Просто мне жаль, что твои блестящие мозги сейчас посвящены исключительно оперным партиям. Свяжешься с ним вот по этому телефону...

Наморщил лоб, припоминая, и быстро, четко продиктовал номер. Леон подумал: *мозги у него бегают быстрее, чем ноги...*

– Он скажет, где можно встретиться; есть пара безопасных квартирок... Ну, не буду тебя учить, ты все прекрасно знаешь сам. Если найдешь нужным с кем-то его познакомить или просто кивнешь в нужную сторону, за все будем благодарны... Постой: это что – уже моя станция?

*...Вот тогда в его жизни возник другой Париж (а он подозревал, что их было множество) – тот Париж, что все время строится и все время бастует; тот, где из одной точки в другую можно попасть тысячью муравьиных тропок, где, кроме «основного» метро и линий RER, есть огромная старая «кольцевая ветка», которую просто бросили после войны, и теперь на ее станциях растут кусты дикой малины и другие полезные травы. Эти станции можно назвать не «наземными», а «неземными», ибо рельсы бегут как бы над городом по чугунным мостам позапрошлого века и с улиц видны лишь мосты, а как проникнуть туда, знают немногие. И по этой дороге летним днем можно обойти Париж и не встретить ни одного человека...*

*Он открыл в этом новом Париже сотни запахов, но понял, что все их связывает водяная стихия Сены или Марны и что пахнут эти реки по-разному. Да и сама Сена пахнет по-разному: в Шатийон-сюр-Сен, где выходит на поверхность, она выносит запах каменных пещер, но уже через сотню метров к нему примешивается запах рыбы и водорослей, мокрого дерева, ржавчины илюзов...*

*Он обнаружил, что есть предутренний Париж – особый мир, в котором жгут костры из ящиков или играют на этих ящиках в азартные игры; что есть еще «водный» Париж со своими убийствами, подпольными казино, борделями и просто*

*обычным жильем, где на палубах барж, катеров и корабликов увидишь собачью конуру, деревце в кадке и даже клетку с канарейкой...*

– Это уже моя станция? – спросил Натан. – Ну и отлично! Так, собственно, в главном мы договорились...

И, конечно же, ни в какое метро спускаться не стал, а подхватил его на серебристом «Пежо» все тот же *родственник Джерри*, подкативший сразу, едва они подошли к краю тротуара. Прежде чем сутуло нырнуть на переднее сиденье, Натан обнял Леона и, улыбаясь, проговорил:

– Но как же я рад, что повидались! Может, встретимся не по делу, а просто где-нибудь в милом месте? Ты выезжаешь, у тебя ведь бывают отпуска?

Леон хмуро пробормотал, что работы сейчас выше крыши и за год он никуда не выбрался, кроме как в Бургундию, к Филиппу.

– Кстати! – оживился Натан. Он уже сидел в машине и договаривал из припущенного окна: – Почему бы тебе не приехать к нам на Санторини? В августе мы всегда там. Магда любит говорить «наш домик», и это смущает друзей. На самом деле у нас вполне просторно – знаешь, старый добрый греческий дом, четыре спальни. И все при нем: виноград, маслины, оливковое масло, домашнее вино от соседа... Ей-богу, приезжай! – И, сделав крошечную, но от того не менее весомую паузу, добавил на прощание: – Дети налетают туда в начале июня и сидят целый месяц, а мы с Магдой – в августе. Предпочитаем отдыхать одни, без кагала. – И многозначительно повторил (Джерри уже медленно тронул): – Совершенно одни! Будем рады тебя принять, а уж Магда... ну, ты и сам знаешь...



И следом – буквально дня через два – прилетело радостно освобожденное письмо от Магды, в котором она писала о том, как соскучилась, как счастлива будет показать ему «наш чудесный остров и нашу Периссу». Далее шло изысканно-подробное, как только Магда умела, описание острова:

«...Берег со стороны Кальдеры – это огромный провал в форме баранки, в центре которой – вулкан. Там нет спусков к воде, и публика заселяет отели ради вида, за который можно отдать последний *груш*: сине-розовый закат с помарками парусников прямо на огненном брюхе солнца. Солнце валится в море так плавно-стремительно, что кажется, в минуту соприкосновения с кипящей водной гладью из-под раскаленной туши по сторонам брызнут фонтаны.

С другой стороны острова – пологие и пустые в июне пляжи с черным, крупным вулканическим песком (каким-то, знаешь, «гомеровским»; здесь вообще Гомер удобно устроился). И горы довольно пологие, спускаются тюлениями к водопою; в одной из них, прямо под нашей террасой, я, плавая, развела небольшой, прелестный, круглобокий, как амфора, грот с водой по пояс и с такой акустикой, точно миллионы лет он ждал тебя и твоего голоса – воображаю, что это будет, и мечтаю услышать.

Главная «аттракция» здесь – прогулочная набережная, похожая на все набережные маленьких курортных городков по всему Средиземноморью, – деревья, скамейки, закат... Не жлобская-торговая, а нежно-греческая, с открытыми террасами таверн, глядящих на никогда не скучное, сине-сиренево-бирюзовое море.

От набережной к главной улице выются нити переулков, куда автобусам уже не въехать, а потому свежих туристов ссаживают прямо на дороге, и они покорно ползут к своим пансионам, треща чемоданными колесиками, как насекомые.

Обстановка самая домашняя – в этом вообще очарование греческих островов: гостиниц и пансионов немного; вокруг всё дома и домики – во дворах виноград, столы с колченогими стульями, детские велосипеды, мячи, горшки и неременная сумрачная старуха в черной одежде, с клюкой – мать хозяина на страже порядка и приличий. А за забором в бурых кустах пасется коза с козленком. И повсюду бегают свободные и ленивые, как древние философы, смеющиеся псы.

На острове нет пресной воды, из крана идет паршиво опресненная, и пить надо привозную. Так что с садоводством – не ах... Но много вездесущих олеандров, тамариска и мирта, и вечерами такой одуряющий запах кустов, опоясанных, как мантией, морским бризом, что хочется застыть и остаться так навсегда.

Неподалеку от нас под горой притулилась уютная церковка, и по утрам в воскресенье вся деревня под колокольный звон спешит на службу. Молодежь одета как попало, могут и в шортах прийти, даже девицы; но старые гречанки, принаряженные, красиво причесанные (головы в храме не накрывают), строги и благородны, как встарь, и, как положено, – в черном. Говорю тебе: Гомер – всем здесь племянник, брат, муж... ну, и немножко бог.

После службы худой, как подросток, пожилой батюшка сидит на табурете у калитки церкви и беседует с паствой или просто отдыхает. В ста метрах за церковью – многолетние нескончаемые раскопки: ранневизантийская базилика V века, возведенная на месте дома, где (о, иссохшая рука Истории и ее бесконечные

вложения конверта в конверт, с еле различимым или вовсе неразличимым адресом; археологическая «матрошка») – где в IV веке провела последние годы и умерла святая Ирина.

В ее честь остров и назван.

Посылаю тебе пару снимков: закат над Кальдерой, трогательные церквушки с синими куполами в городке Ия и наш променад в синих сумерках. И вот еще – восход над Периссой, с туманом на вершине горы и с солнцем, всплывающим над монастырем Профитис Илиас.

Ровно шесть утра: никогда и нигде я так рано не вставала.

*Магда».*

\* \* \*

И в конце августа Леон приехал на Санторини, где провел три дня – сине-розовых, блескучих, каких-то бесконечных, истаивающих в пурпуровых закатах, – любясь и собаками, и козами, и всем, чем угощала гостя счастливая его приездом Магда; наблюдая сухопутных греческих черепах с треугольной головой и купольным рельефным панцирем древесно-шоколадного цвета; купаясь в круглощеком высоконёбом гроте, утром и в полдень пронизанном косыми солнечными столбами, так что казалось, некое рачительное морское божество на всякий случай подпирает его изнутри.

И каждый вечер он чинно прогуливал Магду по набережной, заканчивая

маршрут в одной из таверн, где, как уверяла она, хозяин варил лучший кофе в ее жизни. Кофе был совершенно такой же, какой варила Магда у себя в кухне, не лучше и не хуже.

В первый же вечер после прогулки она накрыла на террасе стол, и втроем они долго смотрели, не притрагиваясь ни к вину, ни к маслинам, как меняется море: сначала жемчужно-серое, потом густо-синее, с пурпурным отливом; в греческих закатах, негромко отметила Магда, всегда присутствует эта розово-малиновая нота в синей гамме... Затем море исчезло в плотной тьме, и наконец, бледная эгейская луна затеплилась в центре мира, отделив десятину скудного света для пугающе гигантского дракона внизу, что ворочался и шипел, попыхивая мрачной золотой чешуей.

Натан был тих и молчалив и, несмотря на полный покой, островную благодать и волшебные виды, время от времени поглаживал левую сторону груди: значит, прихватывало.

Магда ушла в дом и вынесла трехрожковый подсвечник; вставила три толстых деревенских свечи, достала из короба долговязую деревенскую спичку, чиркнула ею и помножила огонек на три... Не отводя глаз от этих уютных огоньков, Леон, вначале негромко, потом все полнее и ярче запел – сюрпризом, ничего не объясняя, – со всеми скачками, мелизмами и знаменитым своим до третьей октавы вверх:

Sa-ale, ascende l'uman ca-a-antico,

Varca spazi, va-rca cie-eli,  
Per ignoti soli empirei,  
Pro-fe-ta-ati dai Vange-eli...

Он пел, и дрожащие лепестки свечей вытягивались в струны, клонились и замирали на длинных нотах; бились, как плакальщицы в греческой трагедии, когда он поднимал голос, вбрасывая его в небо, в море и вновь ловя полуоткрытыми губами. Магда неподвижно слушала, опустив глаза и сжав губы. Когда Леон закончил, так и не подняла глаз и, кажется, дух не перевела. А Натан, наоборот, оживился:

– Какая красота, боже мой, *ингелэ манс!* Что это было, почему не могу угадать? Леон сказал, улыбаясь:

– А между тем ты прекрасно знаешь, что это. Помнишь, во втором действии «Тоски», во время разговора Скарпия со Сполета за сценой звучит далекий религиозный хорал?

– Да убей меня, не помню ни черта.

– Вспомни: хорал с эфемерным сопрановым соло, будто с небес. Он обрывается на таком болезненно неразрешенном септаккорде – в тот миг, когда Скарпия подходит к окну и его закрывает... Никто не обращает внимания на этот фрагмент, а зря: это просто сокровенный перл. И история прелестная – Филипп привез из Луки. Оказывается, эта штука, кантата «Inno di Gloria», была написана молодым Пуччини еще на третьем курсе консерватории: просто курсовая работа, представляешь? А

слова написал его приятель Микеле Коньоли, тоже композитор, но совершенно бездарный. К концу обучения этот Коньоли уяснил себе положение вещей и, особо не унывая, открыл в городе мясную лавку, в которой, кстати, и сегодня успешно торгуют его упитанные потомки. А слова кантаты поразительные, сакральные – бог знает, откуда их взял этот мясник! Но вот что интересно: Пуччини писал вовсе не для сопрано, а для контратенора – был такой у него приятель, Риккардо Бруни, влюбленный в него, красавца. Не знаю, чем там дело кончилось, но позже Пуччини подарил этот фрагмент страстной Тоске – у него даром ни одной ноты не пропадало. И вот уже сотню лет эту кантату терзают драматические сопрано... Короче, Филипп вернулся из Луки обезумевший, вцепился в меня мертвой хваткой, орал, что мы просто обязаны «убрать сопрановое мясо, этот гудок паровоза, что вырвался из туннеля!», заменить его «на легкость серебра контратенора», и что это будет «эффект разорвавшийся бомбы», и «открылась бездна, звезд полна». Ну, и сейчас я готовлю программу для концерта – буду петь «Inno di Gloria» с хором Бориса Тараканова.

Минут пять еще оживленно рассказывал, что вдохновленный Тараканов тащит его с кантатой в Москву, что партию цифрового соло-рояля наиграл им когда-то подвыпивший Андрей Гаврилов, и получилось чудесно, и что эту музыку хорошо слушать в наушниках, тогда вся изысканная фактура как на ладони, – говорил и говорил, обращаясь к Натану, стараясь не показать, что заметил слезный блеск в глазах Магды... Вдруг она порывисто его перебила:

– А о чем эти самые сакральные слова, можешь перевести?

– Ну-у-у... очень приблизительно. Вернее, очень буквально, а это всегда убивает

волшебство, правда? Примерно так: «Восходит ввысь песнь человеческая, стремится сквозь пространства в небеса, сквозь одинокие безымянные миры...» – как-то так, в общем. И ничего это не передает! Ничего...

– Просто надо слышать твой голос, – согласилась она. – Тогда ясно все. А больше ничего и не требуется. Все это – о любви.

Леон с силой потянулся, сцепил на затылке руки замком.

– О нет, – заметил он, глядя туда, где драгоценной чешуей переливалась во тьме шкура морского дракона. – В конце концов, все мы поем любовные песни собственному отражению. Так называемая «любовь» – вздор и слякоть, Магда; ничего она не стоит в сравнении с «одинокими безымянными мирами».

...В последний перед его отъездом вечер они вышли прогуляться по набережной, и Магда – по-прежнему легкая, прямая, но совершенно уже седая – сухо проговорила, что хочет (давно хотела) что-то ему рассказать. Они дошли до «своей» таверны и уселись за деревянный столик у стены, над которым висела огромная карта Греции со всеми островами и на ней – самодельная клетка, где бойко прыгала канарейка. Дочка хозяина принесла им кофе, и Магда, достав сигареты (по этому он определил, что разговор пойдет непростой, она обычно старалась при нем не курить), затаилась и спокойно, как-то протокольно, будто говорила о давней знакомой, которую не слишком жаловала, сообщила совершенно ошалевшему Леону, что больше жизни любила одного человека (не Натана, жестко уточнила она), точка.

– Вернее, не точка, а запятая, – встрепенувшись, добавила она другим тоном, глядя не на Леона, а куда-то в проем двери, за которым открывалось море. – Потому

что происходило все это, когда Натан был у сирийцев. Именно во время этого бесконечного кошмара. Ты, конечно, знаешь, что делают с пленными эти звери? Ведь сирийцы – звери, в отличие, скажем, от египтян. И я, конечно, молилась, чтобы Натан вернулся или чтобы умер, но главное – чтобы перестал страдать. И одновременно боялась его возвращения. Потому что тогда только и начались бы ужас и страдания моей жизни.

– А... потом? – пробормотал Леон подавленно.

– Потом, – спокойно продолжала Магда, затягиваясь сигаретой и покручивая двумя пальцами круглую керамическую чашку из-под кофе, – потом началась война Судного дня, и мой возлюбленный погиб на второй день войны, на Голанах... Так я поняла, что предателей и шлюх наказывают особенным образом: их собственная задница остается при них – чтоб было по чему хлестать себя розгами всю жизнь.

Канарейка в клетке металась как оглашенная, захлебнулась писком, замерла – и вдруг залилась трепещущей телефонной трелью, так что оба они, и Магда, и Леон, невольно вскинув головы, минуты две выжидали, не прольется ли сверху еще какая-нибудь весть.

Магда вновь принялась крутить чашечку, поворачивая ее с боку на бок, высматривая густые кофейные разводы по стенкам.

– А через год Натана выменяли, и он вернулся – не человек, а какое-то месиво. И мы прошли кучу операций, и ходили по угольям костра, боясь прикоснуться друг к другу, как два давно разлученных, отвыкших от нежности старика. Иногда по ночам я просыпалась и принималась искать его по всему дому, и находила где-нибудь на террасе: он лежал на полу, свернувшись калачиком. Просто он так привык, валяться



на полу – *там*, понимаешь?

Она глубоко вздохнула, отбросила ладонью со лба седую ровную прядь.

– Но в конце концов победили судьбу. И тогда родился Меир... Почему я решила тебе это рассказать? – спросила она, будто очнувшись, и, вскользь: – Надеюсь, ты понимаешь, чего мне это стоило... Чтобы ты не смел *так говорить о любви* – она не вздор и не слякоть! Чтобы не смел из давней глупости одной юной паршивки выстраивать трагедию всей своей жизни! Чтобы ты знал, каким бывает *настоящее предательство*: это когда твоего мужа пытаются, а ты в это время задыхаешься от счастья в объятиях единственно любимого человека.

Она помолчала, подняла на него пристальные, требовательные глаза и добавила, усмехнувшись:

– И ничего. Продолжаем жить...

– Но ведь Натан... он не знает? – выдавил Леон, не поднимая на Магду глаз.

– Зато я знаю! – отрывисто и жестко отозвалась она. – Знаю за двоих.

Когда подходили к дому, она остановилась и, прежде чем ступить на лестницу к террасе, робко коснулась его руки:

– Ты презираешь меня? Ты никогда больше к нам не приедешь?

Он растерялся, смутился... Вдруг подался к ней и впервые неловко ее обнял. Впервые проговорил, сам удивленно вслушиваясь в детскую правду этих слов:

– Я тебя очень люблю, Магда!

И через год приехал на Санторини с Николь – милой, мягкой, несколько вяловатой девушкой, единственной наследницей в почтенном роду итальянских банкиров.

Они познакомились в Женеве, на банкете в честь основания какого-то трастового фонда (кажется, именно ее папаша и дядья были среди столпов этой миллиардной вселенной), и через два дня она позвонила ему уже в Париже, даже не скрывая, что приехала ради него, из-за него и к нему.

– Я не заказала отеля, – сообщила с патрицианской простотой богатой наследницы. – Ведь твой диван раскладывается?

Николь была влюблена в него, как в негасимую птицу-феникс; на концертах и в опере всегда сидела в первом ряду, бледнела на самых высоких нотах так, что лицо становилось фарфоровым, и это было заметно даже в полутьме зала; задерживала дыхание на ферматах, едва не падала в обморок... И после поклонов, когда занавес сползался, сталкиваясь и шевелясь, – робко, как в святилище, входила в гримерку, первым делом касаясь его плеча или руки, словно удостоверяясь, что он – не бесплотный Голос, а реальный человек, раздетый до пояса, вспотевший, усталый и возбужденный, умело и быстро снимающий салфетками грим и желающий только «жрать, жрать и спать! с тобой!».

И тогда выяснялось, что столик «У Прокопа» (любимый, под портретом Жан-Жака, где тот, в полосатом кафтане и с треуголкой под мышкой, чуть выставив ногу, спесиво поглядывает на полное блюдо улиток внизу) уже распорядительно ею заказан, и ее крошечный, такой удобный в парковке двухместный «Мерседес-Смарт» ждет их – «тут два шага». И все предусмотрено, и думать не о чем.

А кто еще, кроме Николь, мог терпеть его молчание на протяжении всего утра (немота – гигиена связок), когда на простейший вопрос «тебе сделать тосты?» следует лишь рассеянный хмурый кивок? Жениться мне, что ли, на этих пыльных семейных сейфах, думал он иногда.

Когда на следующий год в конце августа у него вдруг обнажилась вольная неделя, он написал Магде, что мечтает приехать. И в ответ – буквально через полчаса, словно она проверяла почту именно в ожидании письма от Леона, – получил призыв заглавными буквами: «ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО!»

Тогда он осторожно осведомился, не будет ли наглостью, если его подруга Николь... она еще ни разу не бывала на греческих островах... И в ответ столь же молниеносно: «Добро пожаловать, Николь!»

Магда оставалась верна себе.

...И вновь был накрытый на террасе стол, и беспокойный трепет огня в светильнике, бесплотная эгейская луна, бесконечно восходящая над морем. И голос Леона. Сначала он пел вполсилы, не желая разрушать мягкость этого упоительного вечера с тишиной его жемчужных сумерек, пропитанных миртом и жасмином.

На сей раз решил побаловать *свою публику* неаполитанскими песнями (не так давно записал диск у Грюндля в Вене, и тираж допечатывался уже дважды). Распевшись, пел щедро, не экономя голоса, почти не делая перерыва, одну за другой, полнозвучно оплетая простор такого близкого моря. Спел уже чуть не целую программу – и *Serenata Napoletana*, и *Attimo per attimo*, и *Curre Curre Guagliò*... Уже нащупал руку Николь, собираясь потянуть ее с террасы в их комнату, где ждала

расстеленная кровать, пахнувшая лавандой. Но едва умолкал, как Магда – душераздирающе робко, почти шепотом – просила: «Еще, еще...» – и после короткой паузы, почти вздоха, Леон снова пел, на самый конец приберегая бессмертную «Вернись в Сорренто!»...

...Затихнув на последней ноте, растворенной в воздухе, заметил – как почти всегда бывало – в глазах у Магды влажный благодарный блеск. И на сей раз потянулся через стол, накрыл ее маленькую суховатую руку своей и нежно проговорил:

– Магда? Все хорошо...

– Над морем всегда поется нечто протяжное, – задумчиво сказал Натан. – Диктат стихии...

Вдруг из теплой глубины одесского воздуха (это даже не память: что-то звучит в голове, что за тенора, чьи это голоса?) сюда, на террасу, прилетела мелодия, которую напевала Барышня, уже безумная; Леон лишь подхватил ее, не без удивления вслушиваясь в собственный голос:

– ...Однозвучно греми-и-и-ит... ко-олоко-о-ольчик... И доро-о-ога пылится слегка...

И полным голосом запел, любовно вплетая звуки в два далеких и отчего-то родных голоса, что бесплотно звучали у него внутри, окликая мечтательной тоской:

– ...И уныло по ровному полю... разлива-а-ается пе-е-еснь ямщика-а-а-а...

Это тенора были, и его голос – самый высокий – догонял *тех двоих*, парил над ними, тайно перекликаясь, взмывая над террасой, над притихшим морем, то ныряя вниз и распластываясь над волной, то вновь взмывая и затихая в искристой звездной

выси. Когда окончательно на *pianissimo* растворился в шорохе моря, Магда медленно и удивленно проговорила:

– Я ее помню: ее папа любил, эту песню... Они ее пели с Иммануэлем, называли «русской»: «Русская песня». – И вновь ее глаза блеснули в свете свечей: – Откуда ты знаешь ее, чертов суч-потрох?

Поднялась и вошла в дом.

Спустя минут двадцать, когда босой, в халате, накинутом и подпоясанном «на живульку», он вышел из ванной, чтобы сразу шмыгнуть под одеяло к Николь, его в коридоре перехватила Магда. Она была просто сама не своя: смущенным полупшепотом сообщила, что совершенно случайно...

– Прости, ради бога, Леон, так получилось! Я... понятия не имела и, конечно, ни за что бы не допустила! Но это был Натан, он взял трубку. Сейчас признался: утром звонила Габриэла. И он... ты не представляешь, как я злюсь!.. короче, он проговорился, что здесь ты. А Габриэла... ты же знаешь: становиться на пути ее желаний – это как в тайфун попасть... В общем, она заказала билет и примчится сегодня ночью. Говорит, давно хотела тебя повидать, школьная дружба не стареет... – И оборвала себя, в ярости тряхнув седой челкой: – И прочая бестактная пошлость! Ты очень сердисься?

Леон почувствовал краткую острую боль внутри, будто сердце прижгли сигаретой. Помолчал мгновение, спокойно поцеловал Магду в щеку и сказал:

– Ради бога, не делай из всего трагедию. Время идет, жизнь катится, я давно обо всем забыл. Тем более что завтра утром мы все равно вылетаем в Париж.

– Как! – ахнула она. – Ты обещал пробыть целую неделю!

– Да-да, – отозвался он, – прости, пожалуйста. Сейчас звонил Филипп: он считает, что мне надо вернуться к репетициям пораньше. – И все убедительнее, потому что немедленно внушил сам себе, что просто обязан уехать: – Продюсер там нервничает и просит артистов быть загодя.

И даже Магда, умница и великий конспиратор Магда не почуяла ни малейшего напряжения в его голосе.

Как бы там Габриэла ни лелеяла свои хотения, Леон больше не собирался с ней сталкиваться.

Он был уверен, что, прилетев среди ночи, Габриэла проспит до полудня. А в восемь (все еще будут спать) они с Николь тихонько и вежливо покинут гостеприимный кров Калдманов. Николь, пожалуй, удивится, но, как всегда, не станет вытягивать из него правды. Удобный характер. Все прекрасно устроится. Он даже успеет, если встанет пораньше, распеться и поплавать в любимом гроте под скалой.

И хотя всю ночь не сомкнул глаз, утром – Николь еще дремала, обеими руками подмяв под себя подушку, – бесшумно выскользнул босиком на белую террасу, перелез через балюстраду и козьей тропкой спустился к морю. А там, раздевшись донага и чалмой накрутив на голову свои белые купальные трусы, проплыл под низким портиком пещеры и медленными гребками достиг отдаленной, еще сумеречной, слабо мерцающей стены грота. Воды здесь было ему по пояс...

Стояла рассветная неподвижная тишина, заполненная легчайшим плеском и лепетом мелкой волны. В проеме входа видно было, как все сильнее накаляется макушка ближайшей горы, из-за которой вот-вот покажется малиновый диск. Тихое

блаженство заповедного рая – и сумасшедшая акустика.

Чуть слышно он приступил к распевке в середине диапазона, и солнечные плитки в воде и на стенах у самого входа заволновались в водовороте замирающих звуков.

Чтобы разогреть голос и «прокачать» акустику помещения, он брал обычно не Генделя, и не Барбарини, а фрагменты более позднего тенорового репертуара, просто поднимая их на кварту вверх. Часто использовал середину финальной арии Каварадосси из «Тоски» – вздернутое вверх «о доль-чи ба-а-чи-и-и...» – конечно, бомба для связок. Но именно это давало целую серию нужных эффектов в верхней тесситуре. А уж в акустике грота...

Закрыв глаза, еще не в полную силу он запел.

Постепенно голос просыпался, постепенно он *находил* диафрагму, торс, чувствовал, как одновременно резонирует звук в макушке и в самом дне; пропускал звук сквозь себя, насаживал на себя, как на шампур, – от затылка до мошонки... И вода набухала в паху, в водовороте звуков, ласкала его, бархатом текла между ног, бархатом текла в утреннем трепещущем голосе... Непередаваемое, переливчатое счастье...

Он пел, не открывая глаз, поднимая и поднимая голос, разворачивая его, натягивая парусом, вливаясь голосом в переливы эха, блескучие тени и солнечную паутину воды на стенах; успокаивая самого себя, а затем и голос успокаивая, постепенно сводя звук на пианиссимо... Вот так, Габриэла! И никаких гроз, Габриэла, и никаких молний. Только покой, и Голос, и утренний рейс в Париж.

Когда угасло эхо последнего невесомого звука, он услышал плеск и резко

обернулся.

В солнечном проеме грота по пояс в воде стояла Габриэла. Странно, что он мгновенно узнал ее в контражуре. Господи, он совсем забыл, как она прекрасна: сильное гладкое тело, молодое и зрелое – в солнечных слитках отражений воды.

Она выбрала самый открытый купальник, с жаркой ненавистью подумал он, понимая, что опять беззащитен, всегда беззащитен перед нею.

– Бесподобно! – проговорила она спокойно и властно. – Голос Орфея выманил Эвридику из Аида... Привет, малыш! Тебя легко выследить. Ну, дай же тебя рассмотреть, если уж я настигла редкую птичку спустя столько лет.

Он молча смотрел, как она приближается: медленно-устремленно, сильными гребками отметая воду от бедер. Приблизилась. Насмешливо проговорила:

– В этой чалме ты похож на шейха Ибн Сауда. Можно тебя потрогать? Милый мой, мо-о-окрый, пугли-ии-ивый, ну, здравствуй...

Она ладонью коснулась его груди, провела по ней дугу и вдруг хищно сжала, как много лет назад – будто взяла сердце в пригоршню.

– Что тебе нужно! – хрипло спросил он, отпрянув.

У нее было мокрое лицо, синие отчаянные глаза, и в них – жадность, неумолимая властная жадность тела.

– Ты слишком далеко уплыл! – сказала она отрывисто. – Слишком далеко от меня... все эти годы... Я ночью глаз не сомкнула, хоть беги к тебе, как тогда. Я... не могу! – И зубы сжав, чуть ли не с ненавистью: – Не могу без тебя жить!

И все защитные сооружения, что выстраивал он против нее годами – весь его



Париж, и музыка, и Николь, и все пестрое, исполненное боли прошлое, – разом рухнули. Он перехватил ее руку, рванул к себе, стиснул и прошипел в такую близкую высокую шею:

– Ты бросишь Меира!

– Нет, – пробормотала она. – Это глупо! Но *тебя* я никогда больше не брошу, никогда!

Он оттолкнул ее и рассмеялся: да, это была она, Габриэла; это была она, в своей неукротимой жажде испробовать то и это, и ничего не пропустить, и владеть всем сразу.

– Медуза Горгона! – крикнул он, и эхо прокатилось от стены до стены, повторяя и, возможно, узнавая древнее здешнее имя. Габриэла следила за ним темными, фиолетовыми от воды, огромными глазами. Волнистые мокрые волосы облепляли плечи и грудь – ее скульптурные, великолепные плечи. И все же было в ней что-то жалкое.

Набрав воздуху, Леон на фортиссимо выдал распетым раскатистым голосом:

– Ме-е-еду-у-уза! Гор-го-о-она-а-а!!! – И зло, с облегчением рассмеялся: – Убейся, пока я тебя не утопил прямо тут, к чертовой матери.

Но она качала головой, кружила в воде, пытаясь до него дотянуться.

– Заскучала, да? – все еще смеясь, с издевкой бросил он.

– Да! да! иди ко мне...

– Надоело большое тело Меира? – ...Милый, любимый, потерянный мой... – Ты, похоже, притомилась от груза?

– Боже, да иди же ко мне, дурак... ты же любишь меня, эта твоя девочка –

жалкая моя копия...

– А как же – чувствовать на себе вес? Или он чересчур поправился?

– Молчи...

– ...Приличный вес нормального мужчины... – ...Господи, заткнись!

– ...А теперь от скуки тебе захотелось сожрать меня, малыша-кузнечика, да?

Она бросилась на него, ударила наотмашь по лицу и, как безумная, продолжала бить и бить – по щекам, по плечам, по груди, как когда-то в отрочестве; билась в воде, точно большая белая рыбина, – плача, скалясь, мотая мокрой головой. Толкнула его к скользкой стене грота и вдруг всем телом повисла на нем, как утопающий, будто спасти умоляла. И – жадно, взхлеб, тяжело дыша – они набросились друг на друга, бормоча неслыханные оскорбления, отталкивая и не отпуская друг друга, прижимая к себе, оскальзываясь, сообща стаскивая мокрые, тугие тряпки с ее тела... И наконец, тяжело ударил колокол в обоих телах, и бил, и гудел в воде, в ушах, в груди, раскатываясь древним эхом в солнечной пещере, солнечным громом в крови, пока Габриэла не закричала прерывистым голосом, вцепившись обеими руками в его плечи, пока не оттолкнулась, не откинулась на спину, не осталась бессильно лежать на воде, как всплывшая утопленница, глядя в солнечный потолок грота широко открытыми глазами.

А Леон, отирая ладонями мокрое от слез и брызг лицо, вдруг увидел в ослепительном проеме входа чью-то уплывающую прочь спину.

«Николь», – подумал с полнейшим равнодушием.

– Это Магда, – выдохнула Габриэла, проследив его взгляд. – Шпионка! Догадалась, куда иду... Плевать! Мне уже на все плевать...

Но то была Николь – судя по ее заплаканным глазам и молчанию всю обратную дорогу, в аэропорту и в самолете. (После приезда они расстались, не выясняя отношений, – удобный характер; а может, вековые замки на фамильных сейфах вырабатывают в наследниках чувство собственного достоинства?) Или все же то была Магда?

На какое-то время они прекратили переписку, и были моменты, когда ему до ужаса хотелось не просто написать, а позвонить ей и напрямую спросить о главном – особенно после той встречи с Шаули в Париже, когда его друг, приехавший по торговым делам (о, если б ты видел, какие завораживающие узоры попадаются на тебризских коврах! Иногда, знаешь, в их узорах до мельчайших подробностей зашифровано все: карта местности, количество строений, дорога к цели), вскользь сообщил новость: у Меира, мол, на днях родился сын. И Леон оцепенел, застыл, испытав физическую сердечную боль, целую бурю абсолютно противоположных чувств, так что на секунду ему показалось, что он раскрыл и обезоружил себя.

Вот тогда он и решил позвонить Магде – и будь что будет. Потерять Магду было невыносимо.

А тут она и сама прислала электронное письмо – без единого слова, но с вложенной фотографией. Письмо было озаглавлено «наш новый внук», предназначалось целой армии знакомых и друзей, разослано всем, чье имя значилось в списке электронных адресатов...

Три дня Леон не мог заставить себя щелкнуть на иконку вложенного фото. Три дня ноутбук стоял распахнутый: гильотина в ожидании повинной головы. Он просто

не знал, что станет делать, если увидит на фото смуглого черноволосого младенца. А что станет делать Меир? Габриэла? Натан с Магдой?

На третий день вечером, вернувшись после премьеры – измотанный донельзя, мрачный, ибо, по его мнению, провалил партию и изгадил весь спектакль, – он решительно присел к ноутбуку и, оскалившись, как от внезапной боли, щелкнул по снимку в письме Магды.

На расцветшем экране рыжий улыбчивый Меир (очень располневший за последние годы) держал в огромных ладонях невероятно маленького, но уже явно рыжего новорожденного сына.

– Так-так, – сказал себе Леон, пытаясь понять, что испытывает: ненависть? смятение? злорадство? отмщение и полную свободу, наконец?

А может, неизбывную ревность, тоску и окончательную потерю Габриэлы?

Так и сидел, пришибленно улыбаясь, отстукивая ногтями по столу рваный ритм случайного мотивчика.

Глядел сквозь экран навывлет – туда, где давняя гроза хлестала по небу кровеносной плетью незабвенной молнии:

– Так-так, значит... так-так... так-так...

Она подошла, спросила по-русски:

– Можно тут приземлиться?

Сняла с шеи камеру (как из хомута выпряглась) и положила на стол, за которым Леон сосредоточенно выклевывал из баночки вишневый йогурт.

Он не отвлекся от своего занятия. Неторопливо отправил в рот очередную порцию, поднял недоуменные глаза и, слегка разведя руками – в левой баночка, в правой ложка, – смущенно проговорил:

– *Sorry, I don't understand Thai.*

– Да ладно тебе, – удивилась она. – Я видела, как ты пел «Стаканчики граненные».

Плюхнулась на скамью напротив и, подперев кулаком подбородок, с оживленной улыбкой уставилась в его непроницаемое лицо.

– Не пугайся, никакой мистики: просто я глухая.

Привычным пояснительным жестом ладони взметнулись к ушам и упорхнули в стороны:

– Глу-ха-я! Читаю по губам.

Он по-прежнему смотрел на нее с вежливым недоумением.

Она слегка смутилась, подумала – может, и впрямь почудилось? Соскучилась по отцу, давно не слышала русский, ну и... показалось. И перешла на английский:

– О'кей, все в порядке. Значит, ошиблась. Просто эта штука сильно приближает, когда нужно, – она кивнула на свой *Canon*. – Я фотограф, сняла вас на той смешной доске... для серфинга, да? Вы как бы на воде танцевали, хороший кадр.

Он приветливо улыбнулся, кивнул. Спросил:

– Вам заказать кофе? – О, пожалуйста!

Разумеется, он ее узнал: профессиональная память плюс привычка *раздевать* – развинчивать любую внешность, мысленно снимая грим, украшения, кепки-шапки-очки-парики или, как в ее случае, – полтонны железа, без которого ее лицо выглядело беззащитным, но и бесшабашным (юный вольноотпущенник). К тому же ее хрипловатый *упругий* голос застрял бы в памяти не только у человека с абсолютным слухом.

С прической тоже произошла благоприятная метаморфоза: вместо омерзительного цветного бурьяна слева колосился короткий густой посев, а с правой стороны свешивались, закрывая половину лица, отросшие темно-каштановые пряди, которые она поминутно закладывала за ухо, свободное от колец-жерновов-цепочек-булавок. Тогда обнаруживалась единственная серьга – затертая монета, по виду подлинная, старая...

И брови прекрасные, вот что, подумал он: сильные крылья над ясными до доньшка, улыбчивыми глазами. *Впрочем, видали мы доверчивые лица с ясными глазами...*

Свободная красная рубаха, раздуваемая бризом, казалась единственной тряпкой на ее теле. Позже выяснилось, что есть еще и шорты, но лучше бы их не было.

Позже выяснилось, что есть и сандалии, но ходила она босиком.

Память мгновенно воспроизвела ту же девушку на крыльце венского ресторана: в драных джинсах, с той же камерой в руках – заторможенную, угрюмо пожелавшую кому-то там «сдохнуть».

Все это было чертовски интересно.

Во-первых, он не любил дважды спотыкаться о случайных свидетелей его передвижений, слишком хорошо зная, как легко подобные случайности организовать. Во-вторых, его ошеломила легкость, с которой издалека, в невнятном бормотании губ, в движении на волне девица опознала «Стаканчики».

Да-да, камера отлично приближает, глухая читает по губам, но чтобы так сразу *увидеть* замшелый семейный куплетик столетней давности, его надо, по крайней мере, с детства на языке катать; знать так же хорошо, как он, *последний по времени Этингер*. А это просто немыслимо.

Тогда кто она такая?

– Два кофе, пожалуйста, – бросил он официанту, а девушка торопливо добавила:

– И что-нибудь еще, ладно? – Кивнула на блюдец, где лежала половина не доеденного им рогалика: – Вот что-нибудь такое... – И повернувшись к нему, доверчиво: – Можно?

– Разумеется, – любезно отозвался он.

Они сидели на террасе единственного в этих местах питейно-закусочного

заведения с претенциозным названием «Молодая луна». В сущности, это был крошечный филиал островного мини-маркета – небольшое бунгало, обычное для любого тропического рая: стены, столы и лавки – вездесущий бамбук, поверху нахлобучена камышовая крыша. Здесь можно выпить кофе, заказать спиртное, даже пообедать, а заодно купить цветастые купальные трусы, пляжные шлепанцы, соломенную шляпу и полотенца диких расцветок. А если вдруг вам взбрело в голову «повидать красоты тайских морей», то вот на полке для этого запечатанная в пластик дешевая маска с частенько негодной трубкой.

Все остальное было настоящим: широкая полоса белого песка ленивой дугой опоясала бухту, со стороны воды простеганную стежками небольших курчавых скал. Посреди бухты расселась плюшевая глыба, облитая глазурованной патокой влажной изумрудной растительности. Солоноватый бриз скользил по серебристой шерстке волн и улетал к ближним холмам, перебирая там перистые гривы гибких раскачиваемых пальм. Все это блистало и переливалось таким разнообразием оттенков сине-зеленого, что можно было до скончания века сидеть на этой террасе, наблюдая, как причаливают к берегу длиннохвостые, с брезентовыми тентами тайские лодки, как, наспех закатав штанины, выпрыгивают из них туристы и местный люд и бредут по мелководью к отмели.

– А еще я знаю, что вы певец, – продолжала она, улыбаясь. – Только фамилии не запомнила. Леон... и что-то такое почему-то немецкое, да? В противоречии с лицом.

Он молчал, демонстрируя ей располагающую, но и выжидательную улыбку. Непробиваемую улыбку серого волка.



– Ох, простите... Понимаю, как странно выгляжу! – Она всплеснула руками. Руки необычайно общительны: оживленные парламентареры между ней и окружающим миром, гораздо гибче, покладистее, чем ее неуживчивый упрямый голос. Руки порхают, ластятся, спрашивают, укоряют, демонстрируют, дублируя чуть ли не каждое слово. – Сейчас объясню: я вас чуть-чуть обслуживала – в ресторане, в Вене, вспомните...

Он поднял брови, сокрушенно покачал головой.

– Ну да. – Она слегка смутилась. – Я была совсем в другом образе: тяжелый панк, а? Много-много колечек, из ноздри к уху цепочка, крашенные дреды на полголовы... К тому же я все время была там как сонная муха – знаете, глухому трудно в незнакомом языке. Ну, вспоминайте! Я еще накинула огро-омную жилетку Шандора, официанта, и принесла вам рыбы... и вина... и что-то еще. Вы сидели с пожилым дядькой, совсем неинтересным, кроме того, что он смотрел разом во все стороны, не повернув головы... Послушайте, может, у вас и сигаретка найдется?

– Ни в коем случае. Буду вынужден вас задушить, – так же приветливо отозвался Леон.

Она зачарованно и в то же время озадаченно следила по его губам за каждым словом.

– Ну... ладно, придется оздоравливать атмосферу. – И, слегка закинув голову, короткими выдохами вытолкнула из горла отрывистый смех. Смех был странным: глуховатым, удивленным, отчужденным от ее лица. Но совершенно непритворным. – Мне тогда ужасно захотелось вас поснимать: таинственный шейх из «Тыщи-одной-ночи». И руки выразительные: ваш кулак на краю стола сжимался и разжимался, как

пульсирующее сердце. Если снимать через этот кулак, то смысл снимка... ну, неважно. А голова была обрита наголо. Изысканный декадентский череп идеальной формы. Я еще подумала: он так лысину нивелирует. А вам, оказывается, волосы очень даже идут. Нет, честно!

*Мг-м... Что мы имеем? Феноменальную наблюдательность. Все подмечено: кто как смотрит, кто где сидит, кто во что одет, форма черепа, беспокойная рука как деталь образа... Ай да золушка, ай да кухонная замарашика! Неясно только, зачем все это выкладывать «объекту» от чистого сердца.*

Официант принес кофе и на блюдце рогалик, который девушка схватила еще до того, как блюдце коснулось стола, и мгновенно жадно запихнула за щеку.

– Просто, по совпадению, – продолжала она с полным до неприличия ртом, – в тот же день я проходила мимо театральной тумбы и увидела афишу с вашим портретом. Какой-то музыкальный классический пафос, да?.. У меня отличная память на лица! Я их столько наснимала в своей жизни. А имена – тут стоп машина. Имена – не очень. Но Леон ведь? Правильно?

– Правильно, – помедлив, произнес он. И очень приятно ей улыбнулся.

Тут произошло следующее: она кивнула на огрызок его рогалика и спросила:

– Вы будете доедать?

– Н-нет, – озадаченно сказал он.

– Я доем тогда, о'кей?

Схватила и слопала.

– Вам заказать что-нибудь поплотнее? – спросил он, с интересом ее разглядывая.

– Неудобно вас разорять, – с сомнением проговорила она. – Понимаете, торчу на пляже, караулю паром. Боюсь пропустить – вдруг знакомых увижу. Мне нужно в Краби. Осточертело здесь до ужаса. А башлей ни копыя, причем давно. Так что полтора дня я не ела. – И встрепенулась: – Могу вернуться к Диле, конечно. Я у нее в бунгало живу, в деревне. Дила накормит, она страшно добрая, но...

Леон подозвал официанта и заказал суп «том-кха», который и сам любил, – легкий и в то же время сытный. Вряд ли ей стоило наедаться после длинного поста. А он видел, что голодна она всерьез – по тому, как глотала.

– Выпьете что-нибудь?

– Вы такой щедрый! Спасибо, не надо. Я, когда выпиваю, стервенею. Ну, обижаюсь, ищу оскорблений, в драку лезу... Я лечилась: наркотики, знаете? Но сейчас полный порядок и ни гугу. Нет, выпиваю, само собой, – я много работала в барах по всему свету, так что... Но не сейчас. Мне сейчас интересно с вами поговорить. А то упьюсь и буду валяться кучей! – Она опять хохотнула, будто удивилась собственному смеху и тому, что может выкинуть, сама за себя не ручаясь.

Так... Интересная у нас получается встреча, милая барышня. Что ж, бывают и совпадения. Почему бы девице, летом подрабатывающей в венском ресторане, спустя несколько месяцев не оказаться здесь, на острове? Почему бы ей и не быть фотографом? Судя по ее виду и вообще, *по всему*, она отчаянно мотается по миру. Есть такие любители вечной экспедиции в поисках пятого угла, обычно – люди

невыносимые... Вполне возможная, дурацкая нечаянная встреча. Если бы не «Стаканчики».

*Это было второе его появление в Таиланде, переполненном туристами, перенасыщенном запахами, изнемогающем от липкой пряной духоты. Даже себе Леон не признавался, что второй этот приезд вызван разочарованием и полным провалом первого набега: ничего не удалось ему нащупать. Все обстояло именно так, как и говорил Натан: никаких следов деятельности подставной фирмы Крушевича, переправлявшей оборудование Miracle Systems Ltd. из Бангкока в Иран. Да и самого Крушевича будто унес океанский прилив.*

*Всю неделю Леон болтался по клубам, ресторанам, дорогим спа-салонам и круизным парходикам, популярным среди местных «русских», где можно самым неожиданным (и самым ожидаемым) образом увидеть знакомое лицо. Он был чрезвычайно общителен, мил и даже болтлив – у стойки бара, на палубе, среди танцующей толпы. Вытянул из собственной биографии и гальванизировал кое-какие российские знакомства, обнаруженные в Бангкоке. Одно знакомство дипломатического рода: помощник атташе по культуре посольства России. Страстный меломан, двоюродный брат баритона Кости Каменцова из «Стасика» (как в столичной тусовке называют театр Станиславского и Немировича-Данченко). Гриша. От Гриши перепало приглашение на бесполезную дипломатическую вечеринку (коловоращение гостей, топтание на палубе яхты с бокалом в руках, любезное зубоскальство и безуспешные расспросы на предмет – кого еще из приятных русских людей можно встретить в этих широтах); все*

кануло во влажную и пахучую морскую тьму.

На другое, вполне симпатичное и давнее знакомство он возлагал некоторые надежды. Ирина Владимировна, супруга представителя крупной российской компании, большая поклонница «вашего головокружительного дара, Леон!». Умница и светская львица – ее квартира на Кутузовском в свое время стала для Леона перекрестком самых неожиданных маршрутов и связей. На вопрос о каком-нибудь петре-петровиче или самсон-самсоныче всегда отвечала с обстоятельным юмором, не вникая в причины интереса собеседника к персоне. Удобный и, главное, деликатнейший источник. На Ирину Владимировну ушел целый вечер воспоминаний. Очаровательный вечер: в свое время она была завсегдатаем московского кафе «Призрак оперы». А вы помните, Леон, что... а вы помните, как... – про себя он называл такие связи «знакомством нежного свойства», и вовсе не потому, что венчались они романом (его никогда не привлекало внимание зрелых дам). Но милые тонкие комплименты, выслушивание историй о... о чем угодно, хоть и об одобрениях для орхидей на ее даче; крошечные, ни к чему не обязывающие сувениры, обычная любезность милейшего молодого человека («Вас прекрасно воспитала ваша мама, Леон!») – все это недорого стоило, но иногда приносило самые благодатные плоды. На сей раз не принесло ничего.

Леон долго и остроумно рассказывал о своем оперном агенте: большой чудак, истинный француз, потомок лотарингских баронов, собиратель военных касок и хозяин поместья в Бургундии, из окон которого он в бинокль высматривает на поляне под домом белые грибы... Изображал Филиппа с придуманным биноклем в холеных руках, сильно утрируя; прости, Филипп!

*Ирина Владимировна трогательно хохотала в нужных местах. Тонкое ухоженное лицо, упорная борьба хорошего косметолога с беспощадным возрастом, грусть в понимающих все глазах... Так и прижал бы эту стареющую голову к своей груди. (Это все та же твоя давняя тоска, милый, тоска по другой матери...)*

*И никакого Андрея Крушевича – ни тени Крушевича, ни дел его, ни следа его на песке длинных ослепительных отмелей...*

*Леон аккуратно следовал совету Натана «не искать контактов и не выходить на связь с «нашими штатными артистами». Однако в один из этих дней, вопреки всем указаниям, разнюхал адрес кейтеринга, где работал Тассна (в центре Бангкока, в районе Си Лом) и часа два проторчал в забегаловке напротив с бокалом местного пива «Singha» – дожидался, когда тот появится. И дождался. Тассна не изменился ни на одну морщинку – все такой же поджарый, мускулистый, пружинистый (а ведь ему явно под сорок? или даже под пятьдесят?). Неужели ему интересен этот кейтеринг, даже если он там старший в смене?*

*Боясь потерять тайца, Леон шел за ним несколько кварталов практически след в след, в плотной толпе, текущей в пахучем, густом и липком воздухе, пропитанном гарью и выхлопами бензина, слабой, но вездесущей вонью из решетчатых канализационных люков, рыбным духом из дверей недорогих ресторанов и запахом лемонграсса из косметических и массажных кабинетов. Шел мимо лавочек, вываливших на тротуары свое платяное, продуктовое, рыночно-рыбное нутро, мимо дверей дискотек, клубов и баров, мимо торговки ананасами, старух с ногами борцов сумо, замотанных в традиционную юбку-штань, мимо круглосуточных*

магазинов «сеვენэлевен», мимо лавки ритуальных услуг с выставленными в витрине изумительно красивыми (розово-золотыми и бирюзовыми) гробами; мимо зазывных табличек «body to body massage», мимо салонов, где работают слепые массажисты – подлинны виртуозы мышечно-костяной клавиатуры человеческого тела.

Шел, пока Тассна не завернул в парикмахерскую, где прозаически подстригся минут за двадцать. И лишь после этого Леон случайно столкнулся с ним на ближайшей автобусной остановке.

При беглом взгляде тот Леона не узнал, пришлось ахнуть и взять его за плечо. Тассна отпрянул, взгляделся, оторопел, бросился обнимать, повторяя: «Цуцик!!! Сучпотрох! Суч-потрох!» Прослезился, вспоминая старика. И Леон прослезился – он всегда легко подхватывал чужую интонацию, как любой звук в любой тональности: просто на миг стал кудрявым тринадцатилетним «цуциком», сжимающим в руках трость великолепного кларнета, подаренного ему щедрым и насмешливым конопатым гномом, светлая ему память. Да-да, пусть ему будет хорошо там, где нас еще долго не дождутся...

И до ночи они просидели в какой-то забегаловке неподалеку, где, уверял Тассна, отлично готовили рыбу. Рыба была неплоха, но сам Тассна на кухне у Иммануэля готовил ее лучше, о чем Леон прочувствованно ему и сообщил.

Он никогда не задумывался, что побуждало его менять выверенный план, пускаться в обходной маршрут, задерживаться ради двух-трех необязательных вопросов к ночному портье или рабочему кухни. Для него любое такое движение было сродни тяге к изменению тональности, чувству, не имевшему названия, –

некому позыву, что напоминал музыкальную интуицию опытного импровизатора.

Леон и сам не знал, почему так настойчиво стремится к встрече с «ужасным нубийцем» и чего, собственно, от нее ждет.

Расспрашивать тайца о яхте, где тот встретил (вернее, не встретил) Крушевича, допытываться, почему Тассна не пытался разыскать среди гостей господина со столь замысленными чертами лица (притом что для тайца один «фаранг»<sup>[33]</sup> похож на другого), Леон права не имел: Тассна, скорее всего, отчитывается перед «куратором» из конторы и, уж конечно, не должен знать о связях «цуцика» с данным заведением.

Кроме того, у «цуцика» были свои привычки и методы прощупывания агента – вне зависимости от того, считают ли в конторе этого парня «заслуживающим доверия» лишь потому, что десять лет тот мыл Иммануэля, кормил его и ухаживал до последнего его вздоха.

Тассна рассказал кое-что о своей жизни: приходится крутиться. Он – старший в смене, зарплата – чуть больше, чем у рядового рабочего кухни. Гроши. Так что по ночам он подрабатывает (только не удивляйся) танцором в массовке, в популярном шоу «DJ Station». Это (опять-таки, не удивляйся) ночной клуб для геев.

– Кстати, знаешь, как танцоры убирают складки на талии и бедрах? Дарю патент: надеваешь колготки, а сверху просто заматываешь себя широченным скотчем.

– Здорово! – восхитился Леон, у которого сроду никаких складок на талии не было. – А как Винай?

О, Винаю повезло: устроился поваром к одному бизнесмену. Ты же знаешь,



*Винай – хороший повар... Да он кем угодно может быть: сиделкой, медбратом, охранником... Мы давно не виделись. Мотается сейчас с шефом по всему миру – тот без него ни шагу.*

*Тот без него ни шагу. (Но – ни малейшей заминки в ответе. Чистая правда? Или вызубренный текст?)*

*И опять же, Леон не смог бы внятно растолковать, почему при тех или иных случайных словах, безадресном взгляде, рассеянном жесте внутри вдруг слабо отзывался некий камертон, будто тайный настройщик давал едва слышимое ля его тончайшей интуиции.*

*– Еще бы, – мягко подхватил Леон. – Я-то помню, как старик цеплялся за вас обоих, за своих «ужасных нубийцев»... И когда Винай отлучался... а он ведь часто отлучался, да? – старик выглядел потерянным и как бы одноруким: ему почему-то вы оба были нужны... На этих его словах Тассна будто спохватился:*

*– Ну, а ты здесь какими судьбами?*

*Леон предъявил одну из самых беспечных своих улыбок (прежний доверчивый «цуцик»):*

*– Господи, да теми же, что и все! Моя девушка все уши прожужжала твоим Бангкоком.*

*Тассна поморщился, фыркнул:*

*– Да никакой он не мой! Сумасшедший дом, столпотворение туристов, жара, вонища... Просто работа здесь есть, вот и толкусь, кручусь по «грошам», как заведенный.*

*(Молодец, уважительно отметил Леон, молодец, «ужасный нубиец»! Весьма*

убедительный и душевный вечер, комар носа не подточит. Никто, глядя в честные твои глаза танцора и старшего в смене, не заподозрит ни куратора от конторы, ни увесистых «грошей», ради которых ты здесь крутишься, в том числе и в ночном гей-клубе...)

– Я-то родился в настоящем раю, – мечтательно обронил Тассна. – Маленький такой островок, Ко Джум. Уверен, ты даже не слышал, где это.

Почему название островка, где энное количество лет назад родился столь важный деятель тайского общепита, засело в памяти и не давало покоя? Этого Леон тоже пока не понимал. Провожая глазами удаляющуюся спину Тассны, подумал: хорошо бы выяснить, откуда вообще у Иммануэля взялись «ужасные нубийцы»; хорошо бы навести справки о некоем бизнесмене, ценителе поварского искусства Виная...

Но по возвращении не счел нужным выйти на связь ни с Натаном, ни с Шаули. Встретился с Джерри и попросил передать «шефу» о полной, увы, неудаче «отпуска». Докладывать о встрече с Тассной не стал: не то чтобы ходил на цыпочках, исполняя директивы начальства, но после скандала с его «пражской выходкой» предпочитал не задевать ничьих профессиональных амбиций.

Ему не в чем было себя упрекнуть – он сделал все, что мог и считал нужным сделать.

Но месяца через полтора попросил Филиппа кое-что сдвинуть в расписании, перенести одно прослушивание, отменить другое – словом, выцыганил недельку свободы и вернулся в Таиланд.

*Ты отдыхаешь, сказал он себе; на сей раз – действительно отдыхаешь. Никаких Банзкоков! Никакой толкотни на занудных посольских и благотворительных приемах.*

*Приятный островной маршрут: небольшой катерок, снующий от рифа к рифу, подводные красоты «Акульего пика» – вкрадчивые актинии, текущие стада серебристых рыб, бесстыдно растопыренные синие морские звезды, зеленые, алые, бежевые акропоры. И такая невесомая свобода тела, такая радость парения...*

*Еще в Париже по Интернету он снял удобный пенишет, маленький круизный кораблик, передача которого в пункте проката в Ао Ханге заняла едва ли минут сорок: выписав чек в залог, он получил лоции и карты засад (глубин-рифов-мелей), и крепыш-инструктор, поплавав с ним минут двадцать, вручил бортовой журнал с традиционным «приятного плаванья, сэр!».*

*Вот он и плавал от острова к острову, помалкивая, давая голосу полный отдых, ныряя в районе рифов, причаливая на ночь к берегу, иногда, вот как сегодня, катаясь на доске, которую обнаружил в одном из шкафчиков. В безопасных – то есть глубоких – местах слегка расслаблялся (разумеется, вначале убедившись, что нет других кораблей по курсу): привязывал штурвал страховочным ремнем и минут десять валялся тут же, на узком диване.*

*Одинокое плаванье оказалось довольно утомительным отдыхом.*

*Зачем все это ему понадобилось – он, черт его дери, пока не понимал.*

*Девушка набросилась на еду и какое-то время молчала.*

– На вас приятно смотреть, – задумчиво, абсолютно искренне проговорил Леон. – Даже обидно, что я не голоден.

Ее лицо с едва заметными, еще не зажившими белыми шелковинками от пирсинга в нежном загаре было таким свежим, так проблескивали искрами на солнце каштановые брови, отзываясь и кумачу рубахи, и аппетитной, исходящей паром золотистой гуще в тарелке...

– А супец мировой! – бормотнула она по-русски, жадно глотая ложку за ложкой.

– Простите?

– Говорю: суп очень вкусный! Спасибо!

– На здоровье, – вежливо отозвался Леон, обдумывая ситуацию.

Никто не мог знать, что накануне он решит зарулить на островок, упомянутый Тассной. Не сидела же она здесь наобум три месяца, поджидая его на пляже.

Наконец она доела, вытерла салфеткой губы, обстоятельно высморкалась и подняла на него глаза. Поймала его взгляд – и изменилась в лице.

– Вы ведь... угостили меня просто так, а? – спросила, хмуря брови. – Я не должна... отрабатывать? Вы ведь не приняли меня за пляжную бабочку? Я не по этой части!

Он улыбнулся:

– А вы и без спиртного в бутылку лезете... И поднял руку, подзывая официанта.

– Пойдите! Вы уже уходите? – взволнованно спросила она. – Я... я вам так благодарна. Хочу вот попросить: можно вас поснимать?

– Нет, – сказал он.

– Но!.. – И сникла: – Понимаю, да... Хотя ничего не понимаю! Очень жаль... –

И засуетилась, явно ища повод задержать его – на минуту, на две: – Хотите глянуть, как получились снимки – там, на воде?

Схватила камеру, искала кадр, нашла и протянула ему:

– Возьмите в руки, а то отсвечивает. Не уроните!

Он никогда не интересовался художественной фотографией. Нет, конечно, в свое время он прослушал несколько лекций и умел пользоваться крошечными специальными *штуками*, вроде зажигалок и авторучек, которых и фотоаппаратом-то не назовешь. Но изображения тех или иных людей интересовали его лишь в просмотрном зале *конторы* и только с опознавательной, аналитической точки зрения.

Он принял камеру из ее осторожных рук, мельком подумал: картинка, всплывающая из темной глубины фото-экрана, – всегда кружение наливного яблочка по серебряному блюдечку.

Даже на таком невыигрышном поле видно было, что кадр изумительный – сине-золотой, сквозь ажурный гребень прибоя: грациозная фигурка, танцующая в центре залива на фоне косматой горы... Усилие удержать равновесие на доске схвачено виртуозно: легкий наклон чечеточника.

Какой я... маленький, подумал он привычно. Впрочем, это снято издали.

– Я еще поработаю над ним, – удовлетворенно заметила она, наблюдая за его реакцией. – Это будет стрекоза в слитке золота.

Следующим кадром выплыло его лицо: крупный план в бисере брызг, с округленными в песне губами, резкий очерк скул и орлиного носа, прищуренные

глаза: черные искры среди зеленых бликов волны. Отличный кадр! Он никогда не видел себя *таким* и сейчас был поражен и стремительной силой этого лица, и той хищной ловкостью, с какой она выхватила из восставшей волны незаметный и в то же время значительный миг его бытия.

Подумал в растерянном восхищении: «Да она мастер! Не трепло, не барахло, а – мастер».

– Как это убить? – спросил он. – На что нажать?

Она ахнула и отшатнулась. Взглянула с таким презрительным отчаянием, точно он предложил убить ребенка. Нет, она не подслана. Сыграть это лицо, в котором отражаются малейшие перепады настроения, сыграть эту даже не открытость, а беззащитную распахнутость миру – скотскому миру, который, судя по всему, успел изрядно ее помять? Нет, невозможно. Неуместно мелькнуло: зачем она сняла свои доспехи? С ними хоть как-то была вооружена.

Она вздохнула, протянула руку и молча выщелкнула снимок.

– Не понимаю, – заметила угрюмо. – Вы что, так не любите свое лицо? Или, наоборот, так его цените? Должна сказать, тот ваш портрет на музыкальной афише... он так себе, мастеровитое ничто, просто глянцевая карточка. А здесь вы живой... *были живым* – таким горячим, морским, в соленых брызгах, таким... классным! И пели что-то мне родное – так показалось. Я чуть с ума не сошла... Прямо как Желтухин!

Он едва не выронил камеру.

Аккуратно и медленно перенес ее на стол.

Принялся вытаскивать из внутреннего кармана плавок обернутые в

пластиковый мешочек деньги – не поднимая головы, делая вид, что с трудом извлекает застрявшую купюру.

Затем долго, не глядя на девушку, изучал принесенный официантом счет.

Долго отсчитывал бумажки.

Наконец, поднял голову и с улыбкой произнес:

– Вы меня пристыдили. Что ж, готов позировать, если это нужно искусству.

Только недолго.

– Ура! – Она схватила камеру, отскочила на шаг и сразу преобразилась: рысь на ветке, в засаде, в ожидании добычи.

– Только не здесь, пожалуйста.

Он рывком поднялся со скамьи и двинулся прочь от бара, туда, где гладкоствольный частокол кокосовой рощи уходил в курчавый крутоворот зеленого склона: мангровые заросли с веерными выхлестами арековых и ротанговых пальм. Выше по холму взбирались мощные стволы янга и такьяна, перевитые тропической путаницей лиан.

– Сделайте пару снимков такого... тарзаньего плана, ладно? – не оборачиваясь, прищелкнув пальцами, обронил он. – Если хотите, могу на пальму забраться.

Она нагнала его, тронула за руку. И когда обернулся, мягко проговорила:

– Я глухая, шейх. Ни черта не слышу, о'кей? Когда на губы смотрю, понимаю речь.

– Извините, – сказал он. – Ради бога, простите меня, я идиот.

– Ничего, – она махнула рукой, и они пошли рядом по песку. – Мало кто сразу ко мне приноравливается.

Пока шли, она безостановочно оживленно говорила – возможно, чтобы преодолеть его (так натурально изображенное) смущение.

– Здесь, конечно, классно: простор, покой, приливотлив, такой бесконечный тропический дурман, хранилище застывшего времени... Я сняла рассказ, так и назвала: «В отсутствие времени».

– Рассказ?

– Ну, цикл фотографий, потом могу показать: море, горы, огромный непроницаемый день острова... Люди тоже бесхитростные – я имею в виду здешнее население, ну, морских цыган. Не слишком жалуют туристов, боятся перемен. У них до сих пор электричества нет, одни только масляные лампы. Их деревни – там, на другой стороне острова, а я живу у Дилы... Она самая уважаемая, потому что грамотная... А во-он лодку видите, голубую с черным драконом? Это я расписывала. Я им тут и стойку бара расписала, меня за это кормили целую неделю. Еще придумала каждый день на закате лепить фигуры из песка перед входом в бар, туристов приманивать. И коктейли им обновила – я ж в коктейлях спец. Выручка сразу подскочила. Но потом мы подрались с одним человеком прямо там, среди столиков... – Несколько выразительных движений неутомонных рук – и картина потасовки мгновенно нарисовалась в воздухе и какое-то время удивительным образом длилась и даже развивалась, озвученная дальнейшим объяснением: – Расколотили кучу стекла, случайно задела пожилую даму... Будь это в Бангкоке, я бы загремела в Лад Яо месяцев на шесть. Но здешние полицейские – хорошие ребята, мы с ними шары гоняем. – Поймала его недоуменный взгляд, рассмеялась и пояснила: – Бильярд!.. В общем, обошлось штрафом, но на него ушли все оставшиеся



деньги.

Они миновали последнюю лохматую хижину на сваях, с приставленной к ней деревянной, криво сбитой лестницей, прошли кокосовую рощу и вступили во мшистую влажную густотень, изрешеченную огненно-фиолетовыми солнечными пулями. В кипящей дрожжевой духоте кишмя кишела мелкая суетливая жизнь: звенел двухструйный ручей на боку скалы, зудели тучи насекомых, какие-то лакированные кусты исходили неумолчным стрекотом, и всю эту буро-зеленую папоротниковую кашу дробили, прорезали, выжигали пронзительные крики невидимых обезьян.

Под ступенчатым каскадом огромных ленивых листьев на все лады вскипала и вновь опадала многоголосица густого леса.

Здесь Леон молниеносно обхватил девушку, привалил к себе и локтем пережал горло.

Через две-три секунды ослабил удавку, выждал, пока девушка перестанет кашлять и хватать ртом воздух, и, приблизив губы к ее исполосованной солнцем щеке, вкрадчиво спросил по-русски:

– Так кто ты?

– Айя, – пробормотала она.

– Глухая, да? И читаешь по губам?

Она молчала. Если бы кто-то со стороны заметил эту пару, просто отвернулся бы, чтобы не смущать влюбленных.

– И потому сейчас мы так славно беседуем, когда ты прижата ко мне спиной, а я едва шепчу?

Она проговорила сдавленно, но спокойно:

– Вибрация диафрагмы. Я чувствую колебания груди.

– Отлично. Итак, Желтухин. И «Стаканчики граненые». Слишком много совпадений. Откуда? Быстро! Или будешь валяться тут с перебитой трахеей.

– Иди к черту, – сказала она, – кретин! Отпусти меня! При чем тут Желтухин! Это наш кенарь.

Он крутанул ее, сжал в тисках ее руки, не отрывая взгляда от лица.

– *Ваши* кенарь? – тихо спросил он. – Желтухин – *ваши* кенарь?

Глаза у него были как горячая смола, просто втекали в тебя, прожигая, разливаясь по всему нутру. Но *другим* своим зрением (никогда не могла назвать это чувство, но доверяла ему безоговорочно) она увидела в этих глазах растерянность и даже смятение. И, легко выдернув руки, крикнула:

– А чей еще?! Твой, что ли? Желтухин – это династия артистов. Еще от дяди Коли...

Отвернулась и – вот бесстрашная задрыга! – назад пошла, туда, где за частоколом кокосовых пальм стояло сине-зеленое море. Он догнал ее в два прыжка, мягко удержал за руку:

– Дяди Коли... а фамилия дяди Коли?

– Да пошел ты! – сказала она и вырвала руку. Заплакала, повернулась и побрела, не оглядываясь.

Он опять нагнал ее, властно взял за плечо:

– А фамилия дяди Коли – не Каблуков ли?

Тут уже она споткнулась, попятилась, как оглушенная, опять подалась к нему, спрашивая что-то ошеломленными руками, вытаращив глаза, еще влажные от слез. И стояли они близко-близко, молча друг на друга уставясь, не зная, что еще сказать, о чем спросить, как нащупать первую ступень лестницы, разбегавшейся в две такие семейные дали...

Они были одного роста, а когда у вас на одном уровне глаза, ничего не остается, как все время в эти глаза смотреть, выуживая из них звучащий, карусельно крутящийся мир.

В ухе у нее качалась-покачивалась старая монета. Леон коснулся ее, слегка повертел в пальцах, взвешивая. «Папа просто швырнул ему под ноги эту монету, Яшкины отступные, – услышал он голос Барышни. – И Каблуков преспокойно поднял ее и положил себе в карман».

Все точно: неказистая, а тяжеленькая. На одной стороне затертый двуглавый орел, на другой чеканка: «3 рубли на серебро 1828 Спб». Только не серебро это, вот в чем штука: чистая уральская платина, и отполировать ее не мешает. Вряд ли девчонка голодала бы и караулила на пляже паром, если б знала, что носит в ухе.

– Так вот как выглядит «белый червонец» Соломона Этингера, – пробормотал Леон, улыбнувшись. – Мое, между прочим, наследство.

– Но-о ведь та-ак не быва-ает... – пропела она.

– Не бывает, – согласился он.

Уж он-то отлично знал, что *так* не бывает. Его на курсах учили, и он вызубрил назубок, что *так* – не бывает. Разве что один шанс на миллион. И уж конечно, не в подобных обстоятельствах. Не на острове Джум в Андаманском море. Не с глухой

девицей, читающей по губам. Не «Стаканчики граненые», и не царский червонец в ухе, и не четыре поколения, кричащие ему сквозь весь двадцатый век: все доподлинно, все так и есть, вот так все и бывает...

*Странный это роман, где Он и Она встречаются друг друга чуть ли не в конце; где сюжет норовит ускользнуть и растечься на пять рукавов; где интрига спотыкается о нелепости и разного рода случайности; где перед каждой встречей громоздится высокая гора жизни, которую автор толкает, подобно Сизифу, то и дело отступаясь, удерживая вес, вновь напирая плечом и волоча эту нелепую повозку вверх, вверх, к эпилогу (где всех нас, бог даст, встретит знаменитое верхнее до), – обреченно тащит ее, вопреки здравому смыслу и законам сюжетосложения, озираясь по сторонам и безудержно оплакивая тех, кто из повозки выпал.*

*Странный это роман.*

Они истоптали изрядную часть пляжа, вколачивая в него вопросы-ответы и те вопросы, на которые ответов не было, вернее, искать их надо было сообща, и они искали: останавливались, отгребали ребром босых ступней площадку мокрого песка, и Айя, присаживаясь на корточки, веткой рисовала то и это (например, улицы их алма-атинской окраины или диковатое сооружение – дубовую исповедальню, превращенную в «обучающий шкаф»: вот тут папа сделал отсеки для клеток, по углам вставил мини-динамики – объясняла и опять расспрашивала, поднимая на него карие с зеленцой глаза и хмурия шелковые брови:

– Ты что, не знаешь, как кенарь разучивает плановую песнь?

– Немного знаю, – улыбаясь, отвечал он, – по себе...

Леон уже понял, что для проникновения в это лицо, в эти глаза, для ее отклика, для *свободной проводимости звука* нужно лишь коснуться ее, взять за руку или положить ладонь на плечо. А когда она была рядом, прикосновение становилось единственно логичным, практически неизбежным, ежеминутным... необходимым, наконец. И потому неизбежно и ежеминутно она присутствовала на расстоянии жеста. А лучше всего было просто смотреть ей в глаза, беззвучно вышивая губами слова.

– Откуда у тебя такое имя?

– Айя? Не знаю, кажется, бабушка придумала. А что, не нравится?

– Да нет, вполне годится...

С тобой так легко разговаривать, сразу призналась она, тебя понимать легко – движения губ легкие, четкие. Даже голос будто слышу.

– Я и есть Голос, – сказал он. И пояснил: – Певец же. Внятная артикуляция.

– А балерина? – вдруг спрашивала она. – Ну, под чьими окнами дядя Коля спал зимой в своем знаменитом кожаном плаще. Ты ей кем приходишься?

– Какая балерина! – фыркнул он. – Балерин с такой грудью не бывает. Это Барышня, Эська. А еще была Стеша... Были Большой Этингер, Дора с ее «грудкой», испанка Леонор... И все это – Шекспир, Гомер и Софокл, и тень отца Гамлета...

– Ну ладно, – проговорил он наконец.

За три часа безостановочной, бурной, то и дело отпрыгивающей в детство, перебивающей друг друга, ветвящейся по родным городам и улицам, по самым-самым родным лицам двухголосой речи (изрядно его утомившей, ибо под прямым, душу вымогающим взглядом этой девушки надо было исхитриться и не выложить всю подноготную своей биографии, а нести привычную *служебную чушь*) – за эти три часа Леон, кажется, досконально выучил улицы ее детства, апортовые сады, каток Медео, «папины методы обучения канареек» и «папины воспоминания о дяде Коле»... Интересно, что ж она по всему свету бегаёт от такого замечательного папы?

Все это свалилось ему на голову неожиданным хлопотным наследством, и бог знает почему он считал себя обязанным... да нет, просто *повязанным* с этой странной глухой девушкой. С этой *канареечной родственницей*.

Например, сейчас мучительно думал, как лучше поступить: дать ей денег на паром до Краби, а там, на самолет... куда? (Видимо, в Лондон, отозвалась она, хотя и не хочется; может, в Бангкоке тормозну, там у меня друзья; может, мотнусь в Алма-Ату, отца проведать...) Или все же рискнуть и взять ее на борт пенишета, а завтра подбросить до Краби – тем более что вечером ему и самому вылетать оттуда же в Париж? Доставить ее самолично, чтобы уж быть уверенным... в чем, между прочим?

Человек по натуре замкнутый, давно и с успехом затоптавший в себе любые сантименты, он безуспешно допрашивал себя: ну что ты к ней привязался? Что еще хочешь вытянуть из глухой бродяжки? Согласен, встреча двух потомков одной канарейки, да еще на острове в тропической глухомани – это удивительно и

трогательно, это чистый Голливуд. Но взгляни на ситуацию трезво: на что тебе *со всем твоим хозяйством* дался этот *трудный* случай?

В конце концов он предложил ей выбирать самой, отлично понимая, что потакает этим себе, себе...

– Конечно, с тобой! – горячо выдохнула она. – Куда угодно! А куда? Давай совершим кругосветку!

И без малейшей паузы обрушила на него историю о каком-то своем бывшем возлюбленном (а число им – легион, подумал он с неожиданной для себя горечью), который «полуяпонец-полуамериканец и очень творческий человек, знаешь!» – давно бороздит океан на маленьком паруснике, а однажды причалил к такому острову, Тикопия, где на коленях приносил дары вождям четырех племен, чтобы те позволили ему бросить якорь...

Кого она напоминала? Владку – целой горой цветистых бредней, вываленных на него за три-четыре часа. Разобраться бы, насколько эти бредни далеки от реальности. Впрочем, он был так впечатлен подлинным червонцем Соломона Этингера, что волей-неволей приходилось учтиво реагировать и на остальное.

– Увы, – сказал он. – Кругосветку придется отложить. Подброшу тебя в аэропорт и куплю билет до Лондона.

– Ура, – отозвалась она разочарованно, но покладисто.

По длинному берегу они дошли до деревни – большой и утопанной поляны с двумя десятками бамбуковых курятников на сваях, под чубатыми крышами из сухой

травы, – где состоялось трогательное прощание с добродушной кубышкой Дилой в платье из такой блескучей, алой с золотом, парчи, что Леон, человек театральный, аж крикнул от удовольствия: интересно, какой затейник догадался одарить старуху этим венецианским великолепием!

Из курятника Дилы был извлечен тощий, грязноватый, явно выдавший виды рюкзачок Айи, и пока перед хижинкой происходило надрывное прощание (а из дебрей курятника с воплями выскочила еще одна косоглазая нимфа и кинулась Айе на шею), Леон сидел на пне, разглядывая совсем уже театральную декорацию: бунгало, поднятое на развилку могучего дерева. Кто там живет – не местный ли колдун? И как вообще забираются люди в это жилище? Вот кому не страшны никакие приливы. Так это здесь, что ли, родились и выросли «ужасные нубийцы» Иммануэля? Или в соседней деревне? Приступать сейчас с расспросами к Диле при таком наблюдательном свидетеле, как эта девушка, было бы крайне неосмотрительно. Да и какая разница, где они выросли? Хотя, конечно, интересен путь от дикого местного бунгало в развилке дерева к великолепному «бунгало» Иммануэля в Савьоне...

Наконец Айя с заплаканными глазами предстала перед Леоном и объявила, что можно двигаться:

– Дила – просто ангел, мы так рыдали обе!

– И вот за этим помойным мешком мы сюда топали?

Именно, отозвалась она, это не мешок, а специально обученный рюкзак. Открыла и показала: два отделения. Вот тут – аппарат и линзы, здесь – новейшей модели ноутбук, «мое сокровище, мой дорогой Фото Иванович Шоп»...



Пока шлепали назад, Леон выслушал длинную практическую лекцию по кадрированию и обрезке снимков. Удивлялся. Кивал. Восхищался... и вообще, дал ей свободу фотографического волеизъявления: он обожал профессионалов в любом деле и всегда уважительно терпел их косноязычные словоизвержения. Впрочем, *эта* была, надо признаться, повострее многих, а когда рассуждала о своем деле, вовсе не казалась подростком, как на первый взгляд.

– Сначала увидь что-то! – говорила она, взрывая мокрый песок пальцами босых ног. – Все зависит от остроты взгляда: способен ты выхватить натуру из гущи или нет: лицо, жест, смысл сцены... Конечно, ядро нашего дела – репортажная съемка. Тут никуда не деться: да, девяносто процентов снимков уходит в брак. Но те, что остаются... Это всегда секундный роман: увидел, влюбился – и человек даже ничего не почувствовал, потому что от «полюбил» до «расстались» проходит мгновение...

– А у тебя всегда проходит мгновение от «полюбила» до «расстались»? – насмешливо уточнил он, и она нетерпеливо и дурашливо отмахнулась.

– Будущий кадр – это чистая интуиция. Он сначала – нигде, в воображении. Я нашариваю внутренними щупальцами его границы, отбрасываю лишнее. Подношу камеру к глазу, вижу картинку в видоискателе... Мозг в это время пашет, как компьютер: что попадет в зону глубины резкости, что окажется размытым фоном. И затем: резкость, спуск! – как пуск ракеты.

В такой репортажной съемке, подумал Леон, довольно опасной (ибо не каждому громиле понравится нацеленный на него фотоглаз), ей, должно быть, помогает природное обаяние: навстречу летит вопросительная улыбка, молчаливая

просьба «щелкнуть?» – и лица смягчаются, громила приосанивается и вытаскивает из крокодильей пасти манильскую сигару...

\* \* \*

Здесьшний пляжный закат напоминал платье кубышки-Дилы: то же алое золото в воде, в огненном смерче закрученных штопором облаков на смятенном небе, в объятых жаром курчавых горах, в трагическом спуске на воду солнца, зиявшего входом в огненный туннель. Спектакль, поставленный неистовым режиссером без единой капли художественного вкуса. Ежевечерняя истерика тропической природы.

– Это остров со мной прощается, – заметила Айя, – в тон моей рубаше...

– Хочешь, щелкну на память? – предложил Леон.

Она покачала головой, нахмурила роскошные брови и сказала, кивнув на свою камеру:

– Мильён штук закатов...

От пенишета она пришла в восторг. Тот и вправду попался на редкость удачный: почти новый, с двумя каютами, кормовой и носовой, и при каждой – душевая с гальюном. И кухня довольно просторная (насколько это возможно на такой плавучей «хрущобе»), и все при ней: холодильник, плитка, в ящиках чего только нет, от штопора до рюмок (за «интерьер» с Леона содрали еще двести долларов, и дело того стоило). Главное, осадка у судна – всего 85 см, и значит, даже на мелководье можно

подойти близко к берегу. Удобно, когда ты не связан с портовыми понтонами: причаливай, где душа просит, – в лесу ли, на берегу реки, на морском побережье. Вбил кувалдой железные колышки, привязал канатом кораблик, как козу – пастись, а сам – на свободу: гуляй, ужинай, спать заваливайся...

Леон оставил пенишет там, где кокосовые пальмы на тонких ногах спускались к миниатюрной заводи, отделенной от моря бурыми, щекастыми, в мокро-зеленой щетине камнями, по которым карабкались какие-то юркие и корявые морские обитатели. Одна пальма (ориентир и «якорь») так наклонилась к воде, что путаница ее корневого клубня наполовину вздыбилась над песком.

*К плавучим домикам он стал приглядываться, едва оказавшись в Париже. «Плавучий Париж» – вообще отдельное пестрое государство: баржи-рестораны, баржи-театры, и жилье, и притоны... Единственная морока – место для «прописки» такого романтического обиталища. Сегодня застолблен и обжит каждый кусочек берега Сены. Леон лично знал двух артистов кордебалета, которые мечтали за копейки избавиться от катеров, доставшихся в наследство.*

– Да здесь можно годами жить! – заявила Айя, дотошно обшарив и осмотрев все отсеки.

– А люди и живут, – отозвался Леон, – причем издавна. Пенишет – это же от «пениш», «баржа». Когда вся промышленность работала на угле, хозяева барж были таким отдельным народом во всех странах. Плавали, зарабатывая на перевозках угля, там же и жили.

– А вот это колесо с рождками, значит, – штурвал... Дашь порулить?

Щелкнула тумблером на пульте управления, и тут же загорелась лампочка и раздался комариный писк.

– Ой, что это?

– Выключи, это подкачка дизеля! – прикрикнул он. – Не смей ничего трогать!

Но через минуту сжалился и показал пост управления: тут все довольно просто. То, что «колесо», – то штурвал, да, а это приборная доска: тумблер зажигания, рядом – сектор газа, вот этот рычаг – «вперед-нейтралка-задний ход»... Ну, и спидометр, показатель расхода топлива, «автопилот», эхолот, GPS...

– Ты не хочешь... – У него чуть не вырвалось: «...помыться?» – и, ей-богу, судя по затрапезному виду и солоноватому запаху, душ ей бы не повредил, да и рубаху эту революционную недурно бы постирнуть. Но он запнулся и спросил: – Не хочешь перекусить? – Вспомнил, как она заглотала суп на террасе бара.

На Краби он запасся толковыми и вкусными консервами, вроде утки в вине с белыми грибами, несколькими сортами сыров и сухарей, кофе, шоколадом и даже двумя бутылками бургундского, которое за последние годы в Париже полюбил и иногда позволял себе – разумеется, не в дни концертов или спектаклей.

– Да нет... – Она засмеялась: – Неужто я так отошала?

Он сделал вид, что пристрастно ее осматривает. Даже, взяв за плечи, прокрутил перед собой полным кругом.

– Не знаю... Вдруг раньше ты пышкой была?

– Никогда! – твердо возразила она. – Это не мясо, это жилы и мускулы! Во-первых, я все детство на соревнованиях по фигурному, а потом, в Судаке, целое лето

зарабатывала брейк-дансом на набережной – вообще стала каменная. А потом пасла коров, там тоже нужна силища – кнутом щелкать. А еще у меня был цирковой эпизод в биографии: я боролась сдохлым удавом – знаешь, какой тяжелый! Если повесить на шею – это как колесо от грузовика.

Он вздохнул и покачал головой: как все это знакомо! Будто домой вернулся.

– Не веришь?!

Она метнулась к рюкзаку, извлекла ноутбук, открыла, нащелкала что-то и подтянула линейку громкости. Грохнула ненавидимая Леоном ритмичная долбежка брейка, сотрясая кораблик почище шторма.

– Но ты же?.. – крикнул он, подразумевая «не слышишь?»...

– Волновая природа звука! – крикнула она. – Ритм!!!

Вылетела на палубу, деловито оглядела пяточок свободного места...

...и тело ее взметнулось, упруго мелькнуло в воздухе, сделав кульбит, в котором и обнаружились белые драные шорты, кругло закрутилось на полу, перевернулось на живот, рухнуло на растопыренные ладони, заскользило клубком, выбрасывая в сторону ногу, руку, ногу, руку... Она заюлила на полусогнутой ноге, вытянув другую, пружинисто поскакала опять на обеих ладонях, заскользила, волнисто извиваясь, пунктирно, коротко обрывая свои движения, переступая растопыренными ладонями по невидимому стеклу перед лицом... Чах! Чах! Чахи-чах! Хоп-кульбит! Хопкульбит!

Когда музыка оборвалась, она так и осталась стоять на руках, с мокрой от пота жарко-алой, спавшей на лицо рубахой, уставясь на Леона двумя упругими грудками.

За ее спиной тлело желтое вымя заката; пылающие облака истекали горячим небесным молоком.

«Совершенная оторва!» – подумал он, вдруг ощутив, как соскучился по своей безумной матери. Та тоже порой позволяла себе выскочить из душа голяком и, гаркнув: «Не смотреть!!!» – рвануть к шкафу за чистым полотенцем.

Пружинисто отпрыгнув на ноги, девушка выпрямилась с торжествующим видом. Даже не слишком запыхалась.

– Блеск! – искренне выдохнул он, выставив большой палец.

Ну что ж, брейк-данс тоже оказался правдой. Видимо, и задохлым удавом дело не станет.

– После такой разминки, – уже не опасаясь обидеть, заявил Леон, – человек нуждается в помывке. Вон там, за кухней, твоя каюта, при ней душ и горшок. Это важно! На корабле самое опасное место – галюн. Моется заборной водой: открываешь клапан, подкачиваешь воздушным насосом и спускаешь воду. Покажу, как пользоваться. Там полотенце, мыло, то, се... У тебя есть во что переодеться?

– Не-а, – сказала она. – Все барахло осталось у Дилы. Даже не стоило забирать, там такая рвань... У тебя найдется какая-нибудь футболка или чё-нить? Шорты или там... трусы?

Он перебирал в чемодане отпускное барахло (за последние годы обзавелся целым шкафом весьма недешевых шмоток и, бывало, перед тем как надеть, бормотал: «Мой венский гардероб!») и думал: шляясь по свету с такой дорожкой оптикой и ноутбуком последней модели, девица могла бы занять хотя б одно приличное платье.

В конце концов выдал ей белую футболку с надписью «Камерный оркестр

Веллингтона» и тренировочные синие трусы, в которых обычно бегал по уграм. Пересидит в этом, пока постирает и высушит свое тряпье.

Она отправилась в душ, но сразу же вернулась, чем-то озабоченная:

– Ага, вот еще... – пробормотала. – Ты не мог бы мне одолжить свою бритву?

– Нет, – сказал он. – Как и зубную щетку.

– Зубная щетка – ерунда! – Она смущенно отмахнулась. – А бритву... мы ее потом могли бы протереть э-э... гигиенической салфеткой.

«Мы»! Очень мило.

– А в чем дело? – спросил он. – Выкладывай.

– Понимаешь, – торопливо объяснила она. – Я боюсь, как бы... Там, у Дилы, много разной публики ошивается. Неплохие ребята, хотя есть ужасные типы. А у тебя тут все сверкает. Ну, и, в общем... я бы хотела обрить башку. Под ноль. На всякий пожарный.

– Вши? – прямо спросил он.

– Ага, – с облегчением, чуть ли не весело отозвалась она. – Голова с утра чешется, сил нет.

Ну, поздравляю, подумал он, злясь на себя самого, поздравляю! Какого черта ты ее сюда приволок? На хрена тебе вообще сдалась эта бродячая фотопоэма? Нет, друг мой, ты сейчас поменяешь концепцию и деликатненько выпроводишь ее на берег. Свою платину из ее ушка выдирать, конечно, не станешь, наоборот, отвалишь энную сумму – в память о «стаканчиках граненых» и прочих фамильных нежностях. Пусть Барышня порадует на небесах. Пусть девочка купит себе приличные штаны и рубашку.

*Вдруг он вспомнил, как однажды приволок арабские вшей из трехмесячной «командировки» в Хеврон, из того самого рабочего барака, где спал на каком-то тряпье, а однажды утром вытряхнул скорпиона из строительной каски. Вспомнил, в какой ужас пришла Владка, – боялась прикоснуться к сыну, даже когда он с хирургическим тщанием выбрил себя всего, с головы до ног, превратившись в пасхальное яичко.*

– Стой там! – буркнул он. – Иди сюда!

Огляделся, достал из-под мойки пустой мусорный бак, перевернул и поставил посреди камбуза.

– Раздевайся!

– Совсем? – деловито осведомилась она. – У меня под шортами ничего...

– Совсем! – рявкнул он. Смягчившись, пояснил: – Все это выкинем. Погоди-ка... – извлек из ящика и развернул пластиковый мешок: – Бросай все сюда.

Второй мешок расстелил на перевернутом баке, готовя импровизированное парикмахерское кресло.

Она стащила через голову красную рубаху, стянула шорты – глядя ему в лицо доверчиво и прямо, как смотрит новобранец на врача армейской медкомиссии.

Старательно отводя глаза, он шарил в несессере среди ванной мелочовки, искал безопасную бритву... Ага, есть. И ножницы. И крем для бритья, отлично...

*Ну, что она тут топчется так откровенно, да еще уставилась на меня? Гос-с-споди, вот бесстыжая девка! Тоже, нашла себе бр-р-р-ратика!*



И вдруг – будто оплеуху себе отвесил: да ведь у нее нет выбора! *Она должна видеть лицо, чтобы тебя понять.* Она не выбирает эти лица, – понял, ты, болван?

– Так. Села ко мне спиной...

Она развернулась, как солдат по команде «кругом», – узкие бедра, мальчишеские плечи... Уселась, обеими руками вцепившись в края мусорного бака.

Он глянул на ее спину и обомлел: чуть ли не от самого затылка вниз, под левую лопатку уходил длинный, бело-розовый на золотистом теле шрам.

Он замер с бритвой в руке и так стоял, не сводя глаз с этого тонко заштопанного следа чьего-то ножа.

– Ты что-то говоришь? – тихо спросила она.

Он опустил руку на ее плечо и сказал:

– Нет. Ничего.

Молча намылил ей голову и ровно, точными движениями стал снимать полосы густых каштановых волос: неважно, отрастут еще... Будто самого себя брил.

\* \* \*

*Впервые она обрилась наголо, перед тем как смыться из Лондона ко всем чертям.*

*Ее лысая башка оказалась последней каплей в отношениях с Еленой, женой Фридриха. Та просто чесалась от ненависти (и не пыталась этого скрыть), когда девчонка заявлялась посреди какого-нибудь приема или «уютного вечера». «Уютный*

вечер» – жанр, особенно любимый Еленой, – означал особенно бездарную тусню пятнадцати богаченьких мудаков из ее обычного окружения вокруг приглашенной знаменитости, вроде какого-нибудь российского телеведущего.

Впрочем, Елену можно понять: у «казахской шлюхи» и впрямь была та еще манера вонзиться в гостиную – посреди благолепия – пьяненькой или подкуренной, да еще со своей вечной камерой, выводящей «тетю» из себя.

– Прекрати щелкать каждое мое слово! Не смей снимать, я сказала! Посмотри на себя в зеркало: ты катишься в лапы к дьяволу!

Ей бы подошла миссия проповедника в дебрях какого-нибудь Сомали, и если б ее съели туземцы, озверев от одного лишь ее постного экологического голоса, их можно было бы поздравить с переходом на здоровую органическую пищу, ибо Елена Глебовна питалась, одевалась и подтирала свою изысканную задницу исключительно продукцией органического производства (здесь Айя обычно издавала губами непристойный звук).

Единственным приличным человеком в особняке была Большая Берта, хотя и та не сразу приняла Айю. Наоборот: зыркнула своими голубыми, как синька, глазами в крахмальных, без ресниц, веках, поджала губы и сказала, будто выплюнула:

– Noch ein Kasache!<sup>[34]</sup>

Фридрих расхохотался.

– Не обращай внимания, – сказал он Айе в первый ее вечер в Ноттинг-Хилле. – Большая Берта монументальна и непрошибаема – как в своих привязанностях, так и в ненависти. Она к тебе привыкнет.

*Кстати, прозвище «Большая Берта» (в честь знаменитой немецкой мортиры 420-миллиметрового калибра) дал ей именно Фридрих, еще в детстве. Ее выдающийся костистый нос и впрямь напоминал дуло гаубицы. А рост! А зад, под который всегда требовалось двойное сиденье!*

*Старуха же (когда Фридрих родился, она не старухой была, а маленькой девчонкой, приемышем, седьмой водой на киселе) всегда именovala мальчика не иначе как «Казах». Не могла простить ему происхождения. Хотя и обожала, хотя и знала (была заикающимся от страха свидетелем, забившимся между буфетом и кладовкой), что солдат Мухан спас Гертруду, застрелив своего лейтенанта. Тот уже валял ее по полу кухни, правой рукой пережимая ей локтем горло, а левой растягивая свою ширинку. Он так и утих, трижды подпрыгнув, с тремя пулями в спине и с растягнутой ширинкой, заливая распростертую и полузадушенную Гертруду красивой малиновой кровью... Кстати, надо бы выяснить у Большой Берты, куда они дели тело этого самого героического лейтенанта? Стащили ночью по лестнице и вывалили в ближайшее озеро? Айя любила ошарашить старуху каким-нибудь таким вопросом.*

*Короче, вынянчив мальчика, Большая Берта, фантастической своей преданностью напоминавшая сторожевого пса, ни разу не упустила случая невозмутимым тоном произнести в самой невообразимой ситуации – например, посреди «уютного вечера»:*

*– Der Leutnant, das wäre besser. Immerhin ein blonder, mit einem menschlichen Antlitz, kein Schlitzauge... [\[35\]](#)*

*О, Берта, Большая Берта... Целая поэма – эта старуха.*

*Ладно, проехали. Проехали всю их долбаную жизнь в дорогом Ноттинг-Хилле.*

*Первые три года, прожитые в Лондоне, казались ей отдельной жизнью, полной воспоминаний...*

*Лондон был мышцей, что сжимала и душила, но иногда и отпускала, и город вновь представал свободным, веселым и заманчивым, особенно если всю ночь колбаситься по барам и пабам Сохо с их потрясающими рожками.*

*А в первую ночь в доме Фридриха и Елены Айя смотрела в окно на странное желтое небо, затянутое низкими облаками. И долго ее не покидало ощущение искусственности всего, что ее окружало, – будто находишься не на улице, а в каком-то павильоне, выстроенном для съемок фильма из диккенсовских времен: узкие улочки, переулки, подвалы... Даже на Темзе, с ее простором, с широкими выхлестами ее мостов, с остриями башен, с гигантским колесом обозрения, в первое время – особенно на закате – Айе казалось, что она попала в открытку. Но потом пришло лето, и над цветными антикварными лавками на Портобелло-роуд поплыли по синему небу розовые облака, и серый город напитался красками – ярко одетые, раскованные люди сидели за столиками кафе, попивая кофе и «пиммс», а по округе там и тут разворачивались овощные рынки, где краснощекие английские фермеры приветливо улыбались в объектив ее фотоаппарата и даже помахивали широкой ладонью.*

*Словом, это был отдельный жизненный перегон.*

*Весь ее путь от апортовых садов был помечен такими перегонами, и каждый*

отличался от предыдущего абсолютно всем: людьми, обстоятельствами, жильем, небом и облаками, а потому вначале очень ей нравился – новизной.

Но по мере того, как живая жизнь перекачивалась в «рассказы», в здоровом чреве этой жизни неизбежно заводились тараканы и мошки скуки, а потом шевелились черви тоски и отвращения. Жизнь загнивала, ее хотелось вышвырнуть в мусорный бак и начать совершенно иной «рассказ»: пересест в другой поезд, корабль, самолет; встретить новых людей; сбрить волосы, проколоть вторую ноздрю, покрасить кармином половину лица; косячком разжиться, наконец.

Лондон она покидала дважды.

Выкатившись из «органического рая» Елены Глебовны, Айя устроилась на работу в «Блюз-бар» («живая музыка в стиле “блюз” весь вечер к вашему удовольствию!») в самом злочном районе Сохо. Это было классно! Она научилась отрывисто и громко разговаривать по-английски, навестила читать по губам так же хорошо, как и по-русски, отпускать шуточки и подмигивать посетителям. Англичане любят таскаться по барам и пабам, так что через месяц-другой Айю знал весь район, у нее появилось много приятелей и подруг, вроде Эми, которые не во всем соответствовали понятию «приличные люди». Елена Глебовна таких на порог не пускает.

С Эми и ее старшим братом Алом они снимали квартирку в подвале под «fast food chicken shop». И все бы ничего, но Эми (она была менеджером бара, где все они вкалывали) страшно пила, бедняга, а контракт на съем квартирки был записан на Айю. К тому же их надули с электричеством, так что жили они при свечах, без

отопления и без горячей воды. Все равно было интересно и здорово, пока хозяева бара не уволили Эми, и однажды, потеряв ключи от дома, та, озябшая, пьяная и в расстройстве (дело было в декабре), принялась ломиться в квартиру, подвывая, разбегаясь и всем телом наваливаясь на хлипкую дверь, которую в конце концов и вышибла. Соседи вызвали полицию, и первое посещение участка (приезд pigs совпал с возвращением Айи из колледжа, поэтому, не вдаваясь в объяснения, скрутили обеих и поволокли в машину, по пути поддавая в спины для бодрости духа), – это посещение произвело на девушку сильное впечатление. Жаль, фотик не успела взять, повторяла она: такие чудные рожки маячили что по ту, что по эту сторону «обезьянника»!

Потом брат Эми испарился, и Айя тянула на себе все квартирные расходы и ждала, когда истечет срок аренды. А пока они с Эми продолжали жить без отопления, при свечах и с дверью, снятой с петель и сдвинутой вбок.

Когда стало совсем невмочь, Айя сбежала (смылась, слиняла, улизнула, укатилась, как колобок: я от папы ушла, от Желтухина ушла и от Фридриха ушла, а от вас, упыри поганые, тем более уйду). С неделю примерно днем болталась по городу, а по ночам, после закрытия бара, тайно проникала в помещение – у нее имелись ключи, хозяева ей доверяли.

Хорошие, уютные были ночки: спала она на диване у камина, укрываясь тремя снятыми со столов скатертями; если просыпалась, наблюдала мышинный футбол: маленькие существа из сказок Гофмана гоняли по полу фисташковые скорлупки. В старинной церкви неподалеку бил колокол (по телу мягко прокатывались длинные воздушные волны, одна за другой), и росла внутри, набухала такая нестерпимая

*тоска, какой Айя сроду не испытывала. Однажды ночью, по-воровски подкравшись к дверям бара (ключи наготове), увидела, как дикая лиса пытается носом открыть крышку мусорного бака. Крышка не открывалась, и, ужасно злясь, лиса царапала ее, широко разева пасть.*

*Снимок дикой лисы, оскаленной в тщетном усилии над крышкой мусорного бака, стал последним в том «рассказе» о Лондоне.*

*Она подсчитала всю свою наличность – «докуда хватит», – кое-что одолжила, продала все, что получилось продать (кроме фотика, конечно), и утром уже болталась по Хитроу в ожидании рейса на Рио-де-Жанейро – «красивое имя, высокая честь»...*

*Это был ближайший по времени самолет, и в нем – единственное свободное место.*

\* \* \*

– А ночью ты не плывешь?

Бритая наголо, в его белой футболке «Камерный оркестр Веллингтона», в его спортивных трусах она была похожа...

...да на меня она похожа, вот на кого, понял Леон. Тем более, что и сам, принимая душ, решительно обрил голову: все равно скоро на сцену – парики, шлемы, грим; барочные видения, золотые колесницы, шелковые тоги и тюлевые крылья

кордебалета... – Ночью люди спят, – сказал он.

После всех наглядных инструкций – как действует на судне душ и смыв в гальюне и чего ни в коем случае делать нельзя, дабы не *свалить «титаника»*, – после ее переспрашиваний, уточнений и путаницы пришлось плюнуть на оставшиеся *цирлих-манирлих* и самому проследить за ее помывкой – что она, в отличие от него, перенесла просто и покладисто, как трехлетний ребенок: «закрой глазки, чтобы мыло не попало».

Сейчас они сидели на камбузе и ужинали уткой и сыром. Собирая на стол, он хотел открыть бутылку бургундского, но вспомнил о пьяном разгроме в баре (сейчас у него уже не было причин ей не верить) и заменил вино виноградным соком.

На экране компьютера, распахнутого на крышке кухонного шкафа, беззвучно проплывали виды какого-то ночного – судя по архитектуре, испанского – города.

– Это Лиссабон, – заметила Айя, мельком глянув на экран.

– А ты, похоже, землю трижды обошла, как Вечный Жид?

– Почти. Мы с моей подругой Михаль месяца три шатались по Испании. Немножко поработали, сколотили копейку и просто гуляли: каждый день – город. Однажды за завтраком, в Севилье дело было, она говорит: а слабо в Португалию махнуть? И мы собрались в пять минут.

*...Собрались-то в пять минут, зато потом долго добирались на перекладных через все деревни Эстремадуры – на автобусах, попутках, чуть ли не на телегах. А когда добрались, разверзлись хляби небесные – страшный, просто тропический*



*ливень...*

*Они вбежали в первый же ресторанчик на rua Мария да Фонте и под смешливыми взглядами молодых красивых официантов отряхивались на пороге, как бродячие псы, потом присели за столик у окна и попросили – бр-р-р-р-р! – кофе погорячее.*

*В окне мотало и гнуло высоченные деревья, растущие вдоль улицы. Вдруг все замерло, будто в преддверии Слова Господня, – и каменным обвалом, с беспощадной мощью рухнула на мир серая плита воды. Айя смотрела на Михаль, на ее милое некрасивое лицо с неправильным прикусом; та улыбалась в ответ, и они сидели так, бесконечно долго, обсыхая, грея ледяные ладони о чашки, словно были одни-одинешеньки.*

*Когда наконец вышли на крыльцо, вместо мостовой бурлила, катилась, крутилась бешеная река под уклон улицы; невозможно было и помыслить в нее войти.*

*Они стояли на ступенях под козырьком, взявшись за руки, – пришлые бродяги посреди вселенского потопа, свободные, бездомные, юные и сильные этой свободой и юностью, – и ждали, пока стихия успокоится. А дождь все лил, лил, и они все стояли и стояли, совершенно одинокие в чужом городе. Рука Михаль озябла и превратилась в ледышку, и Айя время от времени подносила ее ко рту, дышала на нее, согревая...*

*В конце концов ресторан стали закрывать, переворачивать на столы стулья, мыть полы. И тогда один из официантов – тех, смешливых – снял обувь, засучил брюки до колен и по очереди перенес обеих на спине на «другой берег», к автобусной*

*остановке...*

– Где-то была фотография, – сказала Айя, – надо поискать: Михаль на спине нашего доброго Харона...

– Возьми еще утки, – сказал Леон. И положил в ее тарелку мяса.

Со стороны бунгало-бара, опоясанного гирляндами весело прыскающих крошечных лампочек, слабо доносились блюзовые всхлипы; их вспарывали скандальные крики обезьян из влажной путаницы джунглей, звон цикад, какой-то беспрерывный стрекот и редкие истерические взвои – фон, в который вплетались мерные тяжелые удары волн о песок и плеск волны о борта пенишета.

И все подминала под себя восходящая царственная луна – лимонный прожектор в зыбучих барханах звездного песка.

– А спать мы будем вместе? – спросила она тем же нейтральным тоном, каким интересовалась сортом сыра.

Он поспешно и категорически отрезал:

– Нет.

– Почему?

– Потому что ты не пляжная бабочка, а я не взыскиваю с женщины платы за тарелку супа и провоз до Краби.

– Ясно, – отозвалась она. – Это благородно.

*...Двумя словами превращая меня из идиота в мудака...*

Минуты три ели молча.

Он опять подумал: когда она молчит, возникает шизофреническое ощущение,

будто я ужинаю в компании с *другим* собой.

Впервые в жизни рядом с женским существом он чувствовал полное, спокойное и какое-то домашнее равенство. Хотя, если вдуматься: какой покой может быть рядом с подобным беспокойством – с этой бродяжкой, у которой на каждый случай припасена безумная история из собственной биографии?

– У тебя есть жена?

Она задавала вопросы внезапно и прямо, после чего взглядом упиралась в сердцевину его губ в ожидании такого же прямого ответа.

Он помолчал, пожевал и проглотил кусок сыра, непринужденно и убедительно ответил:

– Есть.

– Врешь, – спокойно отозвалась она.

Он хмыкнул, прикидывая достойную отповедь наглой девчонке.

Но она перебила:

– И женщины у тебя давно не было. Я же чувствовала твои руки, когда ты меня брил и... потом, когда мыло с меня смывал... Ты умирал, как хотел меня. И сейчас ужасно хочешь. Разве нет?

Он страшно разозлился, тем более что она была права. Заставил себя спокойно долить сок в ее чашку.

– Допивай. Как бы там ни было, – твердо проговорил он, завершая этот милый ужин, – сейчас ты отправишься в свою берлогу и прекратишь морочить мне голову. А завтра я отвезу тебя в аэропорт.

Эту девицу, в ярости приказал он себе, собирая со стола и складывая в мойку

посуду... эту чертову вшивую провидицу!!! ты будешь держать подальше от своего хера, понял?!

...Вначале она даже задремала – судя по тому, что ей снилась какая-то чепуха. Усталость последних дней скулила в каждой мышце тела, которое молило только об одном: о неподвижности. Усталость, вкусный ужин, чистая койка в каюте-шкатулке... Айя успела подумать: этот загадочный человек, столько сил прилагающий, чтобы держать себя в узде и ни в коем случае не показать... этот человек, Леон – неистовый, резкий, напряженный и в то же время беззащитный под своей кольчугой, особенно когда...

*...и вот уже ехала в поезде, в общем вагоне, – тем утром, когда сбежала из дома, – а на скамье напротив нее сидели трое мальчишек лет семнадцати: Ленька, Генька и Генька.*

*Они были близнецы, Евгений и Геннадий, да просто – «Генька-Генька», а с четвертым би-боем группы AfroBeat парни рассорились и разодрались еще в Алма-Ате и теперь ехали в Судак без номера четвертого.*

*Минут через двадцать оживленной трепотни обо всем, что в голову придет, они предложили Айе войти в «четверку крутых би-боев». Самым ударным номером программы у них была «синхронная четверка». Передними запускали близнецов Геньку-Геньку, и те отчебучивали ювелирным ходом один в один каждое движение – убойный был номер, публика обалдевала и хорошо отстегивала: люди же ясно видят, – никакого фуфла, ребята наяправляют дай боже!*

*Айя с восторгом согласилась и тут же в туалете коротко остриглась маникюрными ножницами чуть не под корень – когда вышла, мальчишки ее не сразу признали: она была вылитым парнем. По прибытии в Судак примерно с неделю они ее натаскивали, заставляя десятки раз повторять «бочку», «гелик», «свечу» и «черепашку». (В свою программу ребята щедро напихали трюки и штуки из разных танцев и стилей – от сальсы и рок-н-ролла до капоэйры и даже кунг-фу.)*

*И после «курса молодого бойца» бросили в дело.*

*Каждый вечер на набережной Судака, в виду зубчатых башен старой генуэзской крепости «знаменитая четверка би-боев» отжигала нечеловечески.*

*Они стали – «звезды набережной»; на них собиралась уважительная толпа, так что сборы получались – грех жаловаться.*

*Ходили они в больших синих футболках с длинными болтающимися рукавами и в черных мешковатых штанах – рабочая одежда брейк-дансера.*

*Ужинали всегда в «Чебуречной» – там группе давали скидку за постоянство, – а ночевали в палатке на пляже, в спальных мешках.*

*Это было самое счастливое лето в ее жизни.*

*Она всем телом слышала море, удары волн о берег, тархтенье моторок, даже гудки пароходов; слышала, лежа в спальнике с Ленькой, куда однажды забралась на рассвете. Ленька и стал ее первым, очень простым, очень честным и душевным парнем. Он всегда делил деньги поровну, всегда сам покупал одежду на всех, заботился о каждом – лепил Айе горчичники на спину, когда простыла...*

*(Сейчас она иногда жалела, что в одну из ночей ушла, не попрощавшись;*

жалела, потому что в Леньке, при всей его незамысловатости, была какая-то застенчивая сдержанная нежность. И жаль, что не осталось «рассказа» об их чудесной «четверке крутых би-боев» – диск с этими снимками пропал в Рио вместе со всем остальным, в старом рюкзаке, унесенном бандитами.)

Просто уже надвигалась осень, и, сидя в «Чебуречной», ребята горячо обсуждали, куда податься зимовать: в палатке по ночам становилось холодно.

Айя же совсем заскучала и злилась, что приходится скрывать эту скуку от остальных и отплясывать надоевшие танцы, в трехсотый раз повторяя навязшие в ногах-руках фортеля. Никогда не могла и не хотела стреножить эту свою вольную тягу; вставала и уходила – прочь, и дальше, и дальше катилась, пока не упиралась в новую жизнь, в совсем другие лица, совсем другие пейзажи.

Однажды, когда мальчики уснули, она легко и бесшумно выбралась из спального мешка, быстро сложила свой рюкзак с фотоаппаратом, вышла на дорогу с поднятой рукой – бесстрашная тонкая фигурка с рюкзаком, в ошпаривающем свете желтых фар. Добралась на попутке до Феодосии и села в первый же поезд, который ехал... да она никогда особо и не интересовалась направлением поездов. «Встань и иди...»

Тук-тук... тук-тук... тук-тук... В окнах тянулись рассветные кадры Крыма, жизнь мчалась вперед, вновь набирая обороты, становясь глазастой, яркой, жадной, стремительной... рассказливой!

Тук-тук... тук-тук... тук-тук... – радостно прокатывалось по телу.

Открыв глаза, она поняла, что это ритмичное «тук-тук» – просто переплеск

воды о борта катера, который называется забавным детским словом «пенишет».

В двух овальных окнах под потолком каюты слезилось близкое граненое небо в ломовых безумных созвездьях. Опять забыла, как что называется. А ведь Ричи показывал и рассказывал о каждом. Ричи, бывший наркодилер, сам наркуша и конченный человек, месяцами жил у Дилы, скрываясь от закона и медицины. Астроном по образованию, когда-то, лет сто назад, он окончил Беркли и трепетно относился только к звездному небу.

...Она вспомнила весь минувший день, *неприступного шейха*; радостно взмыло внутри: уеду, уеду отсюда! – это было главным. Но мысли опять закрутились вокруг непонятого человека. Вот ведь что получается: никакой он не шейх. Родным с детства кажется – может, потому, что ужасно похож на ту девицу со старой коричневой карточки, в платье с кружевами, с черной бархоткой на шее; и та, оказывается, вовсе не была балериной, но, видимо, что-то значила для дяди Коли, раз он всю жизнь хранил ее карточку.

Айя *прислушалась* и своим безошибочным чутьем поняла, что *этот* ни капельки не спит в своей каюте. Совсем, мучительно не спит...

Больше всего на свете ей хотелось *отдать концы, отчалить, провалиться в черную полынью сна... здесь, на безопасном семейном кораблике...*

Она даже испугалась, что после всех этих тягучих недель и бессонных ночей на нее может навалиться знакомый с детства и неотвратимый, как приступ болезни, трехдневный свинцовый обморок-сон. Сон-защита, сон-занавес, друг, но и враг – в зависимости от того, где и с кем он ее настигал. И наваливался порой так некстати, и скручивал по рукам-ногам, пеленал, как младенца, заворачивал, погружал в

забытье...

Больше всего на свете хотелось спать. Но она вновь *прислушалась* и ощутила – дрожь его желания, безысходную пустоту его ожидания, надежду, перекрученную отчаянным, волевым, дурацким жгутом. Вздохнула, поднялась и босиком к нему пошлепала.

...Он услышал этот легкий шлеп, замер и напрягся, ничем не выдавая своего бодрствования. Но когда она возникла в проеме открытой двери, он растерялся: черт возьми, эта нудистка явилась в чем мать родила – прямо Гоген, тропическая простота нравов. Однако на пороге застряла – видимо, за ужином он нагнал на нее страху. Стояла, оплетая собой низкий косяк, в темноте похожая на лысого мальчика, и смотрела на койку, где во тьме смутно белела простыня, и Леон под ней – надгробным барельефом.

Наконец кашлянула и проговорила хрипатым со сна голосом:

– Не притворяйся, ты не спишь. Я тебя очень чувствую. Я вообще жутко чувствительная. Понимаешь, отсутствие одного органа компенсируется развитостью других. У меня это зрение и что-то еще внутри, назвать и объяснить не умею, просто оно есть.

Он продолжал лежать, не двигаясь, ничем на ее слова не отзываясь, руки за голову. Ситуация идиотская, сказал он себе. Довольно обидно девушке, даже лысой, торчать в голом виде невостребованной. И оборвал себя: нет и нет! Перетопчешься. Утром отвезешь ее в...

– Я только темноту ненавижу, – сказала она. – Темнота – враг глухого. Наверное,



она как-то замедляет звук. – И вдруг спокойно, легко проговорила: – Я понимаю, ты брезгуешь. Но, знаешь, я чистая. Никогда не болела разной там... дрянью. Когда в Рио, в фавеле, меня изнасиловали и изрезали два ублюдка, я очнулась в госпитале после наркоза, и первой мыслью было: они меня заразили. Но пронесло. Просто повезло, понимаешь? А потом у меня был выкидыш. Михалька, моя подруга, сказала: какое счастье, ты бы не вынесла – родить этого проклятого ребенка и видеть, на кого он похож, и думать, куда его пристроить... А я очень плакала тогда – от жалости и горя. Я вообще не считала, что этот ребенок – *проклятый*. Это ведь был бы *мой* ребенок, только мой, и он ни в чем не виноват, правда? Я бы его все равно любила...

Он молчал – а может, что-то говорил? – в темноте она не видела лица.

Нет, он молчал, не мог проглотить ком в горле, лежал, пришибленный. *Кто ее послал ко мне* (пытаясь проглотить этот ком), *зачем мне все это слышать с моей долбаной биографией, суки, суки, с-с-суки!!!*

– Просто по ночам бывает так страшно... Ну, я и прикинула: может, пустишь меня полежать рядом, все равно ж ты не спишь? Просто полежать. – И вдруг встрепенулась: – Ты, наверное, думаешь: если у меня на голове вши, то и *там* тоже? Это неправда, но если хочешь, я и *там* побрею.

Он чуть не взвыл от физической боли в груди. Господи, сколько же ее топтали, били-резали, и что ж надо было сотворить с этой девчонкой, если... Откинул простыню и сказал отрывисто:

– Ныряй!

Она увидела, как взметнулся край простыни, бросилась к нему, юркнула в

постель, доверчиво растянулась рядом – вероятно, впервые за эти месяцы не на полу в курятнике у Дилы, не на пляже, а в согретой живым существом постели.

– Ой, тепло-о... – пробормотала. – Ты горячий, как грелка.

Обняла его за шею и сразу *услышала нутряной вой* такой натянутой струны, такой натянутой – только тронь! Подумала – вот бедняга...

– Вообще-то, – буркнул он, слегка отодвигаясь (уже побежденный, уже беспомощный, уже катящийся в сладко пульсирующую бездну), – учти, я не привык к этим к-коммунальным братским постелям... Боюсь, не смогу выглядеть э-э... джентльменом.

– Я уже чувствую, – сказала она безмятежно и просто, как волна, окатила его ладонью от горла вниз, легко и нежно огибая препятствия.

От неожиданности он подскочил и заорал:

– Смирно лежать!

– Почему? – шепнула она, встав на колени и бережно укладывая его назад, как мать – проснувшегося с плачем ребенка. – Ну почему... почему...

И, как волна, накрыла его с головой покрывалом из тысячи пальцев и губ...

Его оглушила глубокая и полная тишина, точно он нырнул в расщелину рифа и продолжал погружаться все глубже, рискуя не вынырнуть никогда.

Лишь безмолвная нежность глубинного течения ворочала его и ритмично качала, и, тихо его обнимая, шевелились бескрайние поля змеистых водорослей – так долго, так томительно долго, так бесконечно долго, так ненасытно долго, что он не верил собственному телу. И, как бывало под водой, на исходе задержанного,

запертого дыхания, на взлете невесомого тела, пропарывающего слизистую стихию с легкими, исполненными умирающим воздухом, он испытывал мощный всплеск эйфории, наркотический транс улетающего сознания, блаженный экстаз перехода из бездны в бездну...

Самым потрясающим было: ее руки, их прикосновение; их легкое касание. Эти руки говорили, спрашивали, слушали, убеждали, склоняли, требовали. Они вытягивали, извлекали из его тела только им внятный смысл, исторгнутый спаянной сиамской глубиной; несколько раз он пугался, не услышит ли она его мысли, которых, впрочем, и не было, как не бывало их на глубине...

Раза три он поднимался на палубу, где ровно и свежо тянуло ветром и под бледнеющим сводом мерно катились серебряные гребни по черной акватории. Гребень скалы неподалеку округлился двумя кучерявыми холками, двумя няньками, баюкающими в седловине-колыбели лимонную луну.

Я сошел с ума, смятенно думал он, отирая ладонью пот, катящийся по груди, я спятил, это во сне творится, так не бывает – и вновь возвращался к ней, уже засыпающей, будил, тормозил, погружался и плыл, выплывал, уходил, достигал, задыхался, выныривал...

Ночь казалась бесконечной, невесомой, безмолвной; кажется, они не сказали друг другу ни одного слова, а мускулистая ловкость и совершенная, родственная слаженность их тел существовали сами по себе и были разумеющимися в любом повороте, слиянии, скольжении и обморочном спазме наслаждения, так что раза три он ловил себя на диком ощущении любовных объятий с самим собой...

Под утро Айя уснула – внезапно и окончательно, будто навсегда. Только что ладонь была отзывчивой и властной на его бедре – и вот уже вяло скользнула вдоль тела. Она откинулась на подушку и всем существом в один миг ушла в темную воду рассветного сна. Кончилась ночь.

Он освобожденно вздохнул, – раб, отпущенный на волю; господин, отпустивший на волю любимого раба, – поднялся и накинул рубаху на тело, взмыленное, как у скакуна на последнем фарлонге дистанции. Оглянулся на койку.

Айя спала, откинув голову на подушку.

Минут десять он неподвижно стоял над ней, будто получил задание на запоминание. Отметил, что левая грудь чуть меньше правой – не явно, а вот как у близнецов бывает, когда второй ребенок, в точности такой, как первый, более робок и всегда, во всем как бы догоняет старшего. Моя амазонка... А брови изумительные, *ласточкины*, опять подумал он; и когда закрыты глаза, в лице проступает нечто античное и царственное – лицо с фаюмского портрета.

Он укрыл ее простыней, помедлил, добавил тонкое одеяло – рассвет принес свежую тягу ветра – и поднялся на палубу.

Минут пятнадцать стоял там, остывая, проникаясь наступающим утром, глядя, как сизое небо с каждой минутой выпивает из моря синие соки дня. По горам стекал зеленый шелк рассвета. В отдалении – пунктир ом – шли на лов рыбацьи лодки, под навесами виднелись черные головы. На пустом берегу бесхозными тушами громоздились островки камней – как утопленники, выброшенные волной на берег. Черная масса густой поросли на холмах, с вымпелами высоких пальм, замерла,

притаилась... И только лампочки над входом в ночной бар продолжали вяло пульсировать – видимо, их забыли выключить.

И опять он не понимал, что делать дальше со своей жизнью. Эта бродяжка, столь на него похожая внешне, была благородней, чище и в сто раз трагичней его, как бы он ни лелеял свои душевные порезы и прочие царапины. Она была настолько значительней его, что попросту не уместилась бы в его жизни – в двух ее столь разных ипостасях: в кропотливой работе и жестком расписании артиста – и в его тайной, многоликой, обоюдоострой *охоте*, куда он не собирался пускать никого.

Она, со своей неукротимой тягой к передвижениям, просто сникнет, заставь он ее торчать хотя бы год в его парижской квартирке. Спустя неделю – ну, месяц – она выскользнет на рассвете из дома по рю Обрио, и тогда – сказал он себе – тогда уже твоей смертной тоски ничем не перешибешь. Да ты просто не вынесешь *такого поражения* – во второй раз. Ты околеешь.

Значит, решено: благодари судьбу за эту ночь, не заслуженный тобою щедрый подарок. И отвези эту девушку на Краби.

Он спустился и дотошно обыскал ее рюкзачок. Поразительное убожество, если не считать великолепной камеры, двух линз и новенького ноутбука с набором съемных дисков. Полнейшая нищета. Два паспорта, британский и казахстанский, *два веселых гуся*, перехваченные резинкой. И такой же конторской резинкой перехвачена парочка тощих селедок – ее старые коричневые сандалии. Впрочем, вот еще завалялись в очередном кармашке затертые водительские права на имя Камиллы Робинсон – самого подозрительного вида, с самой замыленной на свете

фотографией. Подобрала потерянные? Стянула у бедной Камиллы?

Странно, она ведь рассказывала о своих выставках в каких-то галереях, о работе в каком-то рекламном агентстве... Видимо, все это было в прошлой жизни, и она здорово пообносилась, пока болталась по азиатским задворкам шарика.

В самом маленьком кармашке рюкзака он обнаружил сложенную раз в восемь давнюю, частично распавшуюся на сгибах, отправленную в Лондон телеграмму: «Скончался желтухин третий тчк грустно тчк папа». У Леона мелькнула мысль, что он и сам позаботился бы о такой старой телеграмме, если б посылал на задание своего «джо». Зачем-то по привычке дважды пробежал глазами адрес отправителя и, хотя сразу приказал себе выкинуть из головы – никаких зацепок, никакой тебе пощады, сукин ты сын! – разумеется, намертво запомнил.

И, как она, внезапно обессилев, прилег рядом «на минутку» – одетый, готовый сразу же вскочить, умыться, включить дизель, вытянуть колышки и, оттолкнувшись багром от камней, отчалить... И провалился в сон.

Когда часа через три открыл глаза, в тонированные окна пенишета уже ломилось солнце. Ая спала в той же позе и, кажется, могла так проспать еще очень долго, если б дали. Нет, пора ее будить, с сожалением подумал он, и когда, моргая и щурясь, она села, уронив на колени простыню, спросил, улыбаясь:

– А эти милые разлученные грудки – они у тебя росли наперегонки?

Вот тут она и расплакалась... Рывком потянула на грудь простыню и вдруг одним духом рассказала историю о прилетевшем из солдатского грузовика яблоке – впервые рассказала: оказывается, никто прежде не замечал.

Он не стал отирать ей слезы, лишь медленно стянул простыню, полюбовался, склоняя голову то так, то эдак. Опять не позволил натянуть простыню, сдернул ее совсем и со спокойной уверенностью заметил:

– Они сравняются... Когда наполнятся молоком.

\* \* \*

Уже в открытом море поддался на ее уговоры и дал порулить, показав, как тормозить в воде: плавно сбросив обороты дизеля, перейти на «нейтралку», после чего дать задний ход – и вновь на «нейтралку». Просто, куда проще, чем в автомобиле.

Велел не трогать красную кнопку корабельного гудка на приборной доске – сигнал тревоги. И когда убедился, что она неплохо справляется, успокоился и раза три даже отходил минут на пять. По крайней мере, не нужно было привязывать руль, чтобы мчаться в галюн отлить, – что ни говори, большое удобство. Эх, забыть бы сейчас обо всем и – безумие, конечно! – вправду махнуть с ней куда-нибудь подальше вдвоем. (Любой случайно вспыхнувший в памяти миг минувшей ночи вскипал у него в груди какой-то горько-веселой, пьянящей, горючей лавой, что растекалась и отзывалась в каждой мышце.)

– Так что там сдохлым удавом? – спросил он, стоя у нее за спиной, обнимая ее и заодно приглядывая за постом управления. От нее пахло его собственным одеколоном, которым она щедро с утра попользовалась (вообще, девочка неплохо

освоилась в парфюмерных закромах его скромного несессера). Надо ей купить в аэропорту какие-то приличные духи, отметил он.

– Что ты там вынюхиваешь у меня за ухом? – поинтересовалась она. – Ты меня сейчас задушишь.

– Так я же удав, – отозвался он, – хотя идохлый. А кстати, что с ним произошло, почему трагический исход?

– «Пресытился днями своими», – серьезно пояснила она. – «Ушел к праотцам». Нет, правда: старый был просто. После представления сразу засыпал, просыпался перед следующим. Когда-то был ого-го, в молодости чуть не удавил Макса, дрессировщика, много лет был главным номером программы, ты бы видел его: огромный красавец, медово-янтарный, изумрудные соты по всей шкуре, плавный, мощный, коварный... «Борьба с удавом» номер назывался. Макс изображал Лаокоона без сыновей. Потом удав постарел, вот и все. Знаешь, наверное, и с людьми бывает: в конце концов мечтаешь, чтобы все тебя оставили в покое и перестали с тобой бороться.

– А где все это происходило? На Северном полюсе?

– Почти. В Эдинбурге, мы там гастролировали. Цирк «Орландо». Ну и, сам понимаешь, в Шотландии удавы не на каждом дереве живут. Макс от горя чуть сам не подох. Во-первых, жалко, близкая душа. Во-вторых, к черту гастроли... Что делать? Так он придумал держать удава в холодильнике на верхней полке, чтобы не засмердел. Чтоб каждый вечер – на арену, как ни в чем не бывало.

– Мечта любого артиста – остаться на публике после собственной кончины, – усмехнулся Леон.



Он не без удовольствия отмечал, как точно она отзывается его репликам, с каким ненатужным юмором вставляет там и тут словцо, будто со стороны наблюдает ситуацию... и как же ему замечательно с ней – *оказывается, не только ночью*, – и как странно, что при таком диковатом образе жизни она совсем не похожа на безумицу.

– Но однажды Макс запил, и Кирюша, директор труппы, предложил мне его заменить – опасности, мол, никакой, никто тебя не проглотит. Только тяжелый покойник, сволочь. А было эффектно: выходит девушка в блестящей тунике и начинает ворочать на хрупких плечах кольца удава – его перед спектаклем тоже покрывали таким грим-блеском. Короче, гастроли прошли нормально. Никто из публики ничего не заметил. – Она повторила задумчиво: – Никто не заметил. В жизни тоже: кое-кто продолжает карьеру Лаокоона, делая вид, что удав еще живой. Знаешь, – продолжала она, с удовольствием ощупывая ладонями штурвал, – классная штука – такое вот маленькое послушное судно. Это ж бог знает куда можно укатить! Я никогда еще на таком не плавала.

– А на каком плавала? – уточнил Леон с улыбкой, предвкушая очередную сказку Шехерезады.

Ему нравилась ее манера рассказывать. Барышня говорила: «Интеллигентный человек принимает тебя не по одежке (одежка – вздор!), а по речи». Исходя из этого, Айя вполне могла оказаться беглой аристократкой: за ее манерой говорить и рассказывать чувствовалась семейная муштра «старой школы» – видимо, бабка потрудились: правильные ударения, выдержанные паузы... И только руки-беглянки все рвались что-то подтвердить, что-то исправить, добавить, украсить... украсть.

– Я плавала на арабской рыбацкой лодке! – гордо и спокойно проговорила она.

– Что-что?! – Он засмеялся и ткнулся носом ей в ухо.

– Я работала евреем на арабской лодке в Газе, – повторила она серьезно. – Давно, когда еще Газу контролировали израильтяне.

Он умолк и глянул сбоку в ее профиль: Айя старательно ровно держала штурвал, старательно прямо смотрела перед собой. При этом совсем не была напряжена. А то, что она не способна ничего выдумать, уже было ясно.

– Не понял, – сказал он. Хотя, конечно, знал: в те времена пограничный израильский патруль действительно не выпускал в море арабскую лодку без еврея, так что многие арабские рыбаки нанимали искателей приключений, безработных репатриантов и туристов на период лова. Это она ему в точности и растолковала. Довольно выгодно: день работы – сто шекелей, да еще рыбы немного. – Вот как. Значит, ты и там успела побывать, – небрежным, почти безразличным тоном заметил он.

Она потерлась бритым затылком о его щеку и сказала:

– Ага... Я же тебе рассказывала о Михальке. Она родом из кибуца на севере Израиля. Мы с ней в Бразилии встретились, она там после армии гуляла, и так подружились, что потом уже всюду были не разлей вода. И когда она к себе умотала, я скучала, скучала по ней... Потом взяла билет и прилетела! Свалилась на голову. Думала, дней на пять, а прожила там полгода.

– Почему? – спросил он нейтральным тоном.

Она помолчала. Пожала плечами:

– Да просто! Просто там хорошо... Очень мое место, особенно Галилея.

Немного похоже на Алма-Ату, тоже горы кругом... Короче, сначала я работала в кибуце у Михаль, на птичнике, потом перекочевала в один сельскохозяйственный кооператив под Ашкелоном – собирала там виноград, укладывала в ящики...

\* \* \*

*Да, жгучая работенка была, с избытком витамина D. Торчишь на солнце до полного обугливания шкуры...*

*Однажды они с ребятами сидели на мешках под натянутым зеленым тентом – под ним кисти крупного зеленого винограда казались небывалыми плодами, раскрашенными каким-нибудь Гогеном, – рвали руками свежие теплые питы, принесенные студентом Гошей из ближайшей лавочки, макали их в банку с тхиной и заедали виноградом – не худший обед на свете. Вот тогда кто-то из ребят лениво сказал, что арабы ищут еврея в лодку. И то ли к тому времени она объелась виноградом и ее на рыбное потянуло, то ли понадеялась, что в море легче жара переносится... Записала на использованном проездном номер какого-то мобильного, к полудню о нем забыла, а вечером нашла выпавший из правой туфли проездной и позвонила.*

*Семья арабских рыбаков из Газы, жила морем. Их было семеро братьев, дружных, молчаливых.*

*Заправлял всем отец, старый Халед, бесприкословный авторитет у сыновей. Он и улов распределял, как разделит свой огромный четырехэтажный дом: этаж –*

женатому сыну, пол-этажа неженатому. И был очень строг: велел довольствоваться лишь одной женой и держаться подальше от ХАМАСа. Изъяснялась с ними Айя немного по-английски (они знали пару-другую слов), через неделю стала чуток по-арабски понимать: слово там, слово тут... А что там особо понимать: «сеть» – «масида», «бросай» – «итарахи», «вытягивай» – «исхаби», «помоги» – «ис'ади»; «ты – хорошая девушка» – «интишаба мниха»...

В море выходили с шести утра через контрольно-пропускной пункт Эррез. Там к ним сразу подходил катер военной полиции: проверка документов. И тут пригодился старый, но годный Михалькин паспорт – она когда-то его теряла, получила новый и вдруг обнаружила пропажу в прошлогодних джинсах. На фотографии они были не то чтобы сильно похожи, но однотипны: обе стрижены под мальчика, обе с пирсингом, причем в одних и тех же местах: бровь, ноздря, нижняя губа. Этот пирсинг и сбивал с толку; в черты лица никто особо не всматривался. Да Айя вообще изображала глухонемую, а уж шляпа с полями на ней всегда была нахлобучена по самые брови...

И разверзлась вокруг такая ядреная, взახлеб, синева, что кожа становилась оранжевой: блеск нестерпимый, синий безжалостный блеск.

Лодка у них метров семь была, палуба открытая. Рыбаки бросали сеть, в которую попадалась вначале всякая шелупонь – крабы, мелкая рыбешка. Если впереди по носу появлялся косяк рыб, его обходили сетью. Бывало, что шел локус – это, считай, везучий день выпал: локус – рыба большая, дорогая, до метра в длину, и весит пятнадцать, а то и двадцать кило. Но и сардины – тоже удача.

*Иногда выходили в ночь целой флотилией в пять-семь лодок. И это уже совсем другой лов: надо застыть, замереть и выждать. Поэтому все укладывались спать прямо на палубе. На носу факелы горят, пламя мотается на ветру, как огненная тряпка с траурной каймой. Черная гладь моря, и на ней – огни, огни... Может дождь припустить, и тогда вода вскипает седой дрожью... Лежишь на корме, накрывшись с головой какой-нибудь курткой, и одним глазом видишь, как за кормой пузырится вода от мотора. Вокруг фосфорическое, дьявольское свечение моря, на тебя катят фиолетовые валы, и ты лишаешься прошлого и забываешь, что там случилось с тобой пять, десять лет назад. И какие такие апортовые сады были в твоей жизни. Одно только чистое могучее море, волны, сильные фигуры молчаливых рыбаков. А еще – летучие рыбы! Огромные крылья! Выскакивают перед лодкой на метр-полтора и летят над водой метров сто.ловишь их голыми руками, а они тебе влетают то в голову, то в живот...*

Когда она рассказывала, ее пылкие руки, и сами похожие на летучих рыб, не удерживались на штурвале, взлетали, мелькали, кружили, охватывая целый мир – волны, рыбаков, старые чиненные сети. Леон, стоя у нее за спиной, то и дело перехватывал штурвал.

– Не устала? – спросил он. Почему-то захотелось, чтоб она ушла от *его опасных берегов*, вернулась в мирное Андаманское море, рассказала о чем-то другом. Ему вообще неуютно становилось от этих рассказов, будто он боялся что-то еще услышать о ней, что, как вчера ночью, могло вывести его из равновесия.

Почему этой девушке так легко, с первого слова удавалось проникнуть в глубину

его всегда запечатанного нутра, почему он не мог и не хотел уклоняться от этих болевых касаний? Почему с минувшей ночи ему так хотелось вновь и вновь, нащупав тонкую нить ее шрама, разглаживать его, будто неумолимыми прикосновениями можно навсегда растворить беду в беспамятстве счастья?

Он уже высчитывал время пути, сознавая, что они все ближе к расставанию. И не понимал – не понимал! – почему она ни словом об этом не обмолвится. Не спросит ничего, не попытается выяснить и дознаться. А вдруг, сказал он себе с внезапной тревогой, вдруг она молчит именно потому, что уверена: отныне они – *навсегда, навсегда?*.. Как и ты был уверен – там, в милом доме, распластанном на скале, в ночь, исхлестанную плеткой молнии, когда лежал в «норе», самому себе улыбался и повторял это самое *навсегда, навсегда?*..

Он стоял за ее спиной, прижавшись щекой к бритому затылку, обнимая ее, не только ради *проводимости звука*. Все его существо сейчас тянулось вжаться в нее и никуда не отпустить: *навсегда, навсегда...* Стоял и думал: как странно разбегались, приближаясь друг к другу, ниточки дорог – его и этой девушки. Ниточки судьбинных шрамов, заштопанных такими разными иглами.

А она вроде и не тревожилась, и не грустила перед расставанием. Казалось, любое слово – о чем бы то ни было – вызывает очередной эпизод ее пестрой и плотной жизни, такой многослойной и обоюдоострой, будто все байки и рассказы Владки кто-то собрал воедино и заставил его прожить их за одни только сутки, вместе с Айей. Он просто не мог ей не верить: ни одна разведка в мире не могла бы все это сочинить и утрамбовать в единственную жизнь, да еще такую молодую.

Никому бы в голову не пришло соединить все истории в одну судьбу, да и зачем? И рассказывала она спокойно, улыбочиво, с точными скупыми замечаниями, с уточнениями – вскользь, но в самое яблочко. И потому он ей верил: Желтухин их повязал, дядя Коля-Зверолов и «Стаканчики граненые»...

\* \* \*

Пенишет они сдали на удивление гладко: уже причалив, дружно, в четыре руки прибрали на судне, выбросили мусор, Леон за три минуты уложил свой чемодан, а Айе в ее рюкзачок и складывать-то было нечего.

На дорогу он выдал ей свои лучшие итальянские джинсы, которые сидели на ней как влитые, голубую майку и темно-синий свитерок с круглым вырезом под шею. («Это все мне? Даришь?! Нет, правда?! Какой ты добрый...» – все это – лучась от благодарности, так что хотелось биться головой об стенку.) В Европе, куда она якобы намеревалась лететь, температуры сейчас были довольно унылыми.

– Надо бы тебе обувь купить по погоде, – озабоченно заметил он. Она глянула на свои ноги в пляжных сандалиях, пошевелила большими пальцами и засмеялась.

В аэропорт добирались на автобусе и всю дорогу молчали, хотя держались за руки, как дети. И руки уже не скрывали ожидания разлуки: переплетались, спорили, умолкали в томительной ласке и вновь, оживая, панически сплетали пальцы в нерасторжимый замок.

Неужели она решила избавить его от всех своих внезапных, как выпад шпаги,

«почему»?

Она – беглянка, твердил он себе в холодном отчаянии. Это болезнь, забыл, как называется, но она вроде неизлечима... Не дай себе пропасть: ты сдохнешь, обнаружив однажды пустой дом. И не однажды, а через месяц, самое большое – через год! Это в море легко, на кораблике, под зелеными звездами, среди кудрявых башковитых гор. Она такая сложная, с грузом всей ее жизни. Ты просто не вытянешь! Так скажи себе, наконец, что ты – артист, ты – Голос и себе не принадлежишь. Ты знаешь по своим хмурым утрам, по нервному молчанию в дни спектаклей: не всегда хочется ежеминутно предъявлять свое лицо даже самому любимому человеку; не всегда хочется, чтобы тебя обнимали даже самые любимые руки.

Совсем некстати он вспомнил, как после спектаклей к нему в гримерку прокрадывалась Николь, двигаясь, как в наркотическом трансе, и когда он, усталый или не в духе, резким движением плеча сбрасывал ее вкрадчивую ладонь, только виновато улыбалась: о, настроение артиста – это такая тонкая вещь... Уверяла, что даже ночью ее преследуют волны его голоса. Подумал: Айя?.. Она ведь никогда, никогда не сможет услышать ни одной моей ноты. И – задохнулся; и презрительно, будто вслед самому себе, плюнул: хорош гусь!

– Тебе нужны еще деньги? – спросил он. И она воскликнула, воодушевленно раскрыв глаза:

– Что ты, шейх! Ты и так на меня потратил все нефтедоллары Саудовской



Аравии...

В аэропорту у касс она замялась, выбирая направление. Может, к отцу смотаться? Давно не виделись... Или в Лондон? В рекламном агентстве Джеймса Баринга ее примут с распростертыми, но такая скука...

– Купи мне билет до Бангкока, – сказала наконец, – а там увидим. Тормозну у друзей на недельку-другую, подработаю. В крайнем случае перехвачу у них денег до Лондона...

*(Нет, ни в какой Лондон она не собиралась: слишком нервной была ее последняя тамошняя неделя; слишком быстро приходилось ей сматываться из паба через подсобные помещения; слишком хорошо она помнила суровое лицо Большой Берты, возникшей, как скала, в кухонной пристройке, где Айя набирала в ведро кубики льда, и отрывистую немецкую речь, в которую Айя мучительно и обескураженно всматривалась... Слишком впечатлили ее пожелание Берты «никогда больше не возвращаться в этот дом!» и ее «Наи аб, Mädel!», «Девчонка, улепетывай!» – и жесткая рабочая рука, оставившая в ладони девушки пятьсот фунтов – огромные, между прочим, деньги для Большой Берты!*

*Нет, вот уж в Лондон Айя совсем не собиралась...)*

Леон вытащил из банкомата тысячу долларов по сотне, свернул трубочкой и молча запихнул ей в карман джинсов. Она поймала его руку в своем кармане, прижала к паху, что обожгло его, напомнив о минувшей ночи. (О минувшей ночи он думал каждое мгновение, все неотвязней, все заполошней, чувствуя холодок внизу

живота, как бывало в детстве перед выходом на сцену.)

– Зачем, зачем?.. – твердила она, пытаясь всучить ему деньги. – Я и так тебя разорила!

– Не пори чепухи, – сказал он мрачно. – У меня навалом денег. Я их горы напел.

И она благодарно рассмеялась своим медленным хрипловатым смехом:

– Тогда – гуляю!

В ней ни капли этих условных светских рефлексов, подумал он (Николь, наследница гигантского состояния, за любой подарок непременно чмокала в щеку). И с удивлением отметил, что *эта* вообще не слишком щедра на – как это Барышня называла? – «зализы бакенбардов». А на людях так вообще очень сдержанна.

До выхода на посадку ей оставалось часа полтора, и она оживленно повторяла: «У нас куча времени!» В толкотне аэропорта она еще больше *замедлилась*, вообще не спускала глаз с его губ, чуть забегая вперед, когда шли рядом. Видимо, прикосновения помогают ей *слышать* собеседника только в спокойной обстановке, догадался он; господи, как же она работала в этих самых барах, где дымная пелена, толкотня у стойки и каждый требует своего напитка? Как она работала в венском кафе, плохо понимая немецкий? И вообще, чего стоят ей эти постоянные усилия *быть как все*, сколько мужества, сколько силы ей требуется, чтобы...

Надо *скоренько* посадить ее в самолет, оборвал он себя, слышишь, ты, говнюк? – тебе надо *избавиться* от нее во что бы то ни стало, не то у тебя неизбежно возникнет второй «синдром Владки», а тебе, с твоей жизнью, не хватало только ответственности за еще одного трудного ребенка.

– Правда, слушай, у нас еще куча времени!

– Ну, тогда пойдем, Вечный Жид, покормим тебя перед дорогой...

Он завел ее в кафе, усадил за столик и отлучился в туалет.

Когда вернулся и не увидел ее там, где оставил, – испугался так, как в жизни не пугался, даже в самые страшные моменты своей, мягко говоря, *не кабинетной* карьеры. У него просто свело живот от страха – забавная реакция человека, собирающегося избавиться от случайной девицы, с которой провел единственную, хотя и – да! – восхитительную ночь.

Вдруг увидел ее возле стеклянной витрины-этажерки в углу зала, вернее, себя увидел: джинсы, майку, бритую голову. Она выбирала десерт. И вновь накатило жутковатое чувство: будто он должен куда-то отправить самого себя, проститься с самим собой, от себя – отречься.

– Я заказала тебе «Апфельштрудель», правильно?

Он стоял и смотрел на нее во все глаза.

– ...потому что ты заказал его в Вене. Я видела, помню...

*Потому что я заказал его в Вене, да... Вот кто стал бы моим идеальным агентом: невероятная наблюдательность, великодушная визуальная память, отличные мозги, умение читать по губам...*

*Никогда, ни за что в жизни! Лучшие услать ее на Северный полюс, пусть пингинов там фотографирует. Пусть борется сдохлым удавом.*

– А себе взяла фруктовое мороженое...

Она села за стол, вытащила из рюкзака свой ноутбук, обстоятельно устроилась...

В этом кафе на отшибе аэропорта было спокойнее, чем всюду, и довольно малоллюдно.

– Слушай, ты ведь так и не видел мои *рассказы!* – воскликнула она. – Даже обидно. Хочешь глянуть?

– Ну конечно, давай посмотрим, – без энтузиазма. Ему сейчас не до фотографий было.

Ноутбук свой она содержала в идеальном состоянии. Принцип матрешки: на рабочем столе несколько папок, в них, как ульи на пасеке – множество ячеек, в которых роились – видимо-невидимо! – цветные и черно-белые пчелки-снимки, при увеличении выплывавшие на экран в тонких черных рамках.

– Классная у тебя штука, – заметил он.

– Навороченный, – сдержанно согласилась она. – Подарок Фридриха. Он меня так в Лондон заманивал, во второй раз. Ну... что бы тебе показать? Вот, смотри – заготовки к выставке «Человек Азии».

По экрану помчались-понеслись цветные пчелки (или стаи пестрых крошечных рыб, выпархивающих из губчатых складок кораллового рифа); проносились быстро-быстро, словно она, Айя, на такой скорости могла что-то разглядеть и выбрать. И действительно, выхватила из вихря некую смысловую опору, начало темы... Остановилась.

– Только не умри от ужаса, – предупредила. – Это я снимала здесь, на Пхукете. Их ежегодный веганский фестиваль, Тхесакан Кин Че. Они десять дней не едят ни мяса, ни рыбы, зато ходят босиком по раскаленным углям и шляются по улицам в

таким виде, что можно сдохнуть, если нервишки не в порядке. Калечат себя, как только могут. Прокалывают лицо и тело всякими немыслимыми штуками. Ты бы в обморок упал!

Леон улыбнулся: видимо, у нее сложилось свое мнение о его чувствительности.

— А ты не упала...

— Я — профессионал, — возразила она без улыбки. — Могу и казнь снять, не моргнув. Просто буду думать о ракурсе, об освещении, о глубине зоны резкости. Хотя сблевать иногда очень даже хотелось. Потрясающие увечья! Ну, смотри... Можешь закрывать глаза, когда будет страшно.

Она щелкнула по первому снимку, и на экран выплыло истекающее кровью лицо, проколотое шампурами так, что черты лишь угадывались за металлическим частоколом: щеки, губы, брови, уши — гигантское подобие ошетилившегося ежа.

— Ого!

— Ну, это цветочки. Там дальше такое...

И действительно, вслед покатались, выплывая и заливая экран потоками крови, картины чудовищных самоистязаний: в дело шли иглы, копыя, топоры, мачете и даже пилы. Откровенно, ясно, рвано — чертовски больно смотреть.

— В Европе это должно иметь грандиозный успех, — сухо заметил Леон. — Ты прикасаешься объективом к открытой ране.

— Еще бы, этой выставки давно ждут в галерее «Jetty».

— Отчего же ты?..

Она сердито мотнула головой, не потрудившись ответить. Нахмурилась. *Лондон. Недостижимый Лондон.* Внезапно захлопнула папку.

– Нет, не то, погоди! Наоборот хочу. Глянь лучше вот это: мои спасители...

И поплыли по экрану светлые доверчивые улыбки даунов – и молодых, и пожилых людей.

– Это тоже коллекция? – удивился Леон. – Ты их специально разыскивала?

– Да нет, конечно. Просто однажды в Лондоне, когда мне было ужасно хреново, ну... совсем плохо, понимаешь, и я даже думала, что лучше бы мне... Но папа, он бы не пережил... Короче, я пошла и нанялась на фабрику по производству мороженой пиццы. Подвальный цех: как спустишься – сначала такой полумрак, с улицы не сразу освоишься. Но главное, вижу – все мне приветливо улыбаются. Другой мир в этом кошмарном городе, понимаешь? Подземный мир улыбок. Спасительный Аид. Минут через пять разглядела, что все они поголовно – с синдромом Дауна. И мне стало так смешно, и так грустно, и так с ними... уютно. Ну, а назавтра пришла с фотиком и нащелкала их. Там, понимаешь, все были счастливые. А я – больше всех. Потому что спасает только работа. Только твое дело. Вот. Этот *рассказ* называется «Улыбка спасителя».

Он сидел и смотрел на экран, с которого ему доверчиво улыбался даун Саид из Азарии... Вот еще Саид, и опять Саид, и опять его улыбка: «Ты всегда мне будешь рассказывать интересные истории?» – что, в общем, объяснялось довольно просто: общими характерными чертами внешности людей, больных этим синдромом.

И опять подумалось: откуда ты взялась, мучительница, для чего обрушилась на меня с этими своими фотографиями, своими историями, своей пронзительной судьбой, с этими убийственными «почему»? И почему, почему, почему мы с тобой оказались так странно, так многострунно, так невыносимо связаны!

У нее совершенно менялось лицо, когда она сидела напротив экрана и гоняла снимки, как голубей, вспугивая их нетерпеливой рукой или – нежными прикосновениями «мышки» – разглаживая тот или этот... Щеки втягивались, очерк скул становился аскетичным, взыскательно направленный взгляд сгущался до остроты пера. Ничего мягкого, ничего юного тогда не оставалось в ее лице: жесткий требовательный прищур профессионала.

Циклы снимков она называла «рассказами», и, как в библиотеке, каждый лежал под своей обложкой и помещался на определенной полке – огромная библиотека, созданная в ее странствиях по свету. Настоящее богатство, подумал он. Невероятно!

Им принесли заказ на пластиковом подносе, но Айя нетерпеливо отодвинула его от компьютера.

– Обидно... хочется многое тебе показать, а время тикает... Ну, вот, островные сценки, тоже на две хорошие выставки: Дила в гамаке, песню поет... Кажется, гамак качается, да? Я ракурс поймала: у нее рот открывался в такт движению гамака. Главное, ее охренительное платье – как чешуя в свете луны. И луна качается, смотри, как удачно снято – через сетку гамака: плененная луна. А здесь у меня мильён кадров с Праздника ушедших предков.

– Похоже на первобытную оргию, – заметил он. – Ночь, факелы... Какие-то камни...

– Это кладбище, надгробные памятники. А ритуал прост, как дискотека: все танцуют и все вусмерть пьяные. Так они предков поминают.

– Они случаем не каннибалы? – хмыкнул Леон. Она засмеялась:

– Да что ты, это же морские цыгане, очень мирные люди. Народ «шао-ляй».

– Так они что, не тайцы? – Он подался ближе к экрану, пробормотал, рассматривая: – Да, другой тип лица... Черты острее, прямой разрез глаз.

– У Дилы две версии их происхождения, – пояснила Айя. Она на дикой скорости пролистывала десятки репортажных кадров, выводя на экран лишь некоторые, на ее взгляд, особенно выразительные. – И обе мне нравятся. По одной версии, они прибыли из Малайзии лет триста назад. По другой, их предками были португальские пираты. Эта эффектнее, да? Я так и назвала рассказ: «Морские цыгане, потомки пиратов»... – И самой себе под нос: – Здесь еще куча работы, сырой материал, из которого...

– Но они буддисты? – неожиданно перебил Леон, вдруг вспомнив Тассну.

– Нет, мусульмане, – отозвалась Айя. – Но такие, стихийные. У них до сих пор все в кучу свалено: семейные духи, Аллах, Будда, племенные божки...

– Ах, мусульмане, – повторил он. Отправил сообщение в некий умозрительный бокс, где хранились не только факты, но и догадки, и подозрения, и даже смутные тревожащие тени мыслей.

*Итак, Тассна с Винаем вовсе не тайцы, а морские цыгане. И вовсе не буддисты, а мусульмане... Это пикантно: в доме Иммануэля, куда являлся цвет политической, разведывательной и прочей элиты Израиля... Это пикантно! И с какой стати все решили раз и навсегда, что они не понимают иврита? И где хранились их молитвенные коврики? Или они не молились?*

Придвинув к себе чашку с кофе, он разорвал пакетик с сахаром, всыпал, помешал ложкой, продолжая гоняться за напряженной и ускользающей мыслью.



– Значит, вот как, хм... Заба-а-авно...

– Нет! – сказала Айя. – Не хочу это – на прощанье! Я тебе лучше... – И помедлила, мысленно перебирая свои богатства. – Знаю! Вот что я тебе покажу. А ты угадай, где это.

И опять по экрану снизу вверх пузырьками воздуха взлетали целые стайки желтых папок, начиненные сотнями снимков-икринок. Наконец движение замедлилось: нужная папка была найдена.

– Вот! – торжественно проговорила девушка и щелкнула по конвертику.

Он мгновенно узнал это место – не только потому, что трудно отыскать более волнующее в христианском мире сооружение, но и потому, что многие годы его окрестности были служебной вотчиной Леона. Да он и в темноте узнал бы каждый закуток, каждую щербатую колонну и истертую ступень в Храме Гроба Господня; кстати, как и лицо едва ли не каждого монаха и священнослужителя.

– Этот рассказ называется «Опоры света», – сказала Айя.

Одна фотография этого *рассказа* была лучше другой – уже готовые к выставке, обработанные в фотошопе. И правда: опоры света, ибо снято солнечным утром и в полдень, когда световые столбы косо падают в гулкую утробу храма. Мощный луч из верхнего окна под крышей пронзает высоту, вернее, глубину бездонного колодца времени, и в этом луче, вылепленная солнцем и тенями, – темная фигура монахини, ограненная светом с левого бока. Ее ослепительная щека в обрамлении черного головного платка, трагическая линия нижней губы, изломанная бровь.

Он сидел рядом, глядя в экран, – ничего не говорил, только тихо сжимал левую

ладонь Айи, лежащую на его колене.

Да, он знал здесь каждый закуток, помнил многие лица, узнавал их на снимках: вот абиссинский монах Шуи в своей высокой темно-красной феске торопится по рассеченному солнцем переулку, к двери в придел эфиопской церкви. Вот безжалостно высветлена ветхая лестница над дверью Храма, забытая каким-то рабочим лет пятьдесят назад. Вот горящая серебром на солнце невесомая борода армянского священника, ветхими пальцами перебирающего страницы толстого фолианта. Вот путаница желтых язычков прерывистого пламени тонких свечей в круглом шандале у входа в Кувуклию...

Айя глянула на него лукаво и требовательно:

– Ну, догадался, где это?

Он собирался сказать «Понятия не имею...», но удержался, вспомнив о ее приметливости (тот самый «Апфельштрудель» в венском кафе много месяцев назад) ...

– Ясно, что храм. Но необычный. Может быть... в Иерусалиме?

– Точно! – радостно воскликнула она. – Это одно из самых богатых на *рассказы* мест на земле – Храм Гроба Господня. Я прожила там дней десять.

– Где? – не понял он.

– В Храме, – просто ответила она. – Братство фотографов, понимаешь? Это как солдатское братство. Просто один иерусалимский монах, грек Георгиос, – очень неплохой фотограф. У него есть пара уникальных снимков на «Фликре». Мы и познакомились там, я выложила свои работы, он мне написал. И когда встретились в

Иерусалиме, подружились. Ходили по Старому городу, *охотились* вместе... И он разрешил мне остаться в Храме на ночь. Знаешь, в первую ночь я полчаса сидела одна в Кувуклии... Это было так странно! Мне чудилось: какие-то голоса пробиваются *ко мне, именно ко мне* – сквозь мою глухоту, будто она – частичка молчания вечности. Как будто... она была мне пожалована, моя глухота, – ну, вроде привилегии у дворян, (ты не смеешься?), – пожалована, как титул, для более глубокого погружения, что ли... погружения, как... у ловцов жемчуга... – Ее говорящие руки захлебывались в словах, замирали в паузах, задумывались над тем, что она хотела сказать, бессильно падали на колени. – Уф! нет, не смогла объяснить! Лучше просто *смотреть рассказ*... Вот, на рассвете я снимала молитву греков и после – молитву армян. Смотри, это было даже смешно: они притащили компьютер, расчистили тот шандал, где горят свечи за здоровье и упокой. Поставили на него комп, наладили скайп – и стали петь!

– А почему здесь написано: «Молчание Голгофы»? – спросил он и осекся: конечно, *молчание*... У нее же все происходит – в молчании...

*А ваша минувшая ночь, кретин ты этакий, – разве она не произошла в молчании, ваша единственная прекрасная ночь, – в упоительном, бесконечном и исчерпывающем молчании двух непрерывно беседующих тел...*

Он опять вспомнил, что сейчас она исчезнет, растворится в толпе; сейчас ее выметет ветром из его жизни. И за мыслью немедленно последовал гулкий обвал где-то внутри – он называл это место «поддыхом». Нет, это черт знает что, подумал он в яростной досаде на себя самого – ты что, сдурел?

– А вот этот рассказ называется «Тишина восточного базара», – сказала она. –

Могу только вообразить, какой там стоит гвалт – по плотности воздуха: он такой... густой, как студень; густой от запахов специй, мяса, рыбы, хлебов... людских выдыхов и, конечно, голосов, криков, зазывов, стонов и проклятий. Там арабские торговцы чуть не силой в лавки затаскивают: «Наташа, Наташа!» – все русские женщины у них «наташи», даже если говоришь с ними по-английски. Как-то чувят. Они вообще ушлые.

Перед ним проплывали, мягко подталкиваемые ее рукой, цветные лоскуты снимков – так кошка или собака носом подталкивает своих детенышей.

Стена с рядом распятых арабских платьев, вышитых золотыми и разноцветными нитками – болбочущие цвета, перебивающие друг друга, как голоса кумушек. Белая чашечка с засохшей на дне кофейной гущей, забытая на каменном столбе: еле заметны буквы древней латыни, выбитые чьей-то рукой две тысячи лет назад: «Стоянка десятого римского легиона...»

Глаза старика-раввина: все лицо в тени, а глаза попали в резкую полосу света от полуприкрытых ставней – пронзительный, невыносимый взгляд, переживший воинов того самого десятого римского легиона.

А вот отдраенной медью горят тарелки на голубой стене: столовка грека Косты на одной из кривых и узких улочек Старого города. Затрапезное заведение, одно из многих, если б не экзотическое библейское блюдо, которое там подают: голубь, фаршированный рисом и кедровыми орешками... Едали, не раз едали у Косты его фаршированного голубя...

– Постой! – вдруг сказал Леон. – Верни предыдущую...

Снова на экран выплыл серебряный чан, доверху заполненный мелкозернистым, узловатым, колючим крошечным разномастным вещам: янтарные, коралловые, бирюзовые, чернено-серебряные бусины, агатовые четки, кованные закладки, крошечные медные светильники, цепочки, кресты и подсвечники, и маленькие бронзовые ханукии. Под фотографией надпись, как он сам бы назвал: «Музей минувшего времени».

– Нет-нет, еще до этой... Там, где в разных руках – две одинаковые монеты.

– А-а! – протянула она одобрительно. – Это моя любимая. Если ты оценил, покажу *в настоящем виде*.

И вывела на экран тот же снимок, но в черно-белом варианте.

– Ты уже понял, что не каждая фотография имеет право стать черно-белой? – уточнила она. – Говорят: «Глаза не врут». На самом деле – врут отлично! О человеке врут все: одежда врут, прическа, даже лицо. Но руки – в последнюю очередь. И если на портрете «выключить» цвет, то с ним автоматически уходит все неважное, ненастоящее. И проявляется суть человека.

Леон молча рассматривал изображение на экране. В данную минуту ему было плевать, цветное оно или черно-белое. Ему вообще было не до художественных достоинств. Он знал эти руки: и левую, сильную, мужскую, рабочую, со вздувшимися венами, и вторую – детскую, незащищенную, навсегда оставшуюся *в минувшем времени*... В каждой лежало по совершенно одинаковой старинной серебряной монете.

– Знаешь, в чем соль этого фото? – спросила Айя и сразу же ответила: – В том, что это руки одного и того же человека.

– Да неужели... – пробормотал Леон, мгновенно покрывшись испариной: значит, не ошибся.

– Ну да! Постой, покажу исходник... Я ведь работала над снимком: *отсекла ему руки*. Вообще, это была впечатляющая встреча, знаешь... Ну где же эта чертова папка... А, вот!

Она щелкнула, погнала по экрану множество крошечных заплаток – как стаю пестрых рыбок в расщелине рифа. Чуть замедлила их бег, удовлетворенно произнесла:

– Вот она. Поймала...

Леон молча впился глазами в фотографию.

Конечно, она разительно отличалась от того окончательного «рассказа», который из пойманного мгновения уже перешел в область искусства. Но ценность *этой* фотографии была в другом: в дате. Снимок был сделан за день до убийства Адиля.

Живой, обходительный антиквар, взвешивая на ладонях, демонстрировал некоему импозантному господину (а тот заинтересованно слушал) две одинаковые серебряные монеты. Адиль любил этот фокус: вначале объяснить, как отличить фальшивую монету от подлинной, а после непременно уточнить, лукаво прищулив глаз, что в наше время фальшивая стоит дороже подлинной, будучи раритетом подделки двухтысячелетней давности.

Выразительную сценку портила, частично заслоняя, чья-то случайная смазанная фигура: крепкая спина в джинсовой рубашке, такой же крепкий затылок.

– Теперь понятно, – легко проговорил Леон, рассматривая знакомые витрины магазина, морщинистое лицо Адиля, его хитроватую улыбку, столь идущую хитрой детской ручке. – А кто это рядом с... торговцем?

– Так это же Фридрих. – И поскольку Леон недоуменно промолчал, она укоризненно воскликнула: – Я тебе рассказывала: Фридрих, мой немецкий дядя, вернее, дед... Он как раз тогда оказался в Иерусалиме, и я его прогуливала. Он обожает эти лавочки, ювелирки, антикваров... Готов шляться по всем свалкам до второго пришествия. А в той лавке мы вообще провели чуть не полдня: даже кофе пили раза три. Роскошная лавка была! Старичок, понимаешь, и коврами торговал... А Фридрих... это ж его тема – ковры.

– Я думал... – после паузы медленно проговорил Леон, преодолевая неистовый порыв тряхнуть ее, посадить перед собой и *допросить* по всем правилам. – Ты, кажется, говорила, что он немец? А внешность у него... не то чтобы слишком немецкая. Что-то восточное – в глазах, в скулах.

– Ну, он же и казах, – спокойно отозвалась она. – Наполовину. Как и я.

В гуле аэропорта возникла звуковая плешь. Просто у Леона заложило уши, на мгновение он оглох от смысла этого слова, от его простого очевидного смысла, от догадки...

– Ка...за-ах? – медленно переспросил он, выпрастывая свою ладонь из-под ее руки, пытаясь унять взмыв дикой смеси ликования и отчаяния.

– Ну да, это длинная семейная история, – сказала она, словно отмахивалась от давно надоевшей чепухи. – Дед, война, немка там, в Берлине... их безумный роман.

Такой телесериал, только взаправду. Ну, и родился Фридрих, который потом-потом, сто лет спустя, разыскал нас. В Казахстане...

*«Рызыскал нас в Казахстане...»*

– ...Казахстан – второе место в мире по запасам урана, и они ежегодно наращивают добычу и обогащение...

– ...в девяносто шестом в печати мелькнуло, что Казахстан тайно продал Ирану три советские ядерные боеголовки...

– ...Крушевич учился на отделении ядерной физики в МГУ и после диплома получил направление в Курчатов, на Семипалатинский полигон...

– Казах... – повторил Леон заворуженно. И, добывая тему, спросил: – Как же ты говоришь с ним? По-английски?

Она невесело усмехнулась, дернула плечом:

– Я с ним давно уже ни по-каковски не говорю. После одного происшествия... Но вообще-то, знаешь как он чешет по-русски! Как мы с тобой. Он же учился в Москве – давно, конечно. Ну, у него и жена русская. Елена...

*Вот, собственно, и все, что требовалось узнать.*

*Секретарша в офисе компании Иммануэля утверждала, что Андрей Крушевич говорил по-русски, называя собеседника «Казак». Девочка просто ослышалась, обозналась. Казак-Казах... Казах-Казак...*

*Да какая разница! От тебя требуется лишь поскорее сообщить кое-кому эту*



*новость, пустить кое-кого по следу. Ты сделал огромное дело, и ты – частное лицо, ты – артист, конец маршрута...*

*Откуда же это обреченное чувство потери? А вот откуда: оказывается, хитрый лис, ты в глубине своих подлых потрохов все же надеялся удержать при себе эту свою глухую находку! Вернуться, разыскать, схватить и бежать... Вот только – где вы оба укроетесь?*

*Зато теперь ты здраво осознаешь, что просто обязан отвалить из ее жизни. Ты и так слишком близко подобрался к жерлу вулкана. Слышишь? Вы с ней, с твоей глухой канарейкой, сейчас на равно опасном расстоянии и от Казаха, и от конторы...*

Когда Айя собралась погнать цветных рыбок дальше, Леон рукой накрыл ее ладонь.

– погоди, – сказал он. – Мне нравится эта картинка. Так много деталей, столько... всяких диковинок. Хочется рассмотреть. Ты не могла бы мне ее подарить?

– Да ради бога, но в этой много мусора. Эта не имеет художественной ценности.

– Ну да, да: «не каждая фотография достойна стать черно-белой». А мне как раз интересен цветной мусор бытия. Я человек банальный и тоже обожаю барахло.

– Так что, перекинуть ее тебе? Давай адрес.

– Запиши сюда.

Поколебавшись, он достал из кармана флешку – такой крошечной Айя еще не видала. Она восхитилась, покрутила ее в пальцах, сказала: «Похожа на

лекарственную капсулу, хочется проглотить!» (он удержался и не ответил: «Для того и сделана»), вставила в ноутбук, и... И лавка Адиля со всем добром и коллекциями антиквариата, меди, золота и серебра, с книгой о сладостном пении райских птиц, помеченной экслибрисом Дома Этингера, с закладкой-фантиком на странице смертельной опасности, с двумя разными монетами в разных руках покойного антиквара и с ценнейшей фотографией Казаха (да-да, Казаха, а не «Казака» – вот для чего старая изуверка-судьба заставила тебя сделать крюк на маленький остров, вот для чего предъявила эту девушку, вот для чего, старая сука, окунула тебя в тишь и глубину ее объятий, а сейчас отпихивает тебя от нее ногой, как шелудивого пса, поскольку отныне твое дело – десятое) – лавка Адиля вмиг перекочевала в мини-капсулу Леона, чтобы через считанные часы пуститься в свое стремительное плавание, размеченное лоцманами *конторы*.

– И тогда уж и другую?.. – спросила Айя. – Настоящую, а то мне обидно. – И перенесла на флешку черно-белые руки Адиля, в которых он, возможно, в последний раз держал две монеты императора Веспасиана.

\* \* \*

– Что... пора? – чуть ли не весело спросила она, заметив его взгляд на табло рейсов.

Как она ориентируется во времени? – отрешенно подумал он, который время чувствовал селезенкой или чем-то там еще внутри. Объявлений она не слышит, часов

у нее нет. Наверное, все продала за тарелку супа на чертовом райском острове. И мысленно беспомощно заметался: ей надо было купить все, все – она не одета, необута...

Объявили выход на посадку. Они выскочили из бара и направились в зал отлета, где на контроле ручной клади с пластиковыми шайками (напоминавшими банные, только дырчатыми) теснилась довольно длинная очередь.

– Так я пошла? – легко спросила она, взглядом ощупывая его лицо, его губы. Выждала секунду и сказала: – Ну... было классно, правда?

– Выучи какое-нибудь другое слово! – в тихом бешенстве на себя, на нее, бог знает на кого еще процедил он, не двигаясь.

И она с облегчением бросилась к нему, с силой обняла, толчками выдохнула в ухо:

– Спа! Си! Бо! Шейх!

Отбежала на пару шагов и сразу вернулась.

– Слушай... – неуверенно проговорила она, перетаптываясь с рюкзачком за плечами. – Не в моих правилах вешаться на шею, но, может, ты просто не догадался дать номерок телефона – иногда эсэмэску отобью?

Он покачал головой, вымученно улыбаясь.

– Нет? – пораженно уточнила она. – У тебя, у дурака, нет телефона? Ну... ну тогда мэйл? Привет-привет или что-то вроде... раз в году?

Он продолжал молча стоять, не двигаясь. Если б сейчас она подалась к нему, как минуту назад, он бы сгреб ее в охапку и бросился куда-нибудь на край света, где их не достали бы ни *контора*, ни Фридрих-Казах... Сердце его колотилось как

бешеное, как на чертовой глубине, на исходе последнего дыхания.

– Айя-а-а... – выдавил он.

*Кто, кто придумал тебе такое имя: имя-стон, имяболь, имя-наслаждение... Ай-я-а-а, радость моя, чудонаходка, мой глухой фотограф, мой мастер дивных рассказов, мой бритый затылок, мои грудки-наперегонки... Да черт поberi! черт меня поberi!!!*

Она сосредоточенно глядела, как едва шевелятся – от боли – его губы. Кивнула. Сказала:

– Понятно.

Повернулась и пошла.

Даже не плакала. Просто приняла эту подлость как должное.

Как еще одну подлость на своем пути.

\* \* \*

Он купил в киоске глянцевую открытку с видом очередного белого пляжа на Ко Ланте, неотличимого от пляжа на Патайе; выбрал самую большую, с самым чистым полем для письма на обороте. По давней привычке он предпочитал обходиться без мобильного. Электронной почте не доверял никогда, а уж телефоны аэропортов наверняка прослушивались. Старая добрая почтовая весточка от довольного жизнью туриста – скорее всего, пожилого оригинала, предпочитавшего такой вот милый привет престарелой подруге всем достижениям безликой цивилизации «новой

эпохи». Дойдет она быстро, дня за два – в аэропортах почта циркулирует отменно. Вот именно: старая добрая весточка сделает свое дело и в то же время подарит ему день-два на обдумывание.

«Дорогая Магда, вот и я пишу тебе открытку – что для меня, согласишься, случай экстраординарный...»

Писал он по-английски, неразборчиво и очень мелко; ничего, Магда наденет очки и – сквозь паутинку нарочито корявого почерка – догадается, что *это письмо* предназначено вовсе не ей. А там уж тот, кому следует, разберет сигнал и выйдет на связь.

«...Очередной отпуск в пленительном Таиланде, особенно встречи с природой и людьми потрясли меня настолько, что сейчас я, навидавшись тайцев, пожалуй, не отличу казака от казаха – прости за каламбур, – особенно если ныне казах обитает – о наш перепутанный мир! – например, в Лондоне...»

И так далее, еще несколько фраз, вполне, на посторонний взгляд, бессмысленных или банальных, вроде упоминания о «прекрасных рынках Востока», где можно увидеть все, что душе угодно, «вплоть до настоящих персидских ковров, которым так фанатично предан твой супруг»...

Сейчас надо было уберечь Айю, не дать *им* нащупать ее безжалостными лапами. Скрыть ее, увести от нее *их* интерес, как лиса уводит преследователей от норы. И все это время – пока выбирал открытку, пока сочинял письмо, пока выводил неразборчивый текст – он напряженно думал, как это сделать.

Запечатывать послание в конверт не стал – вернее дойдет; кому интересны отпускные излияния очередного туриста на захватанной картонке. Написал адрес и опустил открытку в почтовый ящик.

*Все! Разматывайте клубок сами, катите его от Лондона... хоть до Тегерана, только ее не трогайте.*

*Что касается меня, — я чист перед конторой, перед памятью Иммануэля, перед чертом-дьяволом и, кстати, перед Филиппом, которому больше не придется переносить даты репетиций и сроки контрактов. Баста! Вот уж этой поездкой я сыт по горло.*

Затем бездарно слонялся по залам аэропорта в ожидании своего рейса – отупевший, истощенный, пустотелый внутри, в тоске и омерзении к самому себе, безнадежно стараясь себя уверить, что по возвращении в Париж *жизнь наладится, успокоится и распоется...*

В самолете забылся рваным сном, пытаюсь выпутаться из красной рубахи, пеленавшей его по рукам и ногам, как мумию.

И опять бежал по горящему лесу на горе Кармель – как много лет назад, когда их автобус, полный солдат-отпускников, был остановлен пожаром в районе Йокнеама: пылающая магма, дунам за дунамом, пожирала деревья, подбираясь все ближе туда, где Леон бился, запутавшись в красной рубашке Айи... Огненная лавина грянула с неба, и огонь льнущей конницей – шшшшшшшшшшшшшшарх! – вылизал языками траву, взлетел на ближайшую сосну, выбил вверх острое копье, и вдруг вся сосна ахнула, коротко и мощно всхлипнула, взвыла и запылала. Один неуловимый

миг – и от нее остался черный скелет, разбросавший руки по сторонам...

Его вежливо растолкали.

– Вы кричите, – кротко сообщила ему девушка слева – полная, с детскими пушистыми глазами, с благодатным профилем матроны. Складывая руки на груди, она – из-за трех подбородков – становилась похожа на резную деревянную сирену с носа какого-нибудь фрегата. Справа сидел молодой человек – невозмутимый, с узким орлиным лицом мстителя. Всю дорогу он играл в карты на своем «айпаде» – с загадочной улыбкой и с такими сосредоточенными глазами, точно шифровку в Центр посылал.

## 2

Ее трясли, и довольно бесцеремонно. Это мелкая волна плещется о борта пенишета, сказала она себе, мы его не сдали и теперь навсегда будем плыть вдвоем, приставая к берегу на ночь...

Она разлепила веки, уставилась в чьи-то тревожно шевелящиеся губы. Форменный костюмчик... фирменная косыночка на шее... Стюардесса, миниатюрная миловидная тайка.

– Мисс? Вы меня слышите? Вам плохо, мисс?

– Нет... спасибо. Я о'кей. Просто... заснула.

Та с облегчением улыбается, хотя улыбка довольно кислая:

– Мы пытаемся разбудить вас уже десять минут. Вы не реагируете. Мы решили,

это обморок.

*Я в самолете. Куда-то лечу? Да, в Бангкок, из Краби... от Леона. Что-то случилось с ним в аэропорту, что-то произошло. Ужасные страдающие глаза... Губы, сведенные отчаянием.*

Она вяло поднялась, споткнулась о свой рюкзак на полу, нагнулась, чуть не упав от крутнувшихся перед глазами кресел, выпрямилась и закинула рюкзак на плечо, пережидая приступ головокружения.

Надо же, как заснула: самолет пуст, и только две растерянные стюардессы квохчут над ней: похоже, она испортила им, бедняжкам, ланч.

Она тронулась по проходу, вяло извиняясь, роняя «сорри» и «тэнкс» куда-то под ноги. Этого еще не хватало – рухнуть тут в отключке.

Сейчас один путь: добраться до «халабуды» Луизы и Юрчи и там залечь, как обычно, дня на три. Был там за индийской ширмой закуток с убитым матрасиком – в их вонючем сквоте, пропахшем старыми пивными банками, забытым мусором в кухонном ведре, противомоскитной жидкостью и ароматическими свечками, которые так любит возжигать Луиза.

Видимо, время пришло. Плати опять за свое *быть как все*. Не забудь только отцу эсэмэску отправить: «Я в порядке здорова целую». А там – спускайся, узник, в гулкое подземелье бездонного сна.

Она дотащилась до остановки, где уже стоял готовый к отправлению автобус в центр города, как часто случалось в ее жизни – с единственным свободным местом и, конечно, в самом конце салона. Она пробралась, забилась в угол. Сейчас важно



вообще не закрывать глаза, ни на минутку. Потерпи, потерпи... Доехать до конечной, пересесть на рейсовый кораблик... А там уж рукой подать. Можно даже долларов не менять: напоследок Леон выгреб из своих карманов все баты, оставив себе только мелочь...

*Леон. О нем больно думать. Что-то с ним стряслось – еще раньше, давно, очень давно. Кто-то его изранил, обидел, наказал, предал... Женищина? Нет, не только. Но женищина – корень, глубокий корень. Ухватись и вытащи, упрись покрепче. Нет сил... Не закрывать глаза!!! Да – женищина; потому что все его тело – недоверие и нерв. Легкое, сильное, щедрое тело... Что с ним сделали? Кто его покалечил?*

*Все равно ни до чего не додуматься – сейчас, на исходе дыхания, с трудом карабкаясь к тонкой щели света...*

«Халабуда» Луизы и Юрчи – огромный тайский дом, типичный в этих краях «баан тай»: все открыто и закрывается лишь деревянными ставнями, второй этаж сдается несметной семье китайцев-нелегалов. Время от времени кто-то из них попадает в тюрьму за нарушение паспортного режима или потому, что их ловят с фальшивыми корейскими паспортами, которые они покупают за бешеные деньги в надежде перебраться в Америку. Две-три их женщины говорят по-русски, потому что лет пять прожили в Иркутске, торгуя пуховиками на тамошних рынках. Навострились: «большая», «маленькая», «деньги хоросы, малькие»...

Дом стоит на канале, довольно вонючем; стаи прожорливых комаров, стойких и

к химии, и к ароматическим свечам, составляют некую ядовитую компоненту липкого, тягуче-влажного воздуха. Что касается нижнего этажа, там с людьми братаются крысы, ящерицы, пауки и полчища тараканов. Ко всему этому быстро привыкаешь: ничего не поделаешь, климат. Всем надо жить. Тараканы здесь даже по улицам бегают, разве что в автобусах билета не берут.

С Луизой, полуузбечкой, полуукраинкой из Ташкента, Айя познакомилась года два назад. Луиза позировала ей для целой серии «ню», заказанной одним богатым тайским коллекционером. Фантастического благородства тело, снимать можно любое движение наугад: ни капли нарочитости, ни грамма вульгарности – целомудренность в каждом жесте, цвет кожи – чистый перламутр. Идеальная модель для какой-нибудь «Весны» или «Юности»...

Луиза прошла долгий путь от «белой проститутки» (работала не на улице, а при дискотеках и знала английский язык – типичная «фаранг пудиль», «белая женщина») до «мамы-санки». «Мама-сан» – так называют здесь сутенерш.

Взлет в ее карьере начался, когда она встретила Юрчу. В то время он крутил баранку такси и развозил девочек по клиентам. Таксисты в Бангкоке – первые люди в блядушном бизнесе. Знают, где снять комнату на час, где, и как, и почему связать товар с покупателем. Они сговорились, сколотили своего рода концерн с извозом – и дело пошло.

Юрча – тот в свое время тоже проделал некий путь от «супервайзера» по работе с русскими на ювелирной фабрике, до... до того, чем он стал: беспробудным наркушей, выносящим из дома все, что зарабатывали «девочки» Луизы. Он уже отсидел в Лад Яо за торговлю наркотиками, таблетками (в простонародье «Яба» и

«Яха»), привыкание к которым наступает мгновенно, и сейчас доживал на шее у Луизы.

Впрочем, был у него еще один вид заработка: он вырезал деревянных кукол в гробу. Деревянные человечки (сантиметров двадцать длиной) лежали в гробу со скрещенными на груди руками, с плоским оторопелым лицом. Некоторые туристы покупали эту дрянь, принимая ее за тайский народный промысел: что-то вроде духов тайского дома.

Разумеется, можно было не тащиться в их гнусное логово, а снять номер в каком-нибудь недорогом пансионе – ведь она сейчас при деньгах. Повесить на двери табличку «не беспокоить» и – отчалить... Но она слишком хорошо представляла себе, что будет, когда горничная на третий день подозрительной тишины забудет тревогу. А третий-то день – он самый тяжелый, когда обезвоженная, истощенная, часто обмочившаяся, она только начинает шевелиться, выплывая на поверхность жизни. И тогда ее уж точно сдадут в полицию, а там иди доказывай, кто ты и с какого бодуна беспробудно валяешься в номере...

*Кроме того, за последние полтора года у нее выработался целый свод правил унесения ног, уматывания, или, как это назвала Большая Берта, улепетывания: не оставаться дольше чем на день в местах, чьи адреса имеются в справочниках; не появляться в чужих домах в такие дни, как эти, когда нет возможности мгновенно сорваться с места и исчезнуть; отключать телефон и обрывать любые связи с миром, когда ты беззащитна и слаба.*

*Хорошо, положим, ощущение охоты за ней – навязчивая идея последних*

*полтора лет. Но лучше потакать навязчивой идее, чем плавать в канале холодным трупом, не так ли?*

Нет, пусть с тараканами, с гадкими ароматическими свечами суеверной Луизки, пусть с дохляком и педиком Юрчей, но все же в укромном углу, за деревянной ширмой: пережить свою краткую смерть, а там уже думать, что делать дальше.

\* \* \*

До «халабуды» она добралась на рейсовом кораблике, уплатив два бата, из последних сил простояв всю дорогу торчком, чтобы не распластаться у людей под ногами.

Вошла во двор, заваленный всяким хламом, но с непременным «домиком духов» в зеленом уголке, увитом кладбищенскими бумажными розами: Луиза как губка вбирала в себя местные верования и обычаи. Она приносила в домик сладости и цветы, воскуряла там свечки – просила Будду о милостях. Когда Юрчу посадили, ездила во дворец Изумрудного Будды на поклонение, потом с истовым благоговением повторяла: «И помог! Помог!»

Все же везло ей сегодня: сквот стоял пустой, с незапертой дверью. Хозяева никогда не запирали дом – из него уже нечего выносить. Но теперь, когда Айя дотащила сюда свой рюкзачок с камерой, дорогушими линзами и ноутбуком, любому

желающему очень даже было чем поживиться. Так что, войдя, Айя первым делом плотно прикрыла дверь и огляделась в исполосованной щелястым светом полутьме.

Ее убитый матрасик, заваленный кучей тряпья, благополучно дожидался за складной деревянной ширмой в углу кухни. Сколько бедолаг, таких же случайных и бездомных, как она сама, ночевали тут, пока она болталась на острове?

Она прикрыла глаза, и тут же цепочкой покатилося: белые отмели, алое золото в воде, бунгало доброй Дилы, мелкая волна о борта пенишета и болевым всплеском – Леон.

Что-то мучило ее, не отпускало, не давало покоя. На кораблике в ту жаркую бесконечную ночь она ни разу не вспомнила о... Фридрихе... Но какая тут связь: Леон и Фридрих?

И – замерла от внезапной мысли: там, в лесу, когда железным локтем он пресек ей дыхание, – он ее пугал? или убивал? А их спасительные общие «Стаканчики» и общий Желтухин – что, если б их не было? Она осталась бы лежать там, в лесу, на острове, как он обещал – «с пробитой трахеей»? Так кто же он, который умеет так трудно любить и так легко лишать жизни?

И, наконец, беспомощно, отгоняя эту мысль, но и сдаваясь ей: Леон – *бандит*? Как и Фридрих, как... Гюнтер?

\* \* \*

*Бабушкино было слово – смешное, допотопное, из времен какого-нибудь нэпа;*

бабушка Зинаида Константиновна, уже сидя в инвалидном кресле, комментировала окружающую это кресло жизнь. Вокруг апортовых садов какие-то ново-лихо-богатые люди скупали и ломали старые мазанки, вроде их милого старого дома. И бабушка называла этих людей «бандитами», что ужасно смешило и Илью, и Айю. Ну, какие же они бандиты, говорил Илья, нормальные предприниматели, вроде твоего отца, у которого, как выяснилось, был конный завод.

Ты никогда ни черта не понимал и ни черта не поймешь, в сердцах отвечала бабушка. Помнишь, как сгорел дом у Потаповых, сразу после того, как они отказались его продавать? Граница всегда проходит там, где человек готов лишиться кого-то жизни. Для этих пред-прини-мателей жизнь человеческая – легче канареечного пуха: дунул и отмел. Потому что они – бандиты!

Забавно, что вспомнила Айя это слово в такой момент, когда все остальные слова будто вымело из головы: когда она стояла и смотрела на лист бумаги в открытой пластиковой папке, где ровным столбцом слева выстроились наименования предметов, от которых волосы вставали дыбом, а против них таким же ровным столбцом выстроились цифры, количества и цены: мирный дебет-кредит, бухгалтерский учет Костлявой.

Гораздо позже Айя поняла, что ее проклятая наблюдательность, ее, как говорил папа, «неумолимая глазасть» в доме Фридриха должна была замереть и ослепнуть. «Казахской шлюхе» могли спустить многое – гашиш, марихуану, пьянки-блядки... Но только не этот взгляд профессионала, привыкший выхватывать из ситуации, из разговора, сцены, картинки самое существенное и характерное.

Взять, к примеру, появление Гюнтера – того самого непутевого сына

Фридриха, которому вроде полагалось еще много лет мотать срок за убийство. И вдруг он как ни в чем не бывало возникает в холле, открыв дверь своим ключом.

– Привет, – сказала она. – Ты кто? – Да по тому только, как он весь подобрался, надо было заподозрить неладное.

В те первые дни в Лондоне Айя еще довольно плохо читала по английским губам. Многое дополняла по смыслу, медлила перед тем, как ответить.

– Привет, – повторила она. – Я – Айя...

– А-а... племянница? Та, что всюду мотается без руля и компаса? – Он расслабился. – Та, что по губам читает? Полезная особа! – И навстречу Большой Берте, выглянувшей в холл, крикнул что-то по-немецки (потом Айя восстановила смысл по двум-трем понятным словам): – Старуха, дай пожрать хоть сэндвич, нет времени ждать.

– Noch ein Kasache der herumkommandiert!<sup>[36]</sup> – каркнула Большая Берта, вразвалочку отбывая на кухню.

– А ты разве не в тюрьме? – спросила тогда Айя.

(Бабушка говорила: ты сначала всегда подумай – может, и не стоит рта открывать.)

Гюнтер замкнул лицо, помолчал. (И ни капельки он не был на нее похож, ни капельки – что это Фридрих придумал! Была в нем этакая кряжистость, присидчивость, как у борцов, высматривающих слабое место противника.)

Усмехнулся и протянул:

– В тюрьме-е? Ну, можно и так сказать...

И впоследствии они едва ли перемолвились друг с другом двумя словами – она и

этот ее таинственный дядя, возникавший редко и внезапно и так же внезапно исчезающий из дома. Полуночный угрюмый человек, ни с кем не здоровался, ни с кем не прощался. С Фридрихом и старухой говорил по-немецки, с Еленой, кажется, вообще не разговаривал – так, отрывисто, сквозь зубы, пару фраз. Никогда не сидел за столом со всеми. Большая Берта носила ему еду наверх, в его комнату, всегда запертую – был он дома или в отлучке. Тот еще типчик.

Довольно скоро Айя обнаружила, что у Фридриха имеются на нее какие-то свои коммивояжерские планы, связанные с Казахстаном – Алма-Ата, Актау...

Буквально через неделю после того, как начались занятия в арт-колледже и на нее с немым ошеломляющим грохотом обрушились язык, люди, музеи, галереи, картины, фотография – тысячи шевелящихся губ огромного чужого города, – и, слегка оглушенная, она балансировала на краю этого бурлящего вулкана, с жадным восторгом вбирая пульсирующую толпотворень, но и защищаясь от нее тоже, – в один из этих дней за завтраком Фридрих сообщил ей каким-то сюрпризнодорожным, но и неотменимо-разумеющимся тоном, что в понедельник ей предстоит дней на пять «сбегать домой» – два дня побыть с папой, а потом (легким тоном) дня на три смотаться в Актау по одному делу, подробности позже...

Неотрывно глядя в его ускользящее лицо, она спросила удивленно и прямо:

– Зачем?

– Я тебе позже дам инструкции, – так же легко ответил Фридрих, уводя взгляд и сосредоточенно цепляя вилкой кусок артишока из салатницы.



Ей не понравилось слово «инструкции» и не понравилось, что ее куда-то намереваются посылать. Она не пешка. К тому времени все ее существо – ее тело, мысли, глаза – привыкли к абсолютной свободе. Прежде чем возникнуть в Лондоне (она наугад позвонила Фридриху из Эдинбурга и услышала радостное: «Где же ты, девочка, куда пропала? Конечно, приезжай!»), Айя года полтора носилась по таким заковыристым маршрутам, что если б на бумагу нанести все ее пути-дороги, получился бы рисунок почище узора персидского ковра. Да она тысячу раз сбежала бы из любой золотой клетки, если б хоть на минуту ощутила чью-то направляющую волю. Ни за что!

– Вряд ли, – проговорила своим трудным упрямым голосом. – У меня сейчас нет времени.

– Ну-ну, моя радость, – улыбнулся Фридрих. – Не верю, что тебе не хочется повидать папу.

Она спокойно отозвалась:

– Когда захочется, я тебе сообщу.

Елена бросила вилку на тарелку – видимо, с изрядным звоном, поскольку на пороге столовой возникла Большая Берта с каким-то отрывистым залпом в немецких губах. Фридрих махнул ей рукой, отсылая, а Елене сказал:

– Так. В чем дело?

И она, еще не привыкнув к тому, как легко девушка понимает по губам и по лицам, как точно прочитывает намерения и мысли, выпалила:

– Я тебя предупреждала, что это опасный вариант.

На что тот мягко (легкое презрение в губах и подавленное бешенство в карих

глазах) отозвался:

– Заткнись, дорогая.

И какое-то время тема разъездов не возникала.

Ей следовало сразу же убраться из этого дома или уж не замечать всей странной тамошней жизни, всех этих посетителей (Фридрих их называл «деловыми партнерами»), что являлись за полночь; всех этих персонажей, вроде громилы с детским именем-кличкой «Чедрик», что неотменно присутствовал где-то вокруг Фридриха, а ночами шлялся по дому, как сторож с колотушкой, и можно было умереть от страха, выйдя из комнаты в туалет и столкнувшись с ним в коридоре. Выглядел он так, будто, прежде чем выпустить его на люди, некто взял и переломал в его облике все: нос, скулы, челюсти, подбородок. Все было асимметричным, перебитым, склеенным и зашитым, все хотелось подровнять и исправить. Говорил Чедрик по-немецки, но сам вроде был сирийским другом, понимал и русский, и английский. В этом доме вообще бытовали-соседействовали несколько языков, один подхватывал другой и плавно переходил в третий...

Подразумевалось, что Чедрик был кем-то вроде дворецкого-охранника-сторожа и мальчика на побегушках. Он всегда встречал посетителей, деликатно снимая с них плащи-дубленки своими устрашающими ручищами восточного джинна. Но однажды, спускаясь по лестнице, Айя так и застряла на верхней ступени: она увидела, как Чедрик обыскивает двоих чуть ли не в дверях холла; обыскивает буквально, по-настоящему, обхлопывая грудные клетки и промежности. И, надо признаться, гости, судя по их виду, необходимость обыска

принимали.

*Большая Берта:*

– Die sind alle Kasachen, Kasachen, Kasachen!<sup>[37]</sup>

*Старуха, конечно, была с большим «казахским» приветом, однако надо признать, что среди посетителей и «деловых партнеров» Фридриха и впрямь довольно много было мужчин с восточной внешностью.*

*Что касается Берты, уже месяца через два Айя понимала по ее сумбурным морщинистым губам изрядную толику немецких слов, так что из первых рук трижды выслушала историю с убитым русским лейтенантом, с его бесполезно расстегнутой ширинкой и с солдатом Муханом, казахом, который «спасти-то спас, но позже и сам на нее залез, ишь, поганец! А все потому, что дед моей Гертруды, старый Фридрих, чему-то там учил его в казахской норе и адрес в него с детства вбил, наш адрес в Берлине: Бисмаркиштрассе, восемь... И тот вроде пошел искать наугад – он, видишь, уважал и любил старого Фридриха. И пришел вовремя, тут ничего не скажешь. И пистолет его стрелял метко. И по-нашему он говорил как родной, хаять не стану. И когда родился этот мой “маленький казах”, он назвал его тоже Фридрихом, уважил память старика, значит, не врал...»*

*Весь дом в Ноттинг-Хилле был устлан дорогими персидскими коврами – отличная реклама фирмы Фридриха. Да и не реклама – просто обиход. Обстановка дома действительно отличалась изысканным ориентализмом. Никакого чиппендейла, никакого бидермайера, никаких «истинно английских» дубовых*

панелей. Арабески, оттоманки, инкрустированная слоновой костью и перламутром мебель, большая коллекция первоклассной антикварной меди и бронзы с блошиных рынков Европы, Стамбула и Тегерана. Короче, восточный «винтаж». Ну и ковры, ковры... Ковры в великолепном просторном кабинете Фридриха с арочными окнами во двор...

– Ну тебя с твоей неумолимой глазастью! – говорил папа.

Айя заметила, как загибается угол ковра под секцией широчайшего – во всю стену – книжного шкафа в кабинете Фридриха. Вернее, то были книжные полки, сделанные на заказ, под коллекцию букинистического добра, собранного Фридрихом по разным странам. Одна секция еле заметно приподнята над полом, на сантиметр выше остальных. Угол ковра под ней сбит и слегка загнут, как бывает, когда через ковер все время переступают в... другую комнату, например. Бред, конечно. Какая комната – там, в книжных полках?

\* \* \*

То, что комната существует, Айя обнаружила по чистой случайности, года три спустя. Она давно оставила дом Фридриха и Елены и появлялась так редко, что впору было забыть, как туда добираться.

К тому времени в ее жизни уже были странствия по Южной Америке, Испании, Ближнему Востоку; «случайная» встреча с Фридрихом в Иерусалиме и возвращение в Лондон; восстановление в арт-колледже и участие в нескольких

выставках, благодаря которым два-три известных журнала купили у нее кучу снимков и заказали целую серию «рассказов». Она сама предложила тему: «*Charm of Persia*»... Фридрих был в восторге: еще бы, такая реклама его коврам!

Вот из-за ковров-то Айя и оказалась в тот день в их проклятом особняке, и всего-то требовалось – отвести глаза, повернуться спиной к распахнутой двери кабинета, из которого в то суматошное утро Фридрих выскочил на крики Большой Берты.

Крики неслись с улицы, где буквально перед домом на старуху наехал велосипедист.

Ничего страшного не произошло, кроме того, что велосипедист, столкнувшись с громадной задницей немецкой мортиры, упал со своего велосипеда и сломал руку («*Er hat sich auf mich gestürzt, dieser Kasache!*»<sup>[38]</sup>).

Судя по тому, что одновременно со второго этажа по лестнице скатилась огненноликая Елена (клубничная маска во все лицо), а из кабинета выбежал Фридрих, можно представить, какую Большая Берта выдала канонаду из всех орудий – орала так, что, помчавшись на вопли, Фридрих оставил дверь кабинета распахнутой.

Он к Большой Берте был страшно привязан.

Айя в это время крутилась в соседней с кабинетом гостиной, на время превратив ее в студию: строила натюрморт из медной и бронзовой утвари, собранной по углам и закоулкам дома.

На полу в просторном эркере ленивыми удавами лежали рулоны ковров – новая партия, доставленная с центрального склада в Тегеране. Обычно партии

завозились прямо на склад магазина-галереи в Мейфэре, но на сей раз Фридрих попросил привезти ковры домой: Елена хотела выбрать что-нибудь новенькое и «деликатное» для своего кабинета. Ковры привезли и сгрузили в нижней гостиной.

Вот Айя и крутилась там, с удовольствием расстилая то один, то другой (все нежнейших расцветок – такими коврами застланы столы на картинах Вермеера), любуясь каждым, ахая и колеблясь – какой выбрать фоном для меди: зеленовато-розовый, с мелко-серебристой вязью, или палево-голубой, с синими лилиями по кромке.

В этот момент и стряслась драма: наезд несчастного велосипедиста на гранитную задницу Большой Берты. Звукового оформления Айя, само собой, не слышала, но по тому, как весь дом в одну секунду пришел в движение, по тому, как внезапно распахнулась дверь кабинета и оттуда вылетел обезумевший Фридрих, поняла, что происходит нечто потрясающее.

Вот и надо было повернуться спиной к распахнутой двери кабинета и к тому, что в этой двери она вдруг увидела: отъехавшую вбок секцию с книгами, оказавшуюся проемом...

Завороженная открывшимся кадром, она подошла и замерла на пороге комнаты.

В сущности, это был огромный сейф, в данный момент открытый. Внутри ровной клавиатурой встроены в стенку с десятков сейфов поменьше.

Ну и вали отсюда, сказала она себе, это ведь нормально для делового человека

такого масштаба, как Фридрих, – иметь в доме сейф, где он хранит... А что, кстати, хранят в таком монстре – деньги? золото? ковры? При нынешней банковской системе, при виртуальном перемещении капиталов и акций – что особенного можно прятать в этих стальных тайниках, кроме каких-нибудь украшений Елены, которые она держит совсем в другом, маленьком сейфе в спальне? Бриллианты и жемчуга она, как и все, хранила в банковской ячейке.

Но момент, но обстановка, но — кадр! – Айю очаровали. Это был шик, антураж голливудского боевика на тему ограбления банков: сейф, да какой! – настоящая потайная комната! Наверняка там шифры, и коды, и прочая дребедень... Блеск! А если еще совместить нос Большой Берты и ее неохватную задницу со всей этой сверкающей кнопочной картечью! Ее голубые фашистские глаза на фоне стали!

Выходит, это сюда Фридрих заводил некоторых «деловых партнеров», подумала Айя. Заводил, чтобы... что? Боже, ну что такого таинственного может быть связано с дурацкими восточными коврами? Дурацкая бумажная документация, приход-расход, годовой оборот, дебет-кредит?..

На краю письменного стола лежала пластиковая папка, которую Фридрих бросил, выбежав на вопли Большой Берты. И Айя склонилась над папкой – просто из любопытства...

Вначале все это показалось ей какой-то тарабарщиной, но спустя минуту смысл организовался, как шахматная композиция на доске. Именуя девушку «безбашенной казахской шлюхой», Елена Глебовна ошибалась: та всегда внимательно смотрела новостные передачи, каждый день читала в Интернете

ленты новостных агентств, а химией когда-то увлекалась всерьез – из-за фотографии, – так что в тему худо-бедно въехала: оружейная сделка.

В левой колонке этой восхитительной ведомости значились названия ракет и систем наведения, пистолеты-пулеметы, штурмовые винтовки, снайперские винтовки, гладкоствольные ружья «ремингтон», а также названия кое-каких химических веществ – труднопроизносимых, но явно смертоносных.

И ни одного ковра, хоть обыщись.

Перевела взгляд на соседнюю колонку: цифры были убойными.

Он оказался настоящим великолепным «бандитом», этот ее замечательный двоюродный дедушка.

...Когда, тихо матерясь по-русски, Фридрих вернулся с улицы (объяснение с полицией, втаскивание в дом туши Большой Берты, вызов такси для поломанного велосипедиста), Айя по-прежнему крутилась вокруг своей инсталляции, выбирая нужный ракурс для первого снимка в «рассказе».

Фридрих вошел в кабинет (она спиной чувствовала и представляла, как деловито он там возится – вкладывает смертоносную папку в ячейку, запирает, перебирая кнопки клавиатуры, закрывает толстую дверь огромного своего сейфа, беременного взрывами, ядовитой отравой и ужасом сотен тысяч или даже миллионов людей), но минут через пять вышел.

Она повернулась и навела на него объектив.

Он сказал в объектив:



– Могла бы выглянуть в окно интереса ради – что там приключилось с несчастной старухой. Все-таки ты удивительно равнодушна. И перестань щелкать мне в лицо, что за хамство!

Она отщелкала несколько кадров этого настоящего его лица, опустила фотоаппарат и сказала: – Фридрих! Ты бандит?

Ты сначала подумай, ты подумай сначала, – может, не стоит рта открывать?

Но она не дала себе труда подумать – и потому оцепенела от ярости, когда Фридрих наградил ее полновесной затрециной. Эта затрецина горела на ее щеке дней пять – так Айе казалось. И дело не в том, что он поднял на нее руку – подумаешь, оплеуха: к тому времени ей доводилось и раздавать, и получать вполне чувствительные удары, кисейной барышней она не была, а уж недоτροгой ее бы никто никогда не назвал. Что могло ее удивить или задеть после трехдневной комы в бразильском госпитале?

Но и выкатившись из особняка в Ноттинг-Хилле, она оскорбительную сцену с Фридрихом считала безобразной, но все же семейной разборкой. «Меня папа никогда пальцем не тронул!» – мысленно орала она. Иными словами, Фридрих оставался для нее родственником.

Она и продолжала бы считать его родственником, даже послав к черту всю эту компашку, даже после того, как неизвестные мерзавцы расколошматили ее фотик, выудив его из рюкзака, оставленного в подсобке паба. Она так плакала, стоя над растоптанными на полу линзами. Нет. Ничегошеньки она бы не поняла, ничего

– дуреха, балда, простофиля!

*Если бы не эпохальный визит Большой Берты.*

*О-о-о!!! Большая Берта! Дорогая моя, героическая толстая задница!*

*Старуха явилась прямо в паб – и как она адрес разузнала, и как решилась прийти, как умудрилась исчезнуть из дому, откуда отлучалась только в ближайший супермаркет?*

*Айя онемела, когда увидела Большую Берту: беспомощная глыба в допотопном плаще рейхсфюрера СС, та стояла в сизых клубах сигаретного дыма – гигантская сова в сполохах синего света, среди обдолбанной молодежи чужой страны.*

*Айя выбежала из-за стойки бара, взяла старуху за руку и увела в кухню. Смешно, первой мыслью было: Фридрих прислал Большую Берту, хочет помириться «с девочкой»... Идиотка наивная!*

*Вот тогда и выяснилось, что старуха немного петрит по-русски. Ну конечно: все восточные немцы изучали в школе обязательный русский язык, да и Фридрих за годы второго брака дома говорил с Еленой только порусски. В бурном потоке русско-немецких слов, который Айя пыталась разобрать, переспрашивая, уточняя, останавливая Берту – удостовериться, что все поняла правильно, – прояснились некоторые интересные обстоятельства.*

*Старуха просто изобразила всех в лицах:*

*Елену: «И ты отпустил ее, кретин?! После всего – ты ее отпустил?!»*

*Фридриха: «Заткнись. Не вмешивайся! Это моя семья».*

*И опять Елену: «Это не семья, а подобранная тобой с помойки казахская ишлюха, которая в конце концов продаст всех нас не задумываясь!»*

Старуха замолчала и сурово сказала по-немецки:

– Девчонка, улепетывай куда глаза глядят! *Hau ab, Mädel!*

– Вот еще, – отозвалась Айя. – Подумаешь, говно...

И тогда, вцепившись ей в руку так, что потом на большом пальце синели следы от ногтей, косноязычно, в волнении смешивая немецкие и русские слова, Большая Берта сообщила, что слышала разговор Елены и Гюнтера... Елены и Гюнтера? Ты что, Берта?! Они же друг друга терпеть не могут! Ни разу не видала, чтоб они беседовали.

То-то и оно, согласилась старуха. Она спустилась ночью в кухню за снотворным и с лестницы слышала их разговор. Бывает, добавила Берта, эти люди заключают перемирие, если надо убрать кого-то, кто мешает обоим.

– Как... убрать? – ослабев всем телом, спросила Айя. – В каком смысле?

И Большая Берта, ворочая русские слова, как камни, сообщила:

– Елена говорить к Junge<sup>[39]</sup>: «Надо девку умолкать. Она опасный». Еще сказать: «На Фридрих не слова. Пусть отдыхать старый кретин. Будет потом данке от него».

Затем Большая Берта просто и откровенно сообщила Айе, что лично ей в целом плевать, кто из них кого прихлопнет: да, так уж получилось, что Junge вырос ублюдком и убийцей – так его воспитал проклятый брат его матери, тот, у которого «мальчик» годами ошивался где-то там, на востоке... Но вот своего Казаха, своего Фридриха Берта любит, а он почему-то привечает девчонку – видно, так уж устроена казахская половина его сердца. Поэтому Берта не хочет ничьей крови. Пусть будет тихо в этом проклятом доме.

*И она твердо повторила по-немецки:*

– *Hau ab, Mädel!*

*А перед тем как уйти, схватила руку Айи своей жесткой лапой и оставила в ней несколько бумажек, оказавшихся потом не чем-нибудь, а пятьюстами фунтами – о как! Потопталась, ничего больше не добавив. Тяжело развернулась в дверях – немецкая мортира, и – кадр из семидесяти семи фильмов – молча вышла в желтый туман ночного Сохо.*

\* \* \*

Опустившись на матрас, Айя медленно сняла рюкзак с драгоценной оптикой, бережно, как ребенка, уложила его в изголовье, забросала кучей тряпья. Успела подумать: хорошо бы... пару слов... папе... ...и медленно повалилась навзничь.

Вечером явился злой и безденежный Юрча.

Ему не удалось раздобыть ни черта, а двух гробовых кукол хозяин лотка не взял – мол, он еще тех, прежних, не продал. Сказал: Юр-ча, почему бы тебе не попробовать сделать что-то другое, повеселее?

И тот мрачно возразил, что другого делать не умеет.

Луиза была уже дома, стряпала на старой газовой плитке.

– О-о! – удивился Юрча, обнаружив некоторую перемену в обстановке: деревянные крылья ширмы Луиза расставила так, чтобы полностью укрыть матрасик

и того, кто на нем обосновался, от посторонних глаз. – У нас гости, а? Надеюсь, с подарочками?

– Не трогай ее, – откликнулась Луиза, пробуя губами острое рыбное варево в кастрюльке. Она и вкус перенимала быстро, и готовила очень острые тайские блюда, называя это «пет ник ной», «слегка перченное»; Айя никогда не могла у них есть, а Юрче хоть бы что, жрал все подряд. – Не трогай, я сказала! Опять залегла, бедная девчонка. Я чуть не споткнулась об нее, аж вскрикнула, а она уже тю-тю. В отключке.

Юрча задумчиво стоял над спящей, разглядывая ее с пристальной обстоятельностью.

– Это как эпилепсия, – объяснил он то ли себе, то ли Луизе. – Только тихая. Приодета однакыж, а? Знач, при деньгах. Дорогие шмутки, смотрю... Слышь, Луизка? Жалко, шмутки дорогие: она ж все равно обоссется. Давай снимем джинсу, пусть так валяется. Потом скажем – ты обоссалась, детка, пришлось выбросить.

– Юр-рча... – угрожающе пророкотала Луиза, надвигаясь на него с ложкой в руке.

– Да ла-а-адно, – протянул он. Но от Айи не отходил, все разглядывал, не решаясь приступить к обыску. – А где ее камера? – спросил он вдруг. Луиза повернулась, уставилась на него с усталой злостью:

– Ты чего это? Тебе прошлого раза не хватило?!

– Так она ж – смотри, валяется, как тюлень. Любой бы нашарил и забрал. Мало ль кто сюда сунулся.

– А я говорю – тебе прошлого раза не хватило?! Не помнишь, как она тебя

отпиздила, идиот, когда ты ночью полез ее технику вытаскивать? Да она за свой фотик кого хошь на куски порвет. Ну-к, отошел от девчонки, гад!

Юрча молчал, по-прежнему разглядывая девушку.

– «Суай»... – бормотнул он задумчиво, полагая, что Луиза его не слышит. – Красивая... Тока с ней и не побалуешься: неинтересно. Она ж как мертвяк, как вон моя кукла в гробу...

Но Луиза услышала. И захохотала:

– Побалуешься?! Эт ты – побалуешься? Чем? Пальцем? Или носом? Иди, жри суп, пока я не передумала.

Но Юрче было невмочь отойти от матрасика. Прямо медом ему там было намазано. Чуюл что-то, ох, он что-то чуюл. И не ошибся! Когда китаянка Киу позвала Луизу и та на минуту выглянула во двор, Юрча решился: хищно склонившись, перевернул девушку на бок, пыхтя, сунул руку в один карман джинсов, в другой... перекатил ее, как куклу, на живот – и замер, нащупав небольшую выпуклость в заднем кармане.

Через мгновение он выпрямился – багровый, ласковый, с бегающими глазами, зажав в кулаке доллары, свернутые рулетиком, – юркнул от ширмы прочь и тоненько, скороговоркой зачастил, чтобы услышала вернувшаяся Луиза:

– Ага, ну и пусть спокойно спит девочка. Это болезнь такая, а, Луизка? У кого – наркота, у кого – выпивка. А у этой – сонный запой.

– Точно, – отозвалась она. – Садись, жри суп, пока горячий.

– Та неохота, – тем же возбужденным тенорком выпалил Юрча. – Я, это... я, Луизка, щас вернуся. Скоро!

И бочком выскочил в открытую дверь.

# Рю Обрио, апортовые сады

## 1

В Париже никогда он не ощущал знаменитого «запаха Парижа», о котором так много всего написано и пропето; зато по возвращении откуда бы ни было всегда носом чуял приближение города – уже после Фонтенбло с его придорожными папоротниками, чей бушующий аромат перешибает даже загазованность трассы.

Он чуял Париж, в котором струя поднебесная сливалась со струей преисподней, а запахи кофе, бетона со строек, мокрого асфальта, дымов из фабричных и больничных труб, смешавшись с аппетитными дымками жаровен, стелились где-то в самых нижних слоях могучего течения этой воздушной реки...

Еще в те дни, когда его французский был ограничен русскими словами-исключениями «жюри, брошюра, парашют», Леон где-то у Андре Мальро выудил мысль о том, что культуру нельзя унаследовать, ее можно только завоевать. И сам был из породы завоевателей, ошеломляющих своей стремительностью.

Уже месяца через два после приезда заставил Филиппа перейти на французский, неумолимо требуя, чтобы тот дословно – даже когда сильно спешил – переводил трудные обороты и идиомы.

Мгновенно освоился в своем квартале Марэ, избранном и любимом парижской



богемой, разузнал, где на рю де Риволи прячется последняя лавочка с нормальными, не туристическими ценами (ибо, как известно, по мере движения к парижской мэрии, а потом к Нотр-Даму или, наоборот, к Лувру стоимость бутылки воды вырастает до стоимости коньяка).

Он полюбил и обжил окрестности своей улочки Обрио (скорее переулка: не больше ста пятидесяти метров, три десятка домов), соединяющей две улицы подлиннее – Святого Креста Бретани на юге и Белых Плащей – на севере. С удовольствием проборматывал имена окрестных улиц и переулков, словно бы оттачивая на них произношение: *рю де Розье... рю дю руа де Сисиль... рю дез Экуфф... рю Павэ... рю Сен-Поль... рю де Блан Манто...* и наконец, самая трудная для неповоротливого языка в узко выпиленном французском горлышке (черт-те что, почти скороговорка): *рю Сен-Круа де ля Бретонри!*

Метрах в двухстах от дома начинался еврейский мини-квартал, ныне заповедник, где сефарды постепенно вытеснили ашкеназов: сыновья портных и сапожников стали врачами и адвокатами, перекочевали в кварталы побогаче, а на месте ресторанов, где когда-то подавали фаршированную щуку и гусиные пупочки, открылись забегаловки с фалафелем и швармой. В восьмидесятых по округе стали селиться голубые, и сейчас чуть ли не на каждом доме гордо реял вездесущий радужный флаг гей-нации.

С таксистом он расплатился у метро и дальше пешком пошел по рю де Риволи.

Старая неистребимая привычка: подойти к дому исподволь, глянуть за угол – что да как у ворот. До сих пор предпочитал переждать, если там стоял невинный фургон электрической компании или прачечной.

Он уже не оставлял клочков бумаги и кусочков ваты в дверных петлях, но по запаху на лестнице всегда мог определить марку выкуренной сигареты, а до появления в его жизни аккуратистки Исадоры, консьержки-португалки, убиравшей у него по средам, считал полезным оставлять пыль в самых неожиданных местах квартиры: например, на раме первой классной копии сезанновского пейзажа (классический двойной багет, массивная доска с выпуклым плетением бело-золотых «бурбонских» лилий), где в идеально выпиленном тайнике лежали паспорта: израильский, на имя Льва Эткина, украинский – в честь незабвенной Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер («Слушай, Кенарь, я все понимаю, и мои ребята сделают тебе ксиву хоть на Мефистофеля, но стоит ли так выдрючиваться?» – «Дурак ты, Филя, хотя и гений. Это абсолютно реальная дама»), а также чистый бланк швейцарского паспорта – на всякий случай.

С квартирой ему повезло, платил он недорого: тысячу двести евро в месяц.

Дом был спокойным, респектабельным. Окна гостиной и спальни выходили в тихий задний дворик, мощенный мелкой галькой, где в больших деревянных кадках тихо мокли под дождем или радовались солнышку карликовые остроперые пальмы. И жильцы, грех жаловаться, были вполне приличными людьми: пожилая пара бывших железнодорожных служащих, старая дева, сотрудница научного отдела

университетской библиотеки, балерина на пенсии... Ну, и парочка голубых, без которых здешний дом считался бы *пуританским и чопорным*.

Он прошел с полкилометра по рю де Риволи, миновал торговый дом «Базар дель Отель де Вилль», свернул на рю дез Аршив, затем на рю Сен-Круа де ля Бретонри, где было полно заведений: лавочки со всякой всячиной, магазин головных уборов, химчистка, крошечный бар, парикмахерская для голубых (там, впрочем, не гнушались стричь представителей другой, презренной части человечества); магазин одежды и известное кабаре «Point Virgule» («Точка с запятой»), где по вторникам и четвергам выступали мимы и сатирики-пародисты.

Оказавшись на своей пустой в этот ранний час улице, Леон неощутимо для себя подобрался и достал из кармана куртки связку ключей, среди которых затаился и тот, в чьем невинном брюхе дремало небольшое, но умное выкидное лезвие.

Калитка в старинных дубовых воротах открывалась в бывший конюшенный двор, ныне крытый и превращенный в вестибюль, где в любое время суток янтарными шарами горели кованые светильники, отражаясь в красном кирпиче пола.

Как гулко в рассветной тишине звучат шаги в этих старых бугристых стенах...

Гранитным булыгам стен, сложенных лет этак триста назад, противоречила витая лестница с вензелистыми чугунными перилами: владелица дома, вдова архитектора, вдоволь порезвилась на перестройке, выудив из чертежей покойного (и беззащитного) мужа идиотские сочетания архитектурных стилей.

В противоположном углу холла, несмотря на раннее утро, приоткрыта дверь в квартиру консьержки: желтая полоса электричества над порогом.

Неужели ждала его – так рано?

– С приездом, месье Леон!

– Привет, Исадора.

Круглое опрятное лицо, смуглая здоровая *средиземноморская* кожа, милые темно-карие глаза в лучиках морщин (*мой тип* – подсознательное доверие, симпатия, уютное ощущение родни. Вот оно опять: тоска по *другой* матери).

– Как там моя берлога? Не сторела?

– Все хорошо, месье Леон. Я вчера убирала и, как вы просили, купила сыр, хлеб и молоко. Все в холодильнике.

*В холодильнике... А вот в доме Филиппа, в Бургундии, сыры, окорока и сухие колбасы не знают никакого холодильника, а хранятся в погребе или, обернутые в специальные холщовые тряпочки, живут в шкафу: «чтоб дышали». Хлеб тетка Франсуаза держит в полотняных мешочках. Сначала это удивляло, потом привык...*

– Благодарю, моя радость. Сколько я должен?

– Не торопитесь, прибавите к плате за уборку в другую среду.

Исадора живет в Париже много лет, по-французски говорит бойко и довольно грамотно, но иногда путает слова.

Он стал подниматься по лестнице. Вот лифта нет, это минус. Впрочем, в ближайшие лет тридцать, будем надеяться, сей досадный недостаток...

– Месье Леон! Месье Леон!

Он наклонился над перилами.

Исадора стояла посреди холла, закинув голову.

– Вас тут спрашивал молодой человек. Я, как вы велели, сказала, что вернетесь только завтра. Все правильно?

– Очень хорошо. Что за человек, как выглядел?

Она наморщила круглый лоб, виновато улыбаясь:

– Как вам сказать... Возраст, пожалуй, средний. И внешность такая... средняя...

*Все правильно. Описание любого резидента любой разведки мира.*

И вздохнул: потому-то они и не отпускают тебя, мой милый: ну на кого ты похож? Артист, диковинный педерастический голосок – *знаете, из этих гомиков... Квартал Марэ...*

Значит, Джерри. Можно представить, как его треплет *контора*, если он решил проверить, не вернулся ли я раньше времени.

Тем более стоит поторопиться.

Открыв дверь квартиры, он, не снимая туфель, прошел к телефону и набрал номер. Рановато, но старичье, как известно, встает ни свет ни заря. Еще один старик в его жизни – из тех, за кем он гонялся во времена оны, кого допрашивал и упекал за решетку. Из тех, в кого стрелял пулями, что распускаются в твоём теле, как цветок.

*Когда-нибудь твоя коллекция стариков пополнится тобою же... «Да ты и сам старичок, мой малыш...»* Трубку сняли довольно скоро.

Леон гаркнул:

– Старина Лю! Да здравствует бессмертное учение Маркса! Вива Че Гевара! Вива мудрый Мао! Вива...

В трубке прохаркались, просвистели что-то носом, весело хрюкнули, и наконец густой шершавый бас увесисто пробухтел:

– Это ты, *мон шер Тру-ля-ля*? А я тебя искал дня два назад... звонил-звонил... Молчок – что ночью, что утром. Ну, думаю, мой Тру-ля-ля повесился на вожжах, которые я удачно ему впарил.

– Что-то интересное? – спросил Леон.

– Так, кое-что. Чучело броненосца на истлевшей бархатной подушке и кабинетный перегонный куб в футляре из крокодиловой кожи.

– Броненосец будет собирать пыль, а перегонный куб мне разве что на рояль ставить, – сказал Леон. – Слушай, Лю, дело есть. Мы могли бы увидеться?

– Когда?

– Да прямо сейчас.

Кнопка Лю пошлепал губами, порычал, произвел еще множество *думающих* звуков.

– Я сегодня на «Монтрёе», – сказал он. – Шарло, добрая душа, купил место на два дня, пускает меня под свое крылышко. Буду там в полдень.

– Сможешь отлучиться на часок?

– Если угостишь.

– Само собой. Помнишь тот рыбный ресторанчик, штурвал на голубой вывеске? Там подают неплохие *mouilles*... Годится?

– Ну, пусть *mouilles*, – покладисто вздохнул Лю.

Кнопка Лю, крошечный эфиоп, антиквар, «Король броканта» – бывший пират, бывший марксист, бывший русский филолог...

Непутевый сын одного из эфиопских князьков, в молодости Лю увлекся учением Маркса, стал «революционером-интернационалистом», учился – сначала в МГУ, затем в различных «центрах подготовки» от Афганистана до Ливана. Овладев в равной степени марксизмом и «калашниковым», гонял на бронекатере вдоль всех берегов Карибского бассейна, собирая деньги «на революцию», не забывая и себя, грешного. Когда постарел и «работать» стало невозможно, купил подходящие документы, перебрался во Францию под новым именем и попросил политубежища.

Эту свою ослепительную биографию Кнопка Лю, разумеется, рассказывал далеко не каждому. Просто он считал своего Тру-ля-ля невинным пришельцем из страны оперного барокко. Однажды, в начале знакомства, потрясенно осознав, с каким бездонным источником информации имеет дело, Леон провел Кнопку Лю на спектакль в «Опера Бастий», где раза два, согласно роли, выехал на авансцену на сверкающей золотом троянской колеснице, заработав у эфиопа прозвище «Тру-ля-ля» и заняв в его воображении место на картонном облаке с голубой каймой.

Русская речь вызывала у бывшего пирата благоговейный трепет, а то и слезы радости – если к тому времени он был прилично (не без помощи и за счет Леона) подогрет.

Во Франции старый террорист вел трогательную трудовую жизнь «кочевого профессионала», антиквара, неустанно рыщущего по всем развалам, помойкам и «плюсам» в поисках настоящих жемчужин.

– Хватит, – говорил он, – хватит морей; сейчас меня укачивает от одного вида компота в банке.

Мечтой его был магазинчик, который кормил бы на старости лет. Но тяжкие вериги свирепых налоговых законов... Магазинчик оставался мечтой, а Лю пробавлялся по рынкам и аукционам; иногда покупал законное место на каком-нибудь «броканте» (часто именно на «Монтрёе») и торчал там пару дней под тентом на складном стульчике, после чего перекочевывал дальше.

До встречи оставалось часа два – вернее, два часа семь минут. Вполне достаточно, чтобы добраться до метро «Porte de Montreuil». Правда, по пути надо было еще заскочить в фотоателье.

Леон снял куртку, сунул ноги в домашние тапочки, поколебался – нырнуть ли в душ или лучше сварить кофе? – и выбрал, разумеется, кофе. Вот уж кто не станет придирчиво рассматривать своего Тру-ля-ля на предмет свежей рубашки или тщательно выбритого подбородка – старый негритос, бородавчатая жаба, ночной нетопырь, кровосос и бандит, изощренный ценитель прекрасного.

Леон любил свою кухню, крошечную, как Кнопка Лю, и подозревал, что эфиоп именно потому так уютно себя здесь чувствовал. Несколько раз тот был торжественно приглашен на обед к Леону. Подлинный «стейнвей» произвел на него неизгладимое впечатление. «Стейнвей» – и гобелен Барышни, тот, что он безуспешно торговал у Леона уже несколько лет.

...Черета привычных, успокаивающих домашних движений: открыть старую аптечную фарфоровую банку (куплена у Лю), запустить в нее серебряную ложку с таинственным кудрявым вензелем (куплена у Лю), выгрести зерна первосортного



«Карт нуар классик ан грен» и засыпать их в древнюю кофемолку (куплена у Лю)... После чего минут пять с хрустом и треском усердно проворачивать ручку, разбивая утреннюю тишину дома по рю Обрио...

*А вот у Филиппа в Бургундии живет на кухне настоящая советская кофемолка – он купил ее в свой первый приезд в Москву. Шума от нее – как от залпа батареи ракетных минометов, а ценность в том, уверяет Филипп, что в ней можно молоть микроскопические дозы всяких специй (округлив глаза: «Только не кофе, боже тебя сохрани!») – за что ее и держат на второй полке прапрадедова буфета...*

Кстати, достопочтенный Юг Обрио, в честь которого выстроились домишки по обеим сторонам данной куцей улочки, – довольно занимательная фигура. Он был (извлечено из Интернета) «прево» – градоначальником Парижа в четырнадцатом веке, при Карле Пятом. Построил два новых моста, приступил к строительству Бастилии, но в конце карьеры попал в жуткий переплет из-за евреев: ввел для них какие-то микроскопические поблажки в городской свод законов. Само собой, церковь не дремала и, обвинив Обрио в потакании врагам Христа, в жидовской ереси и прочих грехах, засадила его в кутузку. Новый «прево» отменил поблажки евреям, но заодно повысил налоги всем остальным. А вот это уже не понравилось народу, и народ восстал: толпа горожан, вооруженных вилами, топорами и дрекольем (что там еще из *вооружения* имелось у *народа*?), ворвалась в тюрьму, освободила мэтра Обрио и призвала его стать во главе бузы. Можно только вообразить (об этом Интернет молчит), как ошалел бедный господин

градоначальник, не виноватый во всей этой кутерьме. Он бежал на юг Франции и просил защиты у Папы, который посоветовал ему уйти в монастырь – временно, до рассмотрения дела. Но вышло, как всегда – навсегда, ибо потрясенный Обрио вскоре испустил дух в том же монастыре, наверняка проклиная евреев, с которых все и началось.

*А с ними всегда так: начинаешь с мелких поблажек, а заканчиваешь новой мировой религией...*

Густая благоуханная струя ныряет в чашку севрского фарфора (синяя с золотом, два ангелочка смотрятся в зеркальный овал, куплена у Лю), и немытый-небритый жилец квартиры присаживается за столик (восемнадцатый век, куплен у Лю) размером с поднос в рабочей столовке судоремонтного завода города Одессы. Над столиком висит на стене декоративная тарелка, посвященная образованию Антанты, – куплена, разумеется, у Лю...

Усмехнувшись, Леон обвел взглядом кухню, краем глаза (в открытый проем двери) зацепив и половину гостиной (дверь налево), и любимый альков спальни (дверь направо).

Если составить список вещей и вещей, приобретенных за эти годы у Лю – в поощрение, в неявный обмен на какие-нибудь сведения по... по самым разным вопросам и персоналиям, – то можно считать, что «Музей времени» на сегодняшний день прилично укомплектован.

*Да ты, дружок, и сам мог бы купить место на «Монтрёе» и, попыхивая*

*сигаретой или трубкой, торчать в дождь и в зной на тамошней площади, торгуя изысканным барахлом.*

Так вот, если составить реестрик приобретенных товаров... Минутку, минутку... припомним-осмотримся. Итак: элегантный дубовый «кейс» – бочонок позапрошлого века, в коем крестьяне носили на работу домашний сидр (железные ободки украшены витиеватыми кузнечными клеймами и фамилией хозяина); вот он стоит, на холодильнике; крошечный дамский браунинг с инкрустацией из слоновой кости – валяется в выдвижном ящике шкафчика в прихожей; японский чайный прибор «Сацума» со сценками из домашней жизни самураев (настоящее чудо, фабрика закрылась в 1902 году) – выставлен в спальне, на прелестном комодике ар-деко, купленном НЕ у Лю; пасхальные яйца работы гвианских каторжан (точнее, «яйцо в яйце»; китайцы вырезали их из кости, каторжники – из твердых корней) – куплены у Лю и подарены Филиппу в честь заключения потрясающего пасхального же контракта с Берлинской оперой; чеканные вазы из снарядных гильз (траншейная работа Первой мировой) – выставлены на балкон в ожидании цветов по случаю очередного концерта-премьеры; и наконец, разрозненные вещицы «домского» хрусталя и севрского фарфора, ну и всякие мелочи, вроде дорожной птичьей клетки из меди, размером с пивную кружку, не купленной, а полученной в подарок от щедрого Лю на прошлогодний день рождения.

А бежать уже пора, ой как пора...

Он включил компьютер, перенес два фотокадра с крошки-капсулы на обычную флешку, поставил чашку в раковину (мыть уже нет времени), накинул куртку,

переобулся и уже на пороге привычно оглядел квартиру – то, что захватывал глаз.

В изголовье широкой тахты в алькове красовался натянутый на подрамник Барышнин гобелен (мальчик-разносчик уронил корзину с пирожными, два апаша их едят, мальчик плачет, все на фоне афиши Тулуз-Лотрека, ни за что не продам, даже с голоду). Рядом на плечиках висело ее столетнее платице: кружева валансьен, непобедимая прелесть – давно, даже ради шутки, на него не налезало...

*Все хорошо, заткнись, не думай! Не думай, понравилось бы здесь той девушке или нет. Понравилось бы или нет? Ее здесь никогда не будет, ты своими руками отправил ее в безымянный, безликий и безадресный круговорот толпы.*

\* \* \*

От метро «Porte de Montreuil» пройти по улице пару минут, пересечь по мосту кольцевую автостраду, а дальше – вон и кишит она, муравьиной гигантской кучей разливается по площади, затекая в окрестные улицы и переулки, – базарная кутерьма. Раскладные столики под разноцветными грязноватыми тентами, фургоны с открытыми дверцами. Здесь можно блуждать до прихода Мессии, перебирая тряпье, рассматривая старье, утомляя глаз километрами расстеленного, расставленного, разложенного или просто кучами наваленного в картонные коробки барахла.

Фургон Шарло – соседа, приятеля и партнера Кнопки Лю – удачно причален на углу, совсем неподалеку от рыбного ресторанчика. В сущности, если занять столик

на улице, можно наблюдать за покупателями. Но Лю договорился с Шарло, и тот, добрая душа, обещал присмотреть за его столиком. Так здесь принято: все мы люди, и каждому, бывает, до зарезу нужно отойти – то кофейку выпить, то, наоборот, отлить.

Так что разместились в помещении.

Лю уселся, тотчас развязал свою странническую котомку, тканную из вороха каких-то тряпочек, и, соорудив обычную рожу (смесь таинственности с вороватостью), запустил внутрь беспокойную лапку. Результаты этого слепого поиска отражались в гримасах: ужас, что забыл, отчаяние, надежда, облегчение: вот оно! Обычный спектакль, никогда не надоедавший ни самому Лю, ни Леону. Старик, вообще-то, обладал прекрасной памятью и никогда ничего не забывал, если не напивался.

Наконец из котомки был извлечен на свет божий длинный, чуть не в локоть длиной, ржавый железный штырь с неровными гранями, сходящимися в конус. – Как, по-твоему, что это?

*По-моему, это профессионально состаренный кусок железа с помойки.*

– М-м-м... похоже на костыль для подковы, но слишком велик.

– Невежа, плебей! Как можно не угадать гвоздь от подлинного римского распятия!

– Ну, извини, – миролюбиво отозвался Леон. – Не опознал. Меня еще ни разу не распинали... Ты хочешь мне его впарить?

– Не впарить, а, благородно сбавив цену до неприличного минимума, подарить за сто пятьдесят евро. Знаешь, где это откопано? Под стенами Иерусалима. Может,

этим гвоздем самого Иисуса конопатили! И, между прочим, сколько, по-твоему, дерут сионистские ублюдки с любителей-археологов, желающих копнуть чуток там и сям? Двенадцать тысяч ихних денег за две недели! Леопольд разорился, бедняга.

– Проклятые кровопийцы. Видимо, опасались, что Леопольд прикарманит все находки? – весело предположил Леон.

– Так он же не сам копал! Леопольд только оплачивал, ты же знаешь, он человек широкий...

Да уж, судя по всему, дружок Кнопки Лю Леопольд... бесфамильный (фамилия не была произнесена никогда, даже в состоянии сильного подпития) был человеком широким. Внук миллиардера – так утверждал эфиоп. Но – кризис, война, оккупация; дети миллиардера потеряли состояние, и внуку остались только флакончики от королевских духов да пряжки от королевских нарядов. Но этот человек обладал цепкой памятью на предметы роскоши и был настоящим экспертом в мире *потребления объектов «люкса»*. Для него торговля антиквариатом стала увлекательной игрой: он легко отыскивал жемчужины в настоящих помойках и – по оставшимся от родителей связям – выходил на достойных покупателей-коллекционеров. В конце концов, после многолетней карьеры антиквара с бесконечными ее взлетами и падениями Леопольд продал «торговую марку» каким-то американцам и принял замечательно денежное предложение от некоего арабского бизнесмена, владевшего крупной фирмой по торговле гобеленами и коврами. И уже несколько лет Леопольд, о котором Леон слышал столько уникальных историй, но ни разу его не видел, болтался на других континентах, представляя фирму своего

босса то в Бейруте, то в Эр-Рияде, то в Тегеране...

*В сущности, ради Леопольда и была назначена эта встреча: Леопольд был агентом Шаули, его «идеальным французом». Именно он добывал информацию на месте – по наводкам, сообщенным ему таким странным кружным путем, – и виртуозно делал свое дело, не догадываясь, что через цепочку агентов работает на израильтян.*

– Так берешь? Могу продать в рассрочку, я тебе верю...

– Нет, извини. К чему мне эта семейная памятка? Тит распял на стенах Иерусалима до хрена наших ребят. Флавий пишет, что римские солдаты вынуждены были скручивать тела евреев в самые невероятные позы, так как «не хватало места для стольких крестов, и не хватало крестов для стольких тел». Убери подальше эту чертову железяку, Лю, она действует мне на нервы.

– Хорошо, – подозрительно быстро сдался Кнопка Лю, укладывая ржавый штырь на дно своей котомки и между тем продолжая шарить внутри. Видимо, в загашнике имелось кое-что почище гвоздя от распятия.

Тут подоспел официант, и, как и было намечено, оба заказали «мидии с фритом» под светлое бельгийское пиво. Облегченный, честно говоря, вариант для старого пирата, но не хотелось, чтобы Кнопка Лю накачался прежде времени.

– Я все забываю, что ты – нежное создание, мон шер Тру-ля-ля, и падаешь в обморок при виде рогатки. Хорошо! Но вот от этой... от этого чуда, от восхитительной вещицы... ты не сможешь отказаться!

Порылся и извлек какой-то сплюснутый и потрескавшийся от старости кожаный мешок размером с небольшой ридикюль. Похож на мех для вина, хотя маловат и весь обвит какими-то веревками и крючками.

Несколько мгновений Лю с торжествующим видом держал «восхитительную вещицу» над столом:

– Уж это ты, надеюсь, опознаешь? Если нет – грош тебе цена как антиквару.

– Сдаюсь окончательно, – отвечал Леон, отстраняясь от стола и давая официанту расставить приборы и открыть бутылки с пивом. – *Ну, давай, за встречу!*

(Последние слова произнес по-русски. На простых фразах, которые казались ему привычными репликами из московской молодости Кнопки Лю, он переходил на русский язык, чтобы доставить старику удовольствие.)

– Мешок для сбора мочи! – выпалил тот с сияющей физиономией.

Леон поперхнулся пивом.

– Посмотри на эту красоту... на это великое достижение гуманной человеческой мысли. И затем представь: бал, многочасовые менуэты, контрдансы, сарабанды и как там еще что называлось – это уже по твоей части. А теперь представь очаровательных девушек и дам, которым до своего милого фаянсового горшка с розочками надо ехать и ехать в тряской карете...

– Постой... Ты хочешь сказать, что на балу герцогини-виконтессы мочились вот в это приспособление – кстати, убери его, пожалуйста, со скатерти.

– Именно! Смотри, какая сложность, сколько крючков и застежек, как хитроумно крепились веревочки под юбками, чтобы ни капли не пролилось... – Лю поцеловал собранные в пятачок коричневые пальцы и нежно прижал мешок к



морщинистой щеке, заросшей седой щетиной, точно собирался вздремнуть. – А что делать?! – воскликнул он, отнимая щеку от мочесборника, как от любимой подушки. – Куда бежать? Под каким кустом садиться – все озарено ежеминутными фейерверками! Поднимать все фижмы, все слои нижних юбок с кружевами – замучаешься! И нет такой доброй души во всем дворце, кто пустил бы тебя на свой горшок!

– Ну, хорошо, но все же... ах, убери, убери, ради бога, сейчас еду принесут! Все же не понимаю: как это болталось между ног, особенно когда наполнялось... бр-р-р! – ведь это мешало... пируэтам?

– Так медленные же танцы, старина! – в восторге заорал Кнопка Лю и голосом подчеркнул: – *Поэтому* – медленные танцы. Говорю тебе: менуэт, контрданс и хрен знает что еще по твоей части! Ты только вообрази, как скользили шелковые ляжки вокруг этой штуки... Пятьдесят евро – и он твой! Можешь мочиться в него, не сходя со сцены, – у нас ведь тоже кое-что болтается и иногда наполняется, если повезет... В конце концов, можешь подарить любимой девушке – она умрет от счастья.

– Ладно, отложи куда-нибудь, я подумаю, – сказал Леон, потягивая пиво, машинально перекатывая и согревая во рту каждый глоток.

*А купить надо. Надо купить это хитроумное сооружение и подарить Филиппу. Не следует оставлять Кнопку Лю совсем уже без прибыли...*

– У меня к тебе дельце, – непринужденно обронил он. – Кстати, довольно близкое к э-э... гвоздю распятия. Мне предложили монету императора Веспасиана. – Подделка! – фыркнул Кнопка Лю.

– В том-то и удача, что подделка, – согласился Леон. – И очень дорогая. Так как подделали ее во времена, когда она была в ходу. Когда подделке две тысячи лет, она уже артефакт, согласись.

Он помедлил. Вытащил из внутреннего кармана куртки один из снимков, что отпечатал по пути в фотоателье, – черно-белый, с двумя одинаковыми монетами в разных руках Адиля. Аккуратно выложил на стол перед эфиопом:

– Посмотрим, сумеешь ли *ты* определить, которая фальшивка.

Лю взял фотографию, слегка отдалил ее, всмотрелся.

– Черт! Что ж ты не предупредил? Я оставил дома свои *нюхательные* очки!

(Он называл так свои очки с какими-то особыми, как уверял, линзами, которые позволяли «вынюхивать» подделку.)

– Ничего, надень обычные и рассмотри получше.

Он терпеливо ждал, пока Кнопка Лю заведется по-настоящему. Ждал момента, когда камера сможет «отъехать», предъявив ту, другую фотографию, на которую, возможно, Леон возлагал сегодня слишком много надежд. А прояснить кое-что нужно было именно сегодня, пока не дошла открытка, брошенная в почтовый ящик в аэропорту Краби.

– Монеты, скажу тебе... одна в одну, – бормотал эфиоп, то приближая, то отдаляя карточку. – Работа отличная. Но... нет! Чтобы точно определить, нужно своими глазами увидеть: взвесить, осмотреть через лупу... – Он снова приблизил фотографию к своему бугристому, как пемза, носяре: – Между прочим, этот приемчик настораживает: тебе демонстрируют ее на ладони взрослого и на ладони ребенка, чтобы сбить впечатление: вес, размер. Говорю тебе: мошенничество!

*Вот ты и попался...*

– Это рука одного и того же человека, продавца-антиквара, – сдержанно возразил Леон и достал из кармана второй снимок. – Просто он калека. Я просил увеличить руки с монетами – для тебя, чтобы взгляд сосредоточить. Но если тебе интересно... вот весь кадр целиком.

Кнопка Лю умолк, всматриваясь в карточку. Леон попросил сделать ее довольно крупным форматом, но не настолько, чтобы это выглядело нарочито и вызывало подозрения.

– Это где – в Каире? Или в Бейруте? Хороший магазин.

– Да бог его знает, – рассеянно отозвался Леон. – Монету мне предлагает... вот этот мужик. – Щелкнул ногтем по фигуре «дяди Фридриха». – Он коллекционер. Купил там обе и теперь меня заботит... ну, ты сам понимаешь опасения бедного лоха: не втюхает ли мне этот дядя жалкий подлинник вместо подделки.

Кнопка Лю уткнулся в фотографию, вдруг быстро отложил ее – и что-то в нем изменилось: в руках, во взгляде, в лице.

– Закажи мне еще пива, – велел он, наклонясь над своей котомкой и что-то суетливо там перебирая. – Должен же я раскрутить тебя на приличную сумму.

– А ничего, что наклюкаешься? – озабоченно спросил Леон. – Тебе же до вечера тут крутиться.

– Давай-давай! – прикрикнул старик. – Не беспокойся обо мне. Я неразбавленный ром знаешь как заглатывал! Оп! И в брюхе... Это ты, Тру-ля-ля, нежный птенчик, фарфоровое горлышко... Что ты понимаешь в настоящей выпивке!

– *Не понимаю ни черта*, – смиренно согласился Леон по-русски и подозвал официанта.

А тут и мидии принесли в большой керамической плошке: целую гору темно-синих ракушек, дразнивших оранжевыми язычками в распахнутых голубоватых створах. Все, как положено, щедро посыпано свежей петрушкой.

Кнопка Лю жадно вылакал еще кружку пива и, наоборот, как-то вяло отнесся к еде. Фотографию он отодвинул на край стола, а Леон – тот и вообще словно забыл о ней.

– Вкусно, а? – спросил он, подмигнув эфиопу. – Это правильные *mouilles*. Некоторые любят южный вариант, знаешь, когда в огромной сковороде жарят картошку с луком, потом на минутку бросают туда же *mouilles*... Тоже неплохо, но, между нами говоря, это шаг к варварству. Лишает блюдо главного компонента – сока!

– И где же ты встретил *того мужика*? – вдруг спросил Лю, не отрывая глаз от кружки, в которой пиво убывало так быстро, словно в доньшке была трещина.

– В отпуске, в Таиланде, – легко обронил Леон, расправляясь с мидиями. – На круизном кораблике. Разговорились, он показал снимок на «айпаде»... Почему ты не ешь? Не нравится? Ей-богу, неплохие *mouilles*! Но вот я готовлю их по-настоящему – под белым вином, со сметаной, с сельдереем... У меня есть даже особая такая кастрюлька, и крышка у нее специальная.

– Леон... – медленно проговорил крошечный эфиоп, не поднимая от пива глаз. От волнения у него посерело лицо.

– ...И лучше всего использовать эльзасский рислинг... Если вино не очень кислое, лимонного сока можно капнуть. А для вкуса, – вдохновенно продолжал

Леон, – для вкуса я добавляю ложечку «*фюме де пуассон*» – так это просто объедение! Когда-нибудь приглашу тебя на...

– Леон, – повторил Кнопка Лю, положив, как на допросе, обе корявые лапки на скатерть. Голос требовательный и одновременно жалобный: – Я тебя *заклюн'аю всеми боґами!* – (это по-русски), – я тебя просто умоляю, мон шер Тру-ля-ля! Никогда не имей дела с этим мужиком. Держись от него подальше. Хрен с ними, с монетами! Плюнь.

– А в чем дело? – *Изображаем удивление, тем более, что оно вполне натуральное.* – Ты что, знаешь его?

– Да закажи мне что-нибудь покрепче, ты, птенчик голосистый! – рывкнул Кнопка Лю. – Это ж просто издевательство. Эй, гарсон!

И минуты через три уже накачивался принесенным «Алокс-Кортон» 2007 года, быстро одолевая бутылку. Леон терпеливо ждал, слегка ошарашенный – он не надеялся на столь откровенную и бурную реакцию. Он вообще ни на что почти не надеялся, просто, зная некоторые подробности бандитской молодости Кнопки Лю, представляя несусветный круг его *профессиональных* знакомств, делишек и связей, посчитал целесообразным...

– А ты, кстати, на каком языке с ним говорил? – спросил Лю, прищурясь. Его *touilles* на тарелке лежали нетронутыми.

– На английском, конечно. Он из Лондона.

Тот фыркнул, схватил бутылку и долил себе вина.

– Да он по-русски говорит, знаешь... не мне чета!

– Неужели! – ахнул Леон. – Ты что, сам слышал?

– Дело не в том, что слышал, а в том, *где* я это слышал! – сказал вспотевший и уже фиолетовый то ли от спиртного, то ли от волнения эфиоп.

– Ну, где? – лениво спросил Леон.

– *У тибья на ба-ра-дье!*

– Очень остроумно. Умираю со смеху.

*Сделаем вид, что обиделись, с Лю это работает безотказно: всем своим крошечным сморщенным существом он умоляет, чтобы его любили...*

*Преимущество привычки садиться лицом к входу – в том, что видишь изрядную часть площади перед забегаловкой, видишь людей, проходящих мимо навесов и фургонов, привычно контролируешь пространство. Однако почти не видишь в контражуре бурую взволнованную физиономию Кнопки Лю, хотя день с утра облачный и по освещению ровный.*

– Послушай, Тру-ля-ля... Мой дорогой Тру-ляля... Если я о чем-то предпочитаю молчать, то это ради твоего же спокойствия. – Язык у него уже заплетался, и было совершенно непонятно, каким образом он собирается вести дела. Надо полагать, продажи на сегодня закончились. – Но я не буду молчать! – Он грозно поднял голос.

– Тихо! – шикнул Леон. – Вспомни, как из-за тебя нас обоих выкинули из бистро.

– Молчать мне не требуется, – послушным шепотом повторил Кнопка Лю. – Потому что все это уже – достояние истории. Господи... Видел бы ты, что творилось году этак в семьдесят седьмом в каком-нибудь тренировочном лагере под Сидоном! Кто только их не проходил, эти палестинские *центры подготовки!* Я туда угодил... ну, скажем, по молодости. Азарт, коммунизм, «калашников» – ты не

представляешь, как я с ним сросся! Иногда просыпаюсь от какого-нибудь ужасного сна, вскакиваю и готов палить во все стороны... а на мне одни старые кальсоны. Да что тебе рассказывать. Ты только игрушечные пистолеты в руках и держал, а? Короче, в этих лагерях я встречал *таких* головорезов из *таких* организаций... очень крепких в те времена, пока им не накостыляли. Были у меня приятели из итальянских «Красных бригад», из немецкой «Баадер-Майнхофф», была тройка-другая иранцев из «Революционной гвардии»... Ну и всякой твари по паре... Потом, в восемьдесят втором, израильтяне погнали их из Ливана, но это – пото-ом... А тогда – ух, было весело! Ты, конечно, ни черта не слыхал про это времечко, да тебе и неинтересно, серебряный голосок: *плюнь и растъери!* В те годы ребята из ООП гуляли на всю катушку: захват самолетов с заложниками, взрывы пассажирских самолетов – короче, сплошной праздник! Летишь на каникулы к бабушке, и вдруг бабах! – и бабушка внука уже не увидит. И кого только по миру не убивали, и чья только кровь не лилась... Нет! – Он бормотал, обращаясь уже не столько к Леону, сколько к себе самому, к своей кошмарной неискупленной молодости. – Нет, я старый человек, я больной человек в штопанных кальсонах, меня интересует севрский фарфор и вот изящный мешочек для сбора прелестной дамской м-м-м... мочи.

То есть, с горечью подумал Леон, по-прежнему снисходительно улыбаясь старому бандиту, произошло самое страшное: Лю нахрюкался, как последняя свинья, и ты ничего не сделал, чтобы это предотвратить. Можно платить и топать отсюда. А его затолкать в фургон, чтобы проспался, черный дурень! Впрочем, встречу не назовешь совсем уж неудачной.

– Смотри, не блевани, – заметил он, внимательно приглядываясь к Лю. – Советую тебе хоть что-нибудь съесть.

И выждав минуты три, пока эфиоп вяло ковырнет вилкой и отправит в рот содержимое ракушки, спросил наудачу:

– И где же болтался тот парень, который такого страху на тебя сейчас нагнал? Среди «Красных бригад»? Или среди ребят ООП?

– Он не болтался! – возразил Лю. – Он был инструктор. Знаешь такое слово: ин-струк-тор? Полагаю, относился к одной из подсоветских разведок... Возможно, к Штази. Ты говоришь – британец! Кой там черт – британец! Немец – он немец и есть, с головы до ног немец. Я околачивался там два сезона, перебивался в охране. Я там, мой милый, такие сцены видел – мне до конца жизни хватит на все страшные сны. Я однажды видел, как они допрашивали женщину, она была черкесской, но работала на израильтян. Красавица! Княжна! У нее была зубоврачебная клиника в Бейруте, на чем-то там она прокололась... И не дай тебе бог...

– И с кем же он по-русски говорил? С русским инструктором? – перебил Леон, уже не заботясь ни об интонации, ни о своем образе Тру-ля-ля на картонном облаке в золоченой колеснице; заботясь лишь о том, чтобы вытянуть из старого эфиопа все, что тот в состоянии проблеять.

– Да не-ет, в том-то и дело. Тот был иранец. Они друг перед дружкой хлестались в русском мате – кто больше знает. Дружок его, иранец, Бахрам... Да-да, и не только дружок. Этот был женат на его сестре.

– Вот болван ты, Лю! Что ж ты zenки залил! Кто женат? На чьей сестре?

Кнопка Лю вдруг выговорил четко и рассудительно:



– Казах. На сестре иранца Бахрама... Они были свояки, родня, и оба учились в Москве... И ты прав, больше пить не надо.

– Казах? Заговариваешься, старина. Он же был, говоришь ты, немец? При чем же тут казахи?

– П-понятия не имею... Его так Бахрам называл. А как его звали по-человечески... не-не помню!

– Пойдем, отконвоирую тебя до фургона, – сказал Леон, вкладывая купюры в книжку поданного официантом счета. Пристально осмотрел пьяненького Лю, как рачительный хозяин, прикидывая, можно ли вытянуть из него еще хотя б одно дельное слово, и пустил последний шар в лузу: – Но сейчас он уже очень пожилой человек, почтенный бизнесмен. Все в прошлом. Штази разогнали. А он торгует коврами.

Лю, который уже приподнялся со стула, рухнул на него опять. Почему-то эта реплика Леона произвела на него гомерическое впечатление. Он ржал и плакал от смеха, просто лег грудью на стол. Пытался вытащить салфетку из салфетницы, чтобы утереть слезы, и не попадал пальцами в прорезь. Леон вытащил целую пачку и сам утер ему физиономию.

– Ковры... ковры... – не унимался эфиоп. – Штази разогнали? Таких людей не разгоняют! Такие люди, как он, и вдруг – ковры?! *T'es con ou quoi?*<sup>[40]</sup> Коврами торгует Леопольд, чистая, щедрая душа, знаток и мудрец. Но Казах? Который на моих глазах лично пытал женщину, выворачивая ей руки в суставах? Ну да, пожалуй... эта его фирма для того и украшена коврами, чтобы... Да знаешь ли ты, что в некоторых странах «калашников» дешевле курицы?!. – Он забормотал, пытаясь

налить себе в кружку еще две-три капли вина из пустой бутылки: – Система запираания затвора, сборка механизмов – гениальное изобретение... А мой любимый РПГ? Нет, ты в этом ни черта не сечешь, моя певчая птаха, тебе и понимать не нужно... Просто в нашем мире есть кое-что, чем раньше я очень даже промышлял по глупой молодости лет. А сейчас – нет. Сейчас только – вот он, мой добрый и нежный...

Достал и прижал к щеке мешок для сбора мочи – странно, что помнил о нем и не выпускал из рук. Что значит – профессия, уважительно подумал Леон.

– В смысле – бах-бах? – спросил он, целясь в антиквара указательным пальцем.

– Не только бах-бах... – тот подмигнул и головой покачал. – Тебе это знать не стоит, мон шер Тру-ля-ля! Не только бах-бах, а еще то, что поднимает на воздух целые кварталы... если постараться вложить в игрушку бо-о-ольшую погремушку... А уж если такую погремушку где-то сильно захотят, а кое-кто сможет достать для нее начинку... Да ты хоть представляешь, кто сейчас его свояк Бахрам? «Бахрамчик» – он его называл, Казах то есть. Да, Бахрамчик. Большой человек.

– Генерал? – уточнил Леон, встряхивая Кнопку Лю. – Министр?

Тот снова согнулся от смеха, щекой припав к скатерти на столе.

– А ты при встрече спроси Казаха по-русски, ладно? И спроси, чем он сейчас торгует, кроме ковров... «Занаве-е-есь ковром свой альков... свой бесстыжий грех и младую кр-р-ровь...» Слишком много оружия, слишком мало войн, – бормотал он. – Слишком много железа на нашей небольшой планетке...

...и далее нес уже нечто вовсе неудобоваримое и был совершенно бесполезен.

Леон притащил его чуть ли не на себе к фургону, где кроткий Шарло, взглянув

на маленького, вусмерть пьяного эфиопа, предложил поднять того в фургон – «пока не отойдет».

Что и было сделано ими сообща, с некоторым добродетельным усилием и не вполне добродетельными комментариями. Шарло – задастый француз лет пятидесяти пяти, добряк, усач и остроумец, любил крепко выразиться.

– Да... – спохватился Леон, уже отойдя от фургона, но через минуту вернувшись. – Я у него сегодня купил кое-что. Передай вот полтинник, когда проспится.

\* \* \*

По пути домой ему дважды привиделся бритый затылок Айти: на входе в метро (принадлежал юноше с мольбертом) и на рю де Риволи – она брела, пошатываясь, в обнимку с каким-то старым наркоманом (когда обогнал, нарисовались два мирных педика).

Бывает...

Но его неприятно задела собственная реакция: оба раза сердце вспархивало к горлу и там трепетало крылышками, как канарейка, тело же бросалось в погоню практически без всякой команды мозга, который в это время крутил ручку бешеной счетной машинки, вычисляя варианты: «Она в Бангкоке пересела на парижский рейс... она разыскала адрес – каким образом?!...» – и тому подобное жалкое бормотание безутешного ушибленного нутра.

Да ты что, мой дорогой Тру-ля-ля, сказал он себе голосом Кнопки Лю, *t'es con ou quoi?*

Слегка примирил с жизнью только вечер, который Леон провел в своем любимом, *ласкательном* кожаном кресле с заботливой подставкой под ноги (единственная, кроме тахты, современная вещь в квартире), обсуждая с Филиппом по телефону новые предложения. («Я сказал им – Дюпрэ?! Нет, увольте: это должен быть мощный эксклюзивный контратенор с репертуарным спектром “от барокко до рока”, а не очередной лучезарный мудак, у которого амбиции выше компенсации, но фа второй октавы – уже трагедия... И если вам не по карману Этингер, то...»)

Затем они продуктивно поругались насчет репертуара для предстоящего конкурса оперных певцов Королевы Елизаветы в Брюсселе и всласть посплетничали о недавнем секс-скандале в администрации Кембриджа, где вскоре Леону предстояло петь – в Часовне Кингс-колледжа.

Все это были насыщенные, азартные, волнующие, очень важные для него темы и интриги.

– Ты какой-то... не такой, – в конце концов сказал Филипп. – Какой-то пристукнутый. Отпуском доволен?

– Бургундия лучше, – помолчав, ответил Леон. – Следующий отпуск проведу у тебя в Жуаньи.

– И не пожалеешь, – отозвался Филипп.

Уютный вечер, уютный желтоватый свет старинной лампы (на фарфоровом основании, орнамент «Цветущая сакура», 1880 год, состояние отличное, куплена у

Лю), наконец-то своя, своя, своя жизнь... И внезапный промельк вкрадчивой мысли: а приняла бы всю эту жизнь *она*, с ее фотоаппаратом, с ее грязным рюкзачком, с ее гордой беззащитностью? И настырное, обжигающее воспоминание о нити длинного шрама – от затылка до левой лопатки.

\* \* \*

С Джерри он встретился на следующий день; позвонил ему из театра, из кабинета администратора.

– Руди, это я! – сказал легкой будничной скороговоркой. – Ну, партитуру я приготовил, как и обещал, могу передать сегодня после спектакля, если потрудишься дождаться меня у служебного входа.

И Джерри, он же Руди, он же какой-нибудь Ицик или Арье, *потрудился* дождаться Леона после спектакля.

Время от времени Джерри появлялся на его спектаклях и концертах без всякой договоренности. Приходил, честно покупал билет, высиживал до конца. Интересно, что это – любовь к музыке? проверка безопасности? невинная слежка за каким-нибудь меломаном? *ориентация на местности?*

Встречаясь всегда только по делу, о музыке они не говорили; в общении Джерри был таким же... средним, как во всех остальных своих приметах. Профессионал, аккуратный исполнитель, хорошо обученный служака... Леон терпеть его не мог –

из-за одной только его привычки: разговаривая, он тошнотворно трещал суставами пальцев.

Джерри дождался Леона на служебном входе, и, отъехав от «Опера Бастий», минут двадцать они проговорили, сидя в серебристом «Пежо».

– Поскольку операция находится в стадии активной разработки, меня, скорее всего, спросят, кто твой источник, – проговорил Джерри, пряча обе фотографии и флешку в дипломатический кейс, – и можно ли ему доверять?

Тут Леону следовало бы спокойно пояснить, что источник совершенно надежен и у него, Леона, есть свои причины пока держать его в тени. Вместо этого он подурячки вспылал и заявил, что не служит в конторе, не получает у них зарплату, все свои передвижения оплачивает сам и потому отчитываться ни перед кем не намерен. Их дело – брать или не брать сведения из его рук!

– Да ладно тебе, *ахи*<sup>[41]</sup>, – удивился Джерри. – Чего ты раскипятился?

– Извини, – буркнул Леон, открывая дверцу машины. Но закрыл снова и, чуть подавшись к Джерри, проговорил: – В *конторе* знают, что всех своих людей я таскаю вот здесь: в нагрудном кармане. Никто из них меня еще не подводил. Но и я их на торги неставляю. Довольно того, что я подарил вам Леопольда. Передай Натану все именно так и в том порядке, в каком я тебе изложил.

Вышел из машины, хлопнув дверцей, но вновь рывком ее открыл и сказал в полутьму салона:

– Джерри, давно хотел тебе сказать: кроме центральной кассы в «Опера Бастий» есть еще одна – за углом. Открывается за полчаса до спектакля. И там за двадцать евриков можно купить билет на приличное место.

С некоторых пор его брезгливый аккомпаниатор Роберт Берман стал пить у него кофе и вообще появляться на его кухне. Внимательно следил, как Леон моет чашку специальной губкой, как, достав из шкафчика чистое полотенце, протирает ее, наливает из джезвы крепкий густой напиток, что затопляет квартиру горьковатым ароматом превосходного кофе. Наконец, принимал чашку из *грязных лап* Леона и с некоторой опаской оглядывал ее со всех сторон. «Печенье? Нет, не надо».

– Где оно у вас стоит? – спросил сегодня подозрительно. – В шкафу? В закрытой, надеюсь, банке? – И поколебавшись, рукой махнул: – Давайте! – будто бесшабашно решил купить акций на полмиллиона или, наоборот, продать фамильный замок.

Давно прошел период, когда они медленно и неприязненно притирались друг к другу. Иногда срывались, дважды серьезно ссорились, и их долготерпеливо, осторожными челночными визитами утихомиривал Филипп, виртуоз дипломатии. Однажды они расстались на два месяца, и Леон честно пробовал приноровиться к другому аккомпаниатору, интеллигентной молодой даме, такой любознательной, такой разговорчивой и... ужасно разговорчивой, черт бы ее побрал!

То, что сейчас Роберт сидел бочком за миниатюрным столиком на этой кухне и позволял налить себе кофе, Леон считал своей личной заслугой. Он приручал Роберта, как приручают диковинную птичку, случайно усевшуюся на открытую форточку. И дело того стоило: Роберт был бесподобным музыкантом, чутким,

сдержанным, умеющим по-своему ограничить голос исполнителя.

Поначалу Леон заманил его на свой «стейнвей», а впервые оказавшись в квартире на рю Обрио, Берман с удивлением отметил:

– А у вас, надо сказать, довольно чисто.

«Довольно чисто»! Признаться, тощий комплимент чистюле Исадоре, после уборки которой можно спокойно поднять с пола бутерброд, упавший маслом вниз, и продолжать его есть!

И с тех пор они репетировали только на рю Обрио – благо добираться Роберту было удобно, по той же ветке метро.

*Одно время Леон мучительно размышлял о Роберте – о немецком мальчике с желтой звездой на курточке, – невольно сравнивая его с собой. Осторожно думал о слиянии вражеских кровей в одном нерасторжимом сердце, о предательстве двоих, безответственных, влюбленных, преступно слившихся в продолжении жизни, бездумно выпустивших в запутанный жестокий мир таких вот жертвенных кентавров... Тогда он вспоминал Иммануэля и думал о дележке наследия Авраама, о мужестве выбора, об одиночестве, о стремлении ни жертвой не быть, ни орудием мести. Не восходить на костер. Не заносить нож. Не выпускать пулю, что рано или поздно распухнет цветком в твоём же теле.*

– Хм... неплохо, – одобрительно заметил Роберт, пробуя печенье. – И такие маленькие... Где вы их покупаете – в кондитерской?

– Нет, тут у нас в булочной, за углом, – рассеянно отозвался Леон и подумал, как



удивился бы Роберт, а пожалуй, и содрогнулся бы от отвращения, узнай он, что эти крошечные печенюшки Леон покупает в память о белой крыске Бусе.

– Так вот, знаете, Леон, – проговорил Роберт, осторожно, как пинцетом, вытаскивая двумя нервными, крахмально чистыми пальцами очередную печенюку из вазочки, – мне кажется... у меня такое ощущение... что вы не вернулись из отпуска, где вы там были – в Индии?

– Что? – удивленно переспросил Леон, вдруг поразившись беспощадной точности, с какой этот странный, погруженный в себя человек («где вы там были – в Индии?») определил его состояние. Именно: не вернулся.

Нет уж, сказал он себе в ярости. Ну-ка подбери сопли! Тоже мне, страдания *на нервной почке!*

Через неделю на приеме в посольстве Италии он встретил Николь, которую не видел года полтора.

\* \* \*

Он любил этот особняк на рю де Варенн, его сдержанно-элегантный фасад, великолепие семицветного мрамора парадной лестницы. И сколько раз ни бывал там, перед тем как уйти, непременно обходил все доступные посетителям залы, любуясь гобеленами и стеновыми панелями *буазери* восемнадцатого века, привезенными из шато де Берси. Раза два в году Леона приглашали выступить здесь

на изысканных приемах, где всегда бывала публика, в большинстве своем искушенная в музыке. И он всегда особенно придирчиво выбирал репертуар, советовался с Робертом, менял решение в последний момент, волновался, продумывал прикид.

Кстати, выбор репертуара зависел и от того, где проходили концерты: в Музыкальном зале с его интерьером в стиле Людовика Пятнадцатого, с копиями картин Франсуа Буше и *гротесками* на панелях, или в Сицилийском театре, с лепным потолком в стиле рококо, декоративным фонтаном и обилием зеркал – просто лавиной зеркал, водопадом зеркал, изливающих свои прозрачные воды даже с лепных потолочных падуг. Празднично разворачивая интерьер, эти зеркала добавляли объема воздуху и свету, создавали целую вселенную звуков, множимых поразительной акустикой.

В этот раз он выбрал для выступления Третью песню Леля из «Снегурочки» Римского-Корсакова – во-первых, своей весенней капельной текучестью она перекликалась и звенела в зеркальном воздухе Сицилийской залы; во-вторых, на подобных приемах, где бывало довольно много россиян, он часто выбирал что-то из русской музыки, подчеркивая истоки своей *школы* и тем самым вписывая себя в плеяду русских контратеноров, в последние годы заслуживших на Западе восторженное признание.

Он заметил Николь, когда, выпевая последнее:

– «Ле-е-е-ль мой, Ле-ель мо-о-ой... – подержал гласные – широкое, синевато-

сизое, морозное «е-е» и глубокое, грудное, пурпурное «о-о-о», любясь и сам переливчатой шелковой изнанкой округлого звука, перед тем как заливчатски, с бубенцами, съехать с ледяной горки: – Лё-ли-лё-ли-Лель!»

И, переводя дыхание, пока звучал завершающий проигрыш Роберта, взглядом выхватил из толпы лицо и фигуру Николь, такую знакомую – по ее обреченной очарованной застылости: его голос явно действовал на нее по-прежнему.

Он отвел глаза, улыбался, кланялся, наконец ушел со сцены и минут десять спустя (его номер завершал концерт) появился среди разбирающих бокалы гостей. Вина здесь всегда подавали отменные.

Взглядом он выудил Николь из толпы и подошел к ней со своим *непринужденным белозубым фасадом*. Она вспыхнула, оставила на круглом мраморном столике тарелку и бокал с вином, в волнении быстро прожевывая кусочек, что успела откусить... Он так рад ее видеть... И она, она тоже... так рада... видеть... Нет. Да. Конечно. Послушай, это правда, что ты пел на дне рождения принца Эдинбургского и Его королевское Высочество наградил тебя титулом «Мистер Сопрано»? Господи, я бы умерла от счастья... Тебе так идет этот винный смокинг... глазам и вообще – лицу, всему, и так сидит... ты неотразим! А голос – он стал еще лучше. Не иронизируй. Я тебе не стану зря льстить, особенно теперь – просто незачем. Но он стал еще лучше. В нем появилась какая-то отстраненность сверкающего гибкого лезвия...

– О как! – с насмешливым удовольствием отозвался Леон, склонившись к ее руке, прикоснувшись губами... Вот уж *эта*, невольно сказал он себе, прекрасно слышит твой голос и не только *слышит* его... Ей просто не надо объяснять, кто ты

такой и чего ты стоишь.

Ну, у нее-то – спасибо, все хорошо, все в порядке. Она *взяла* в университете Лозанны курс по истории моды и сейчас одержима идеей нового модного дома. Знаешь, неожиданно эту затею одобрили и отец, и дяди, и дали под это некоторый капитал – хотя у нее есть, конечно, и свои деньги. Но они такие добрые, правда? Пока дали немного – миллионов пять, шесть... А там уже все зависит от нее – от предприимчивости, деловой хватки. В данный момент идут переговоры с потрясающе перспективным дизайнером из Франкфурта. И – голова кругом: надо готовить совсем новых манекенщиц, шить весеннюю коллекцию, думать о настоящей рекламе... ведь в наше время только агрессивная реклама...

*Ну, чудно, чудно... значит, немного, миллионов пять, шесть...*

Минут двадцать они проболтали о том о сем, с бокалами в руках, после чего, разом их отставив, вместе покинули суету и толкотню. Долго гуляли по набережным, продолжая трепаться о забавных пустяках, перебирая оперные сплетни... не касаясь только одного: как провели друг без друга эти полтора года. Впрочем, он слышал (непроверенные слухи), что у Николь был роман с колумбийским дипломатом и дело уже несло к торжественному финалу, но в последний момент все распалось, увяло, засохло...

Она шла рядом, иногда чуть забегая вперед, чтобы видеть его лицо, и выражение синих глаз напоминало ему, как и раньше, Габриэлу, но кроткую, притихшую и трепетную Габриэлу, какой та никогда не была. (А другую, бродяжку, бритый затылок, грудки-выскочки... другую, ту, которой ежеминутно надо предъявлять лицо, чтобы... о ней не вспоминать! цыц! не вспоминать!)

– ...Еще у нас новость: папа купил старый прекрасный дом в Портофино. Не бывал там? Это рай: крошечная тихая бухта, горные виражи, благословенная Лигурия... (Помнишь такую старую песенку «Love in Portofino»?) Чудесный дом на скале, середина девятнадцатого века, и в отличном состоянии – только плитку в зале пришлось переложить. Наш дизайнер гонялся, как фанатик, за подлинной плиткой этого завода и нашел ее, представь, в одной деревушке под Миланом – тоже в старом доме, который папе пришлось выкупить... Но плитка – позапрошлый век! – легла, как родная.

Леон шел и улыбался, подхватывал ее под локоть, если, пятась и глядя ему в лицо, она рисковала наткнуться на дерево или оступиться.

– Я это к тому, что ближе к лету... Мы могли бы... Ведь это полезно для голоса – теплый морской воздух?..

И он все улыбался, улыбался...

Потом они привычно свернули в знакомом направлении и, так же непринужденно болтая, в конце концов оказались на рю Обрио... А там уже совсем просто: не зайдешь ли выпить кофе, в такую холодину?

– Ну, от твоего кофе кто откажется!

...И часа через полтора самым естественным, почти супружеским порядком они очутились у Леона в постели, в его гостеприимном алькове, как бы раздвинувшем две стены, чтобы принять в свое лоно широченную тахту под Барышниним гобеленом. И чудно провели время (как всё же она много щебечет... И этот непрерывный репортаж в ухо – что именно она ощущает, «когда ты вот так проводишь... о, боже, да! да! это восхити-и-и-тельно...»).

Он лживыми *блядскими* пальцами гладил ее ухоженную спину *без шрама*. Под этим тончайшим слоем жирка, подумал с остервенением, запрятаны такие миллионы... И, конечно, ей надо бы замуж, пора уже, пора: через каких-нибудь лет пять она превратится в щедрую телом итальянскую матрону...

*Прекрати сравнивать двух женщин, гад, ты что – выбираешь материю на костюм?*

Утром они уютно, совсем по-супружески позавтракали (уж Николь-то отлично ориентировалась у него на кухне), после чего он проводил ее до метро. Нежно поцеловались на прощание; правда, он ускользнул от ответа на вопрос о следующей встрече... дорогая, созвонимся! (И Николь затуманилась: слишком хорошо знала, что поймать эту рыбку «на звонок» практически невозможно.)

Она еще напомнила что-то о пользе морского воздуха для его голосовых связок... и ты не представляешь, между прочим, какое симпатичное общество собирается там зимой... Где-где – в Портофино! Ну-у-у, ты уже забыл, я тебе вчера рассказывала? *Love in Portofino*... Можно прекрасно время провести: образованные люди, коллекционеры, умницы – всё наши соседи и всё *наши клиенты*... Кстати, и россияне есть, так что скучно тебе не будет...

– Ну, грандиозно!.. – нетерпеливый чмок в холодную щечку, перед тем как отправить девушку в жерло подземелья...

*Всё наши клиенты... и россияне есть (короткая глухая тема рока в басах у валторны).*

Вот и прекрасно, бодро говорил он себе, шагая по рю де Блан Манто в сторону дома.

Да, она щебечет и закатывает глаза, но она не задала тебе ни одного беспокойного вопроса. И если бы ты убил на ее глазах человека и стал бы запихивать труп в дымоход, она опять же не задала бы ни единого вопроса, наоборот – пособила бы, попутно восхищаясь твоим голосом. Вот и отлично! Вот все и стало на свои места! Да она просто прелесть, настоящая мечта такого говнюка, как ты! Вот возьми и женись на ней!

– И женюсь! Ей-богу, женюсь.

Так он твердил себе, подходя к воротам дома номер четыре по рю Обрио, пока не обнаружил, что запальчиво говорит все это Айе – ее лицу, ее прямому взгляду, упертому в сердцевину его губ. Ее хрупкому голубоватому затылку, доверчиво и послушно склоненному под бритвой в его руке. Ее мальчишеским лопаткам со шрамом, опасно ускользающим влево, ее упрямым грудкам-выскачкам, ее чудному чуткому телу, ее бездонному молчанию, и главное – ее разрывающим душу рукам.

Он говорил и говорил ей, обвиняя ее – в предательстве! Как она смела – повернуться и уйти! Как смела там, в аэропорту, не броситься к нему, не встряхнуть, не завопить, не залепить оплеуху!!! Да он ей просто безразличен, вот и все, она полагала дальше эсэмэски рассылать и рассказывать следующему *попутчику* что-нибудь вроде: «Один мой знакомый, певец, но *классный* парень...» Вот именно; она ведь сама сказала: «раз в году», она сказала...

Открыл калитку, стал подниматься по лестнице.

– Николь? – буркнул в отчаянии. – Да какая там мечта, господи: у нее руки

вялые и топорные... И эта патока влюбленного взгляда и этот язык, преследующий в твоём несчастном рту отзвуки драгоценного голоса, чуть ли не в плотку к тебе забира...

Отомкнул замок, кулаком долбанул дверь в квартиру, в прихожей уперся в зеркало и исподлобья – в собственные, темные от боли глаза:

– Придурок, уже признайся, что ты извелся! Скажи уже хоть самому себе, что ты – пропал, что ты ее потерял. Искать ее сейчас – это ветра в поле искать. Где она болтается? В Бангкоке? В Лондоне? В Алма-Ате? На острове четырех вождей, которым на коленках приносят дары в обмен на разрешение встать на якорь? Еще на какой-нибудь помойке?!

Он перемыл посуду, оставшуюся с вечера (вспомнил, как Владка всегда копит посуду по нескольку дней). Стирку запустил... Сварил себе кофе и встал у окна спальни с чашкой в руке. Маленький дворик будто осиротел – из-за дождя, из-за мокрых камней-голышей, по которым под легкий уклон бежали струйки, затекая под два деревянных вазона с грустными пальмами...

Сейчас хорошо оказаться в Бургундии у Филиппа, в его доме двенадцатого века, где стены – как в бункере и с улицы ни звука не проникает, где одно окно выходит на древнюю крепостную площадь с кафе, магазинами и рынком на одном пяточке, а другое окно – на поля, ржавые холмы с виноградниками, зелено-золотые леса с кабанами... Где от печки идет жар, а старая тетка Франсуаза лечит кашель теплым вином с корицей, и это напоминает причастие...



Если выпадала теплая осень, Леон с Филиппом дня два колесили по старым лесным дорогам, где встречались руины, оставшиеся со времен нашествия сарацин. Ночевали в палатке на лак дез Анж, озере Ангелов, варили суп в солдатском котелке из Филипповой коллекции армейской утвари времен Первой мировой. Болтали о чепухе, стреляли по мишеням из старого «кольта», распугивая кабанов, куниц и прочее зверье... Леон старательно «мазал», время от времени получая утешительные комплименты: «Старина, ты вполне прилично палишь!» (однажды только потряс Филиппа, по рассеянности навскидку выстрелив и убив пробежавшего зайца).

К вечеру над озером поднимался туман до самых облаков, и окрестности тонули в этом густом холодном вареве. Над головой медузами ползли голубые и желтые пятна – свет автомобильных фар на далеком шоссе отражался неизвестно в чем, но моторов не слышно было, лишь шорохи леса да плеск воды...

Там неподалеку от озера – деревушка Дило, где на въезде пасутся коровы, а на выезде, если двигаться к Сен-Флорентену, можно встретить косулю на опушке леса. По пастбищам шныряют лисы, а свои жилища устраивают в заброшенных крестьянских сараях. Ни почты нет, ни лавки, до ближайшей «цивилизации» – минут двадцать езды по довольно скверной дороге.

В теплый сине-зеленый, золотой осенний денек хорошо там проснуться пораньше, прихватить двустволку, корзину и отправиться в лес. По дороге непременно встретишь школьный автобус или соседа на тракторе – старого польского ветерана. Этот милый старик поприветствует тебя, обсудит урожай цикория. Если его старуха (маленькая, но монументальная бургундка) в этот

*момент соединяет ржавый двухколесный прицеп с трактором, то и она включится в разговор, поддерживая одной рукой тяжеленный прицеп. Так и будет стоять все время беседы. А узнав, что ты ждешь на ужин друга из Парижа, старик подарит тебе ногу косули, подстреленной утром, пока ты просыпался и пил кофе.*

*В конце концов ты бросишь у них двустолку и наберешь грибов на два дома. А вечером, к приезду Филиппа, замаринуешь косулью ногу в скисшем вине с чабрецом, нажаришь белых грибов с картошкой и луком, растопишь камин...*

*И аппетитные запахи кухни смешаются с дымом трубочного табака старины Филиппа... Но то – осенью...*

Кофе он допил.

Впереди расстилалась суббота – бескрайняя, плоская, городская; промозглая, как сама тоска. Тянула за собой такое же воскресенье.

Стоя у окна во двор, невидящим взглядом упершись в осточертелую кадку с пальмой, Леон медленно и с чувством, как поэтическую строку, продекламировал, роняя по одному слову:

– «Скончался. Желтухин. Третий. Тычыкы. Грустно. Тычыкы. Папа...»

Адрес отправителя (дурацкий адрес: «Экспериментальная база») цепко сидел в проклятой памяти.

В самолете он продумывал несколько версий своего появления в Алма-Ате.

Первая: я представитель питерского издательства... ммм... например, «Аничков мост», специализируемся на выпуске фотоальбомов. Несколько работ вашей дочери привлекли внимание нашего э-э-э... консультанта по проектам... безуспешно разыскиваем... и поскольку я случайно по делам оказался в ваших краях... не могли бы вы сообщить номер телефона вашей...

*А откуда ты мой адрес узнал? Обыскал ночью невинный рюкзачок моей глухой девочки?*

К черту! Версия вторая: я, знаете ли, был в Таиланде, оказался на тамошнем знаменитом *weekend market* и познакомился с вашей дочерью. Но вот незадача: она записала номер своего телефона на пачке сигарет, которую я случайно...

*Ах, случайно... А мой адресок-то у тебя, – снова – откуда? Обыскал ночью рюкзачок моей глухой девочки?*

Ну ладно... Вот самый пристойный, хотя и ужасно уязвимый вариант: столкнулись на полудиком острове, немыслимая встреча, Робинзон и Пятница, блокбастер! Я – это я, певец, *последний по времени Этингер*. В моей семье... чуть ли не четверть века услаждал своими трелями... короче, представьте: Одесса, Гражданская война, дружки-товарищи, головорезы Яков Михайлов и ваш, простите, дядя Коля Каблуков. Я впечатлен и потрясен: канарейки, Желтухин, «Стаканчики граненые»... Ваш адрес мне сообщила ваша дочь. Но вот номер ее телефона я потерял... Да, *потерял*, так бывает, к черту детали, а просто...

*...а просто, смилуйтесь, Илья Константинович, на колени встаю, как последний оперный мудака: дайте любую наводку, если знаете! Потому что я, как*

*выяснилось, подыхая без вашей глухой девочки!*

*То-то же... га-алу-у-убчик!*

Прихватил же ты в последнюю минуту смешную клетку-кружку для одинокого странствующего кенаря – *в подарок папаше...*

Прилетел он налегке – чего там, шмыг-шмыг на денек; с рюкзаком, с которым обычно ездил к Филиппу в Бургундию.

Самолет прибыл затемно, еще не рассвело, он быстро прошел через паспортный контроль, предъявив свой российский паспорт, и вышел в зал прилета... к неожиданной толпе.

Подавляющая часть «встречавших» оказалась лихими извозчиками – все смуглые, узкоглазые, нахальные, явно пригородные: в трениках с пузырями на коленях, в черных куртках «под кожу». На приезжих бросались с воплями: «Брат! Братишка! Такси нада? Такси едем?» – пытаюсь на ходу вырвать из твоих рук багаж: *типа – сервис...*

Он выбрал кого поприличнее – пожилого, с явным радикулитом в полусогнутой фигуре. Небрежно адрес буркнул, двумя словами пояснив, как ехать (посмотрел в Интернете). Не любил *за не тутошнего канать*. Сторговались, сели в старый помятый «фольксваген» двадцати лет от роду, поехали...

В потерянном свете редких фонарей мелькнули невнятные домики в деревьях по краям дороги, но после поворота ухнули куда-то во тьму, сменившись разбитым широким трактом без разметки и указателей; какая-то разбойная ширь, степь, безнадега... И едва возникла и окрепла уверенность, что в этой тьме тебя вовсе не в

город везут, а *завозят*, чтоб ограбить, зарезать и выкинуть из машины, как вновь последовал поворот, и в завязи рассвета – новая красивая дорога, фонари, опоясанные цветочными корзинами, текущие спины холмов, а впереди, прямо перед тобой, неожиданным взмывом – горы. Серо-синие, остропиковые, припорошенные снегом, недостижимые горы...

Красивая дорога (судя по карте, Восточная объездная), плавно влившись в проспект Аль-Фараби, ввела в город, и некоторое время машина ехала между еще притушенных, но великолепных зеркально-новеньких небоскребов, а горы оказались слева, и между тобой и горами практически ничего уже и не было, и дорога поднималась вверх, вверх и вверх... Как-то это называется, *она* говорила... «прилавки»? Во всяком случае, та самая Экспериментальная база уже не существующих апортовых садов явно находилась в предгорьях, в верхней части города. И они продолжали подниматься, уносясь к горам, обретавшим все более четкие силуэты на фоне заголубевшего неба.

На одном повороте внизу он углядел уходящую вниз роскошную березовую аллею, тоже знакомую по ее рассказам и рисуночкам на мокром песке. Вообще, странно было видеть, как пространство ее детства постепенно собиралось и терпеливо, хотя и довольно стремительно, разворачивалось перед его глазами.

Наконец остановились. Он расплатился, взял рюкзак и вышел.

Город лежал внизу, широко, вольно раскинувшись, неожиданно для Леона – царственный. Прекрасный город, сказал он себе. Прекрасный...

Улочка, где оставил его радикулитный водила, оказалась уютной и какой-то пригородной: старые телеграфные столбы, заросли сирени и богато

инструментированный собачий лай, так, что хотелось постучать дирижерской палочкой по какому-нибудь забору и крикнуть: «Внимание! Попрошу с первого такта после паузы!»

Справа громоздился во дворе новый *шикарный* особняк: замысловатые крыши, башенки, бронзовые флюгера.

Но ее домик...

Домик был какого-то забыто-станичного вида: беленый, с синими деревянными ставнями, и калитка не заперта, и никакого звонка – видимо, он на двери. А дверь на застекленную веранду тоже не заперта и даже приоткрыта. Ну что прикажешь делать: войти? – и что? Раннее утро, неудобно. Погулять?..

Нет: его уже тащило таким властным ветром... Не до приличий было, не до *версий*. Словно вот сейчас на сцену, и всё – всё равно, и всё – изумительно, всё плевать: сейчас решится. А вдруг она там, в двух шагах от тебя?

Как-нибудь уж слова найдутся, решил он.

Вдруг обнаружил розетку звонка, прибитую ниже человеческого роста. И как толкнуло: это отец *для нее* низко прибил, в ее детстве, да так и осталось. Она подбегала – ранец за плечами, коньки в мешочке, шапочка набекрень, давила пальцем на кнопку, но самого звонка *не слышала*. (Или слышала? или что-то как-то она все же слышала – *не только когда ее ладони свободно раздвигали твою грудь?*)

Он позвонил, подождал, опять позвонил, холодея при мысли, что его прилет сюда может оказаться вполне бесполезным, что ее отец не обязан сидеть дома в ожидании неизвестных посетителей. И уже по привычке прокручивал все варианты подобного фиаско, уже перебирал планы – как поступит в этом случае... Но тут за

стеклом веранды стал вырастать – как оперный Мефистофель из подпола на сцене – высокий, с залысинами, грузный мужчина. Руки – в одноразовых перчатках, и обе заняты. В одной – мешочек, в другой – пинцет. Отец, конечно, отец – с первого взгляда. Видимо, из подвала явился: она рассказывала, что *в подвале у папы целая птенческая лаборатория.*

– Простите, не сразу звонок услышал, – сказал хозяин и вопросительно умолк.

– Илья Константинович... – Леон поднялся на ступень крыльца, потом на вторую. – Я так волнуюсь и так долго объяснять, кто я, что проще сразу меня впустить.

– Так, пожалуйста, входите, – ответил тот, но не сразу, а два-три мгновения спустя, будто ему, как и его дочери, требовалось время, чтобы понять и, главное, принять информацию.

Повернулся и вошел в дом, Леон за ним, сразу окунувшись в плотный птичий воздух, пощелкивание, посвистывание, *картавые разговорчики*, что доносились отовсюду, обволакивая дом переливчатым коконом... Миновали веранду с развешанными по стене полынными вениками, коридор, дверь в кухню (*вот высокие пороги, на которых она любила сидеть в детстве, вот печка, рассеявшаяся обоюдокруглым брюхом разом на обе комнаты, все узнаю, узнаю, узнаю...*) и вошли в гостиную.

Леон остановился на пороге.

Вот это да! – восхитился мысленно. – Вот это птичий Вавилон, треличий-свирелистый, овсянистый воздушный пирог!

Во всех углах комнаты громоздились пирамиды канареечных клеток, а у глухой стены могучей резной волной застыло нечто величественное... из второго круга Дантова «Ада» – видимо, то, что старательно, с узористыми подробностями рисовала прутиком на мокром песке Айя: дубовая исповедальня из ташкентского костела, наследство дяди Коли Каблукова. В этой комнате, подумал Леон, наверное, десятилетиями ничего не меняется: круглый стол с «парадными» стульями; нечто вроде топчана; огромная пальма в кадке, лохматой башкой в потолок; умятое-размятое кресло с цветастой подушкой под поясицу и очень неплохое, явно старинное бюро, которое сильно бы понравилось Кнопке Лю.

Наверное, летом, подумал он, эти два просторных окна загружены листвой по самую макушку, в них и сейчас густая графика ветвей, и потому в комнате всегда горит люстра, а в углу над столом чудесно теплится высокий торшер с цветастым (таким же, как подушка в кресле) матерчатым балдахинном.

– Я, знаете, немного занят сейчас, – просто сказал хозяин. – Я у птенцов в подвале. Недавний приплод, рассаживаю по клеткам. Но если вы согласны подождать минут десять, то после мы бы могли...

– Конечно, конечно! – воскликнул Леон.

– ...позавтракать и выпить чаю. Я сам еще не удосужился.

И пошел из комнаты – странноватый, слегка заторможенный сутулый человек, так легко оставлявший в своем доме незнакомца. Но в дверях обернулся – рывком, пружинисто, всем телом, будто неожиданно вспомнил важное. Спросил:

– Моя дочь? С ней все в порядке?

Чем просто оглушил Леона.



– Илья Константинович... – пробормотал он. – Я полагаю... Я уверен, что в данный момент она...

*...В данный момент ты понятия не имеешь, где она обретаётся.*

– ...надеюсь, что она вполне благополучна.

*...Если можно назвать благополучной девушку с подобным шрамом на спине.*

– Я как раз привез вам от нее подарок, – заторопился Леон, – и привет.

Расстегнул и развязал рюкзак, выгреб со дна, из-под тощей стопки вещей, медную птичью мини-карету:

– Забавная, правда?

*А заодно привет от брата Яши.*

Илья Константинович молча разглядывал гостя, как бы вынуждая его держать на весу изящную кружевную вещицу.

– Нет, – наконец проговорил он. – Не забавная. Тут что-то не то. Вряд ли ей пришло бы в голову что-то мне передавать. И к канарейкам она довольно равнодушна. К тому же дня три назад я получил от нее записочку на телефон. И никакой клетки, никакого привета. И никакого вас... Я скоро вернусь, – спокойно заключил он. – У вас есть минут десять на коррекцию: кто вы и что вам нужно. А чай получите при любом раскладе.

...Вернулся он и правда довольно скоро, но не в столовую, а в кухню, где сначала бухтел-бухтел, пока не щелкнул, электрический чайник, потом звякали разные поверхности – фарфоровые, деревянные, металлические. Мягко и сытно ухнул в ведро влажный ком старой заварки. Затем отвинчивались крышечки на

банках, с шелестом вываливались из них конфеты. Наконец с подносом в руках, высоко переступив через порог, явился хозяин.

Леон уже сидел за столом, виноватый и озадаченный.

– Вам ложка парадная, гостевая, – расставляя приборы, заметил хозяин. – Подарок Айе «на зубок». Друг семьи подарил... Ну, не важно. Пожалуйста: вот хлеб, масло, сыр... Если привыкли – молоко. Это по-казахски. Так, с чего начнем? Я черный заварил, вы не против? С утра дает энергию...

– Илья Константинович, – проговорил Леон, пытаясь взглядом поймать вежливо-уклончивый взгляд хозяина. – Простите меня за невинное вранье. Клетку я привез вам в подарок. Клетка хорошая, с парижской барахолки, не отказывайтесь. Может, в ней какой-нибудь очередной Желтухин совершит путешествие?

Илья поднял голову:

– Позвольте, а откуда...

У него, у хозяина, были хорошие глаза – темнее, чем у Айи, иронично-вопросительные, в мягких подушках тяжелых век.

– И поскольку вы не обязаны верить на слово такому подозрительному лгуну, для начала продемонстрирую наглядно, кто я. Понимаете, до известной степени я тоже... кенарь. Не верите?

Он откинулся к спинке стула, вдохнул...

Этот фокус везде срабатывал безукоризненно. Но то, что произошло в доме после визитной заливистой трели гостя, обескуражило его самого: десятки крошечных певчих глоток после ошеломленной паузы подхватили запев и засвиристели, засвистели, раскатали свои бубенчики по множеству серебряных

дорожек...

– Ах, бож ты мой! – воскликнул Илья Константинович, всплеснув тяжелыми большими ладонями. – Диверсия, караул! Вы певец, что ли?!

Леон кивнул, глядя на него смеющимися глазами.

– А голос-то, голос... прямо и не знаю: что это – сопрано? Откуда такие птичьи трели? Это и не тенор, а...

– ...Контратенор, – подсказал Леон. – У меня контр атенор. Очень высокий голос от рождения. Такой вот нонсенс природы. Мое имя – Леон Этингер.

Он достал из нагрудного кармана куртки твердую картонную обложку, точно собирался предъявить визитную карточку. Но извлек из нее старую коричневатую фотографию с обломанными зубчиками по краям.

– Вам эта карточка знакома?

Эська на фото (высокая шейка, черная бархотка, кружева валансьен, победная юная прелесть) по-прежнему тянулась губами к кенарю на жердочке.

Илья как глянул, так и ахнул. Помолчал, прослезился. Отер большим пальцем оба глаза и взволнованно спросил:

– Вы из семьи Желтухина Первого? Леон опять молча кивнул.

Ну и дальше покатилося...

И чай остыл, и снова был заварен, пока «известная одесская балерина» превращалась в Эську, в Барышню и исполняла «Полонез» Огинского – тот самый, над которым до конца своих дней сморкался и плакал Зверолов; и прекрасный и плодородный Стешин дух слетал на скатерть, чтоб через Леона свидетельствовать о героической гибели Первого Желтухина (значит, не в бозе почил, тихо заметил

Илья, – погиб смертью храбрых).

Ну что ж, вот, значит, и познакомились...

А комната была прекрасная. Соразмерно-просторная, приветливая, и дубовая громада исповедальни не портила ее, а как бы освящала и делала необыкновенной, значительной. За окном пылало и плыло облако огненной скумпии, а в комнате ей отзывалась могучая пальма, выращенная когда-то из косточки. Где-то там, неподалеку, но недостижимо восходили, расстилались, длились ныне вырубленные апортовые сады, куда на лыжах Айя бегала встречать рассвет. Где-то там, на горизонте, но волнующе близко леденисто млели в утреннем солнце снежные пики гор, и совсем рядом бежал проспект, на котором из армейского грузовика ей в грудь прилетело большое яблоко... Вот, значит, где она выросла.

– Однажды в конце осени, – рассказывала она, – за год до бабушкиной смерти, по саду прошел трактор, повалил все яблони: опрокидывал их ударом в грудь. Но их не прикончили, не выкорчевали. И весной эти поваленные яблони зацвели. И лежали рядами, цветущие, как молодые убранные покойницы, – их потом так и вывозили оттуда, в цветах. Такое сладостное благоухание было разлито в воздухе – невероятное, в последний раз! И так покорно и прекрасно дрожали-колыхались белорозовые ветви, полные цветов... Мы с папой стояли и смотрели им вслед, держась за руки. Вот это было страшно – эта похоронная процессия... Теперь на их месте – микрорайон Алмагуль, – добавила она. – В смысле, «Цветок яблони».

– Да. Но все-таки: при чем тут моя дочь? – спросил Илья Константинович точно как Айя: неожиданно и прямо.

И разом ушли легкость и артистизм, умение вывинтиться из любой щекотливой закрути. Ушли слова. Леон вдруг обнаружил, что ничего не способен сказать сейчас этому человеку, ее отцу, кроме правды.

– Дело в том... – проговорил он, с трудом выуживая слова из внезапно пересохшей гортани, – дело в том, что мы повстречались – там, на острове. Знаете, как судьба... А потом я ее потерял.

– Это бывает, – спокойно заметил Илья Константинович. – Она обычно сама всех с удовольствием теряет. Не хочу вас огорчать, но вот уж кто – не канарейка. Вот кто – птица свободная.

– Нет! – горячо возразил Леон. – Тут точно я виноват, я один. А ваш адрес – это вообще единственное, что от нее осталось. Ну, я и прилетел сюда, к вам, какой-то... оголтелый. И на один день всего: у меня самолет назад через пять часов. Просить прилетел: дайте мне, ради бога, ее телефон. Верните мне вашу милую дочь.

И тут произошло нечто, Леоном не предвиденное. Этот по всем признакам мягкий, сочувственный человек (Айя говорила: «Папа вообще никому не может отказать, он потом мучается») твердо и спокойно возразил:

– Она не милая. Айя – трудная, своевольная и резкая. И если не сочла нужным оставить вам номер своего телефона, значит, так тому и быть. Извините, я давным-давно не правлю поступков своей дочери.

Леон отставил чашку, поднялся из-за стола.

*Я к вам из Парижа летел! Я вам... я же все объяснил... я вас умолял!!!* – все это он вопил, не переставая, – само собой, молча, внутри. Вслух сказал:

– Должно быть, вы правы, Илья Константинович... Ну что ж. Благодарю за чай. Подобрал свой рюкзак и пошел к дверям.

– Постойте, – окликнул Илья. Лицо у него было спокойным, доброжелательным, будто они погоду сейчас обсуждали. – У вас же еще времени навалом. Не хотите моих птенцов посмотреть? А потом я вам такси вызову.

Леон даже растерялся, усмехнулся мысленно: не предложит ли он мне еще – в шахматишки, после такой затрепщины? Все равно самолет, мол, не скоро.

– Вам неинтересно? – спросил Илья.

– Ну почему же... – выдавил Леон. И пожал плечами. – Отчего же...

Они спустились в подвал – замечательно оборудованную и освещенную лабораторию, царство клеток и клеточек, мешков и мешочков, каких-то коробок с кормами... Тут же в углу стоял офисный стол с компьютером, принтером и факсом. И кругом лампы, радиаторы, встроенная вентиляция – солидное хозяйство. Минут пятнадцать хозяин все это ему демонстрировал со сдержанной гордостью.

*Бред какой-то! Да он не понимает или не хочет понять...*

– В год развожу не более тридцати птенцов, знаете ли, – говорил Илья. – Каждый «студент» требует индивидуального подхода. Можно, конечно, иначе к этому отнестись. Мой знакомый канаровод во Франции – тот занимается цветными породами – разводит птиц сотнями! У него все это производство в отдельном доме, несколько тысяч птиц. И работников несколько, и уход-кормление конвейерно-поточные. Это не по мне...

*Бред, бред, похмельный сон!.. Неужели так и уеду – ни намека, ни зацепки, как фрайер какой-нибудь?*

– Да и вообще, с певчими породами все гораздо сложнее: довести до конкурсного уровня «маэстро» очень трудно, дай бог, если получится в год – одного. Два – это уже редкость, большая удача. Потому у меня самцовые клетки – видите, в закрытых шкафах. В этом необходимость сохранения песни-голоса... Шкаф – это чехол для инструмента. Чтобы не портился.

– Так что же кенарь – всю жизнь в шкафу, в темноте должен сидеть? – неприятно удивился Леон. Его даже передернуло: надо же, какая жестокость!

Илья Константинович неумолимым тоном ответил:

– Пока нужно поддерживать конкурсные, то есть учительские, кондиции – *будет сидеть*... Некоторые со временем зарабатывают «пенсию», – добавил он. – Мой выдающийся Желтухин Третий в конце жизни несколько лет жил свободно, на воле. Пел в свое удовольствие. Я, впрочем, занимаюсь выведением таких певцов, которые безо всякого притемнения могли бы петь. Но... традиции *лучших песен* требуют жесткого обучения.

*А ведь верно: традиции лучших песен требуют жесткого обучения.*

Вначале Леон еще пытался подавать голос, что-то спрашивать. В другое время и в другом месте, а главное, с *другим объектом* он непременно придумал бы что-то дельное. Да и ничего особенно придумывать не нужно, все просто: где тут у вас туалет, Илья Константинович? А там, наверху, возле кухни. Так я поднимусь на минутку...

И вот тебе, ради бога: разыскать хозяйский мобильник труда не составит –

обычно он на виду. А там уж выудить ее эсэмэски... простейший финт.

Почему же проделать такую элементарную штуку здесь, *с ее отцом* ему казалось невыносимым?

Канарейки, их «отучение», их голосовые кондиции ему, честно говоря, порядком надоели. Он поинтересовался, сколько стоит хороший певец, да как их провозить (в сигаретных пачках, в мешочках на теле, усыпляя невинную птичку), да как наказывается контрабанда певчих птиц...

Выслушал долгие рассуждения о критериях исполнительского мастерства, ети его так и этак!

– Вот вы – профессиональный певец, – говорил Илья Константинович увлеченно, – наверняка участник многих конкурсов. Так?

– Да, – сдержанно подтвердил Леон. – И участник, и лауреат... «Стоимость» артиста на нашем рынке должна быть подтверждена каким-то количеством международных дипломов.

– Вот я и говорю, – подхватил тот. – На конкурсах, присуждая премии «человеко-певцам», жюри исходит из каких-то определенных критериев. В нашем деле, наисложнейшем...

*Наисложнейшем. Ишь ты. И ни слова о ней, о том, что я прилетел, как пылкий птенец, на несколько часов в этот город и чуть ли не на коленях тут перед ним!!!*

*Вот сволочь бессердечная!*

И уныло себя поправил: не сволочь, а замечательный отец. Ты-то сам из-за своей, будь она у тебя, дочери, не то что на порог не пустил бы или там завтраком кормить и канарейками душу вынимать, – ты, милый мой, палил бы из двух стволов



в любого *соискателя* прямо с порога. Уж признайся.

Надо было уходить. Но он все не решался попросить хозяина оборвать страстные канареечные чаяния и вызвать такси. Впрочем, минут пятнадцать-двадцать в его распоряжении еще было.

– А чем вы их кормите – есть какие-то особые корма или так – пшено-овес? – спросил Леон *с увлеченным видом*. Он всегда предпочитал разговор с любым собеседником завершать своим активным участием. Впрочем, Илья Константинович настолько царил и парил в этом подвале, что здесь-то все эти фокусы были без надобности.

– Ну, это огромная тема, знаете. Что называется – на пять лекций и десять конференций. Кстати, подобные конференции в Интернете вполне проходят. В целом так: если есть хорошая сурепка и свежее канареечное семя, то можно не заморачиваться: все необходимое птице есть в этих двух видах семян. А остальное: чуток зелени, фруктов, минералки, творога... ну, там, орехи, мед... Некоторые наши ветераны, люди упрямые, моют в горячей воде любой зерновой корм, потом сушат его в матерчатых мешочках на батареях...

Он замешкался, будто вспомнил нечто поучительное.

– Но... между прочим, вот *остросюжетная* специфическая деталь – вам-то, при вашей профессии, *безопасная*: в кормах для канареек случаются такие добавки, из-за которых у людей может возникнуть страшная аллергия. Чуть ли не смертельная.

– Вот как? – Леон изобразил вежливое удивление. Ему уже надо было спешить.

– Не у всех. Только у тех, кто имеет дело с ураном и всеми его производными.

– Как?!

Леон очнулся, будто в грудь толкнули, встряхнули, приподняли и твердо поставили на ноги.

– Как вы сказали, Илья Константинович?

Тот развел руками:

– Я и сам понятия не имел, пока совсем недавно не пришлось наблюдать – вот тут, прямо на том месте, где вы стоите, – страшнейший приступ у одного моего знакомого. Он прямо на глазах у меня весь заплыл, стал розовато-желтым... потекли из глаз слезы, изо рта – слюна... Я кричу: «Андрей! Андрей! Что с тобой?..» А он и ответить не может... А мужчина крупный, я его по лестнице сам и не выволоку... Ну, я – наверх, к телефону, «Скорую» вызывать. И представьте, так ошалел от страха, что и фамилию его – между прочим, знакомую с молодости! – вспомнить сразу не могу. А они ведь фамилию первым делом спрашивают. У меня в руках трубка ходуном – как представляю, что он тут вот, внизу у меня кончается... А в памяти: «Крошин!.. нет, Крушин!.. нет, Кошевич!» А фамилия-то его – Кру-ше-вич... Андрей Крушевич. Чуть не полжизни у нас в Семипалатинске проработал. С молодости его знаю, с молодых компаний, но он всегда для меня был – Андрей, и все. Ну, ничего, приехали, откачали. Но он полежал-таки в больнице с неделю, что ли...

– Вот как... хм... надо же... – помолчав, произнес Леон. – Удивительно. Прямо удивительно!

Прокашлялся, наклонился и развязал рюкзак, словно ему там что-то срочно понадобилось... опять затянул горловину, выпрямился... Он был ошеломлен, даже

подавлен тем же неотвязным ощущением подстроенного сюжета. Как на острове Джум и потом в аэропорту, когда на экране ноутбука сменяли друг друга фотографии; и еще когда Кнопка Лю застыл и замельтешил при виде фотографии Казаха. Все тот же вопль протестующего нутра: *этого просто не может быть! Так не бывает!*

– Кто бы подумал, – ровным голосом заметил он. – Интересный факт...

– Просто я удивился, – добавил Илья. – Андрей ведь к тому времени давно здесь не работал, Семипалатинск закрыли, дела давно минувших дней. Неужто работа с ураном и всякими там стронциями-цезиями спустя столько лет дала о себе знать? Но, возможно, он продолжает всем этим заниматься за границей, все же – профессия... Сюда приехал для встречи с другом молодости, с которым учился в Москве. А тот оказался нашим... родственником – в жизни все так бывает переплетено! И... почему-то Андрей решил, что тот остановился у меня. Но поскольку я этого самого немецкого родственника терпеть не могу... – Илья смущенно усмехнулся. – Не могу ему простить... Впрочем, неважно, вам это все ни к чему. Извините, что заморочил голову. Пойдемте, уже вызову такси. Пора.

Они поднялись из подвала, Илья Константинович стал звонить. Медная, мягко сияющая в луче солнца круглая клетка-кружка с парижской барахолки по-прежнему стояла на столе среди чашек, масленки и сахарницы.

*Значит, аллергия, чуть ли не смертельная... Простенький тест матери-природы. И доказывать ничего не надо: из глаз слезы, изо рта слюна – виновен!*

*Итак, решайся. Быстро.*

– Илья Константинович... А что, если, очарованный вашими рассказами, я взял бы да и купил у вас себе «подголосок»? Какого-нибудь бойкого молодого кенаря. А? Ей-богу, посмотрел сейчас, послушал вас – и прямо вдохновился. Вы умеете заманивать в свое царство! Назвал бы его в память о семейной истории Желтухиным... каким там? Четвертым.

– Пятым! – воскликнул Илья Константинович. – Четвертый – вон, в исповедальне у меня сидит!

– Ну, Пятым. Говорите быстренько – сколько запросите. А клетка – пусть будет эта, я ее потом вам переправлю.

– Постойте... ну и напор!.. – Илья растерянно развел руками. – Вы меня огорошили. И сейчас такси приедет, тут их станция недалеко. Они ждать не любят. А я ведь должен все объяснить, научить... дело непростое. Целая лекция!

– Пустяки, – отозвался Леон. – Говорите – сколько? Сто? Двести? Пятьсот евро?

– Да бог с вами, я подарю... в честь знакомства. В честь героя и храбреца Желтухина Первого. Постойте здесь, у меня есть трое перспективных, по его линии, выберу лучшего, *с семейной песенкой*. Подождите!

Он схватил клетку, выбежал из комнаты, крикнув с веранды:

– Если будут сигналить – придержите, скажите, что добавите пару монет!

Леон остался стоять посреди комнаты. Вот и удобная минута. Где там мобильник уважаемого Ильи Константиновича? А птичку можно выпустить полетать в аэропорту. Кстати, вовсе не факт, что здешняя таможня их выпускает, а французская – впускает...

Айя, Айя... куда ж ты меня ведешь! Или, напротив, строго не пускаешь. И

почему все так намертво с тобой связано? И почему в твоём доме я не могу, не умею действовать, как в любом другом месте с лёгкостью бы действовал.

Он быстро достал из портмоне три сотенные бумажки, подложил их под телефонный аппарат: пригодятся, при таком-то затратном хозяйстве.

С улицы просигналила машина, и, выйдя на веранду, Леон мгновенно «включил интонацию», простецки осадив голос:

– Друг! Погоди чуток, а?

– Чего там годить! У меня вызова один за другим!

– Вызова коллегам передай, не пожалеешь, – отозвался Леон. – В накладе не останешься.

Снизу поднялся запыхавшийся Илья Константинович: в одной руке медная походная клетка с молодым кенарьком – желтый прыгучий вымпел за красноватой медью витых прутьев; в пригоршне другой руки – какие-то пакеты.

– Вот, – сказал, преодолевая одышку. – Авантюра, конечно же, безумие! Смотрите, не погубите птицу, сразу же, сегодня... нет, уже завтра, к сожалению, – обратитесь в общество канароводов. Вам все объяснят. А пока коротенько...

И уже на ходу, по дороге к машине, давая краткие указания и засовывая в карманы куртки Леона мешочки с кормом:

– Это поилка, в красной коробочке, пинцет – на первое время. Но главное, идите к профессионалам! Не пускайте на самотек!

Леон принял клетку, в которой глазками-бусинами бойко постреливал по сторонам Желтухин Пятый, пожал теплую, мягкую большую ладонь, исполненную какой-то бесконечной, уютной птичьей ласки. И, оглянувшись на суровый профиль

водителя в окне машины, отрывисто проговорил:

– Илья Константинович, напоследок... Я об одном прошу. Только напишите ей: Париж, рю Обрио, четыре. Париж. Обрио. Четыре. Запомните? Ведь это можно?

– Это – можно, – засмеялся тот. – Это, конечно, можно...

И когда Леон уже сидел в такси, бросив под ноги рюкзак и придерживая на колене клетку с кенарем, Илья поднял над головой сцепленные замком руки и, потрясая ими, несколько раз крикнул:

– Идите к профессионалам! – страстным, грознозаклинающим тоном, каким проповедник произносит: «Покайтесь!»

### 3

На сей раз все было просто: никаких предварительных звонков, никаких пируэтов вокруг да около, никакого порученца Джерри. Ни свет ни заря явились – парочка гусей – пролетом из Женевы.

В половине шестого утра властно и басовито гуднул дверной звонок. Леон вскочил и двумя легкими прыжками оказался у двери. Он догадывался, кто там, – Шаули, вот кому никогда не требовались консьержи, чтобы проникнуть в дом: любые калитки, любые ворота и двери, любые замки сами собой открывались при его приближении. И все же, прикинув к глазку, Леон два-три мгновения изучал обоих, словно кто-то мог так искусно их загримировать, что он обознался бы. Стоят суровые мужчины в плотных серых плащах, лица – как обычно в дверных глазках –

кирпичнощечкие да лопатолобые; глаза-пуговицы и грудь колесом.

*Значит, всполохнулись. Значит, всерьез пошло. Значит, двое на одного.*

Вздохнул и открыл дверь, молча впуская гостей – заспанный, с отеками со сна веками.

– Надень трусы, мальчик, – сказал Шаули.

– Иди на фиг, – буркнул Леон. Повернулся и пошлепал в душ.

Минуты три сквозь шум воды ничего не было слышно, потом в приоткрытую дверь ванной внедрилась густобровая круглая башка, на щеках – галантные ямочки:

– Кенарь, в какой банке кофе?

– Господи, ну вы можете пять минут потерпеть, я уже выхожу!

– Ладно, не груби, – добродушно отозвался Шаули. – Люди с поезда.

Леон выключил воду и в наступившей тишине услышал глуховатый голос Натана в кухне:

– Не заводи его, у него сегодня длинный рабочий день...

– У меня тоже, – насмешливо ответил Шаули.

Вот интересно, ведь сказано *просто так* – откуда же всегдашнее ощущение, что Натан досконально осведомлен во всем, и даже в его, Леона, расписании?! У него и правда на одиннадцать назначена деловая встреча на RFI, потом репетиция с Робертом, потом щекотливые переговоры с типами из Кембриджа, где в скором времени он должен петь в часовне Кингсколледжа небольшую, но довольно сложную программу, а вечером – участие в благотворительном концерте. (На редкость бестолковые организаторы, Фонд инвалидов детства: дважды меняли площадку, трижды перекраивали программу, и уже хочется послать их подальше,

но... пресса, телевидение, общественный резонанс... больные дети, наконец.)

В последние дни он печенкой чуял, что из *конторы* могут нагрянуть в любую минуту, но не думал, что это произойдет столь молниеносно. Видать, с его возвращения из Таиланда на полную катушку запущены были все мощности; вполне возможно, у них накопилось достаточно материала, чтобы сопоставить факты, сделать выводы и планировать операцию. Хотя существует и крошечное допущение, что заехали *они* просто по пути из Женевы, где на судьбоносных переговорах незримо сопровождали упорно движущийся к цели ядерный обоз фанатичных иранцев.

Жаль, что сегодня навалились, думал он, ожесточенно растираясь полотенцем. Именно сегодня хотелось бы выспаться. В такие пасмурные дни голос просыпался не сразу, капризничал, увязал в вате, норовил просочиться в песок...

Следующие полчаса он варил гостям кофе, а потом они по очереди принимали душ – в отель раньше двенадцати не сунешься. Натан плохо выглядел: серое усталое лицо, одышка и какое-то замедленное безразличие в жестах. У Леона сердце сжалось нехорошим предчувствием, и он подумал: ну почему, почему бы тебе не отвалить из конторы? Сколько лет Магда упрасивает...

Пока Шаули плескался и фыркал в роскошной – не по чину и не по квартирке – ванной комнате Леона (который и сам именовал ее «залой парадных приемов»), они поговорили о Магде: как там она и что новенького в ее оранжерее. Велела передать, что скучает, сдержанно добавил Натан, мечтает опять зазвать тебя на Санторини –



помнишь, как пел нам тогда, на террасе?

*Нет уж, спасибо, наплавался я в ваших семейных гротах...*

– Конечно, когда-нибудь приеду, – покладисто отозвался он.

*Кто его на днях зазывал в морские дали? Николь, чистая душа. К черту! К черту все на свете моря...*

– А угадай, кто у нее опять на плече? Правильно, опять Буся, хотя (ты не поверишь) – существо совсем иного характера: требовательная, капризная, нет той ангельской кротости, что в незабвенной первой Бусе. Помнишь? Но тоже предана хозяйке, как сторожевой пес. Я ей говорю: Магда, в следующей жизни ты должна стать дрессировщицей крыс, – продолжал Натан, прихлебывая кофе. Вторая чашка с утра – не слишком ли? Но Леон промолчал.

Он принес из спальни давно приготовленный для Магды подарочек: футляр для очков – конечно же, не магазинный, а *этакий винтажный*: страусова кожа, золотое тиснение с обеих сторон. Поверху – изящные продолговатые лилии, на исподе – силуэт мчащейся кареты.

– Тонкая работа, – проговорил Натан, задумчиво рассматривая вещицу. – Как всегда, твои подарки тютелька в тютельку: на прошлой неделе отвалилась крышка ее старого очешника. Помнишь, раньше Магда говорила, что ты колдун, а сейчас даже привыкла. Не хотела покупать новый, представляешь? Как чувствовала. – И, помолчав: – А матери ничего такого не передашь?

– Бог с тобой, – усмехнулся Леон. – Она либо выкинет «это старье, в которое сморкались все сифилитики Парижа», либо подарит арабчонку, который вместо меня теперь подъезды моет. Нет, – он легко махнул рукой. – Владке я просто

перечисляю деньги – на счет Аврама, а он уже покупает все, что нужно, от трусов до зубной пасты.

И Натан в очередной раз вспомнил давние слова жены: «Этот мальчик – сирота...»

Леон щепотью приподнял с клетки кухонное полотенце, и сразу же заворочался и стал прохаживаться низами, то и дело меняя тональность и силу звука, «балуюсь» и высверкивая голосом золотники тонких звучков, юный Желтухин Пятый. Он уже дней пять обживал новую, достаточно просторную для одинокого жильца клетку. Леон еще не привык к тому, что квартира прошита-простегана блескучими стежками птичьего голоса, раздражался и не понимал, зачем привез это *чудо в перьях*, поддавшись странному порыву...

– А! У тебя новый жилец! – удивился Натан, а Шаули, вернувшись из душа, так обрадовался птичке, что стал насвистывать, пульсируя свежевыбритыми втянутыми щеками, выдавая ямочки и являя собой сладкий образ *субботнего папули*.

– Между прочим, в Иране урановую руду добывают в городе под названием Кенар, – сказал он, отсвистав и наигравшись. – Это на севере, в провинции Мазендеран, в Бабольсере.

– Между прочим, раньше в шахты спускались, прихватив канарейку в клетке, – добавил Натан. – Они же чувствительны к метану...

На это Шаули отозвался известной байкой о *фюрере* и о его любимой канарейке, чью кончину тот оплакивал горючими слезами.

– То была порода «бельгийская горбатая», – неожиданно подтвердил Натан. –

Если не ошибаюсь, горб создавался так: жердочку, где сидела птичка, подвешивали слишком высоко, и со временем у канарейки вырабатывался такой изгиб спины и шеи, который придавал песне особенный тремор. Эту породу выводили бельгийские евреи. После войны она сошла на нет – в отсутствие заводчиков.

После этой реплики все трое в чинном молчании, нарушаемом замечаниями о погоде в Женеве, о толкотне в парижском метро и о репертуаре «Опера Бастий» на ближайший месяц, позавтракали гренками с сыром и сардинами из банки и выпили еще по чашке кофе...

– А вот сейчас – пройтись по утреннему воздуху, – сказал Натан, грузно поднимаясь, хотя после бессонной ночи в поезде ему следовало бы отлежаться часа два – как говорил Кнопка Лю, *за пьечкой*.

Но они поднялись, оделись и так же чинно спустились по лестнице в холл, продефилировав перед глазами удивленной Исадоры:

– Бонжур, месье Леон! Я не знала, что у вас гости.

– Да, родственники из Одессы...

Оба церемонно поклонились (учтивость провинциалов): *бонжур, мадам... бонжур, мадам...*

Снаружи дул довольно противный ветер. Невидимый регулировщик в пухлом ватиновом небе то и дело разворачивал вспять колонны несущихся облаков; те сталкивались, громоздились друг на друга, расползались, и тогда в случайную прореху выпадало еще не солнце, но сноп лимонного утреннего света.

Выйдя из дома, они свернули на рю Сен-Круа де ля Бретонри, а затем на рю дез

Аршив, по которой неспешно двинулись в сторону Сены. Натан прекрасно знал Париж. Когда-то, в молодости, прожил здесь года три, отвечая за безопасность израильских миссий в Европе.

Он грузно шагал рядом с Леоном (Шаули слегка отставал – не потому, что тротуар был слишком узок, просто Шаули заменял рыжего Рувку, который *по делам* еще оставался в Женеве) и негромко отвечал на расспросы Леона о «женевской урановой тусовке». Америка пойдет на все, чтобы не сталкиваться с Ираном, говорил Натан, и не потому, что американцы наивны или недалёковидны. Просто грядет мощный исторический сдвиг, который мир за всей истерикой с Ираном не хочет замечать, а может, и вправду не замечает. Америка уходит с Ближнего Востока. Америке надоели войны; она воевала во Вьетнаме, потом в Корее, потом в Ираке, потом – дольше всех стран – воевала в Афганистане. Ну и хватит. Они пока этого не артикулируют, добавил он. Но уже действуют...

Он пожал плечами, и снова в этом жесте просквозило то же: усталость и едва ли не равнодушие.

Еще лет пять – и Америка перестанет нуждаться в арабской нефти, отрывисто говорил Натан. Вот они и хотят замириться с Ираном; не потому, что боятся его бомбы – чушь! – и не потому, что стараются ради Саудии или Израиля. Ради нас они никогда не старались и стараться не будут. Нет, Америка аккуратно обстригает последние ниточки, последние связи, а там – повернуться спиной, и закрыть дверь, и оставить вонючий котел Ближнего Востока его безумцам: пусть варят там свое дерьмо, миллионы своих трупов. Все они – Америка с Канадой, Латинская Америка и тем более дряхлая Европа, замученная собственными мусульманами, все они –

*бывшие игроки*, все уходят с политической сцены. Остаются Иран, пожираемый амбициями, со своими мечтами стать хозяином на Ближнем Востоке, Китай и Россия. А мы... Мы остаемся один на один с этой безбрежной тьмой, вот и вся правда. Вернее, не вся...

Он вздохнул и поднял воротник плаща.

– Третья мировая война... кто только не расписывал ее сценарий! Но проходить она будет не между западным и третьим миром, а внутри третьего мира, между его странами, анклавами, окрестностями, дворами и подворотнями, начиненными оружием по самые яйца. Нас ждет бесконечная и безысходная бойня, которая уже в этом столетии просто снесет западный мир – попутно, по ходу действия, как сносит хижину какой-нибудь ураган «Катрина». Так вот жирная мамка во сне задавливает младенца. Они задавят этот мир, как котенка, понимаешь? Со всеми его соборами, операми-тенорами, бахами-шубертами, леонардами и сезаннами...

– Ты... очень мрачен сегодня, – заметил Леон.

– Смотри, как стремительно меняются времена, – продолжал Натан, вроде и не слыша его слов. – Это даже завораживает: Саудовская Аравия покупает бомбу у Пакистана. Атомные бомбы уже *покупают*. Завтра какой-нибудь миллиардер сможет сам купить бомбу у Пакистана. Или у Северной Кореи, которая таки нуждается в деньгах...

Они миновали Отель-де-Вилль, здание мэрии с целым батальоном статуй знаменитых граждан на фасаде, среди которых в мраморном покое стоял незадачливый Юг Обрио, и дошли до набережной Сены.

– Если направо, а потом по мосту д'Арколь на остров Ситэ и там мимо Нотр-

Дама, окажемся у «Shakespeare and Company». Леон, знаешь эту букинистическую лавку?

– Еще бы, – отозвался тот. – Сколько денег там оставлено! Нет, пошли налево, по рю Лобо, там с моста Турнель отличный вид и народу меньше.

...С моста Турнель действительно открывался чудесный вид на оба острова – Сен-Луи и Ситэ с Нотр-Дамом, чьи каменные ребра напоминают полусложенные крылья птеродактиля.

– Потрясающе, а, Шаули? – не оглядываясь, меланхолично заметил Натан. – Вот этот памятник святой Женевьеве, обрати внимание... Знаешь, кто его автор? Ландовский – тот, кто делал статую Христа в Рио.

*Парси* промычал сзади что-то неразборчивое. Все трое стояли, не начиная разговора, облокотившись на парапет моста и глядя вниз, где мутные бутылочные воды несли барашковую бежевую гривку мелкой волны.

– Насчет того мутного тайца, – наконец проговорил Натан. – Как там его звали... Тассна? Ты оказался прав. Наша ошибка... Бедняга не дотанцевал на своей дискотеке, случайно свалился в канал... Жаль. Но это бывает, когда танцуют в обе стороны... Так что сейчас мы проверяем все его сведения, особенно насчет Крушевича – то, что удалось из него вытянуть... перед этим неудачным падением.

*На миг перед глазами Леона возникла фигура Тассны, за которым он так долго шел по улицам и переулкам Бангкока, его походка профессионального танцора, стремительная и расслабленная, ритмичное движение локтей, прищелкивание пальцев... А ведь как искренне тот прослезился, вспомнив о старике: «Цуцик! Суч-*

*потрох!!!» «Одно не исключает другого», – любил повторять Иммануэль... Одно не исключает другого? Гендель в часовне Кингс-колледжа не исключает мертвого тайца в грязных водах канала.*

– И все же, откуда вообще взялись у Иммануэля эти двое? – помолчав, спросил Леон.

– Слушай, кто сейчас вспомнит, столько лет прошло. Ни Мири, ни Алекс ни черта не в состоянии сказать. Скорее всего, знакомые порекомендовали. Знаешь, как бывает: старики умирают, хороших сиделок передают из дома в дом... Эти два брата будто из-под земли выскочили, и в самый нужный момент, когда Иммануэля парализовало.

– И куда же делся второй *брат*? – спросил Леон. – Винай? Кстати, они были очень разными, эти *братья*, и второй довольно часто отлучался до дому.

– А почему ты так о нем волнуешься? – насторожился Натан. – Тот *танцор*, похоже, и вправду ничего конкретного не знал. Возможно, *интересуясь*, мы недостаточно усердствовали. Но – сам понимаешь: мы не дома.

Леон пожал плечами, промолчал... В данный момент он не смог бы объяснить, почему исчезнувший Винай так часто всплывает в его мыслях. Ведь пресловутая интуиция музыкального импровизатора – не причина?

А главное, меньше всего ему сейчас хотелось приближаться к острову Джум.

– Ну ладно. – Натан повернулся спиной к прекрасному виду и локтями оперся о парапет.

– Не знаю, стоит ли говорить, до какой степени мы тебе благодарны, – пробурчал он. – Ты невероятно нам помог, просто – как дверь открыл, так что мы

уже могли сунуться к *нашим друзьям* в Берлине и Лондоне. Не бог весть что, но и там, и тут какие-то свои человечки имеются: глянуть в картотеки, вытянуть старые рапорты двадцатилетней давности, показания обвиняемых или свидетелей на процессах. Ну, и свои силы задействованы, само собой. Сегодня картина несколько прояснилась. Хочешь подробности, кто он – твоя добыча, твой Казах?

Еще бы, мрачно кивнув, подумал Леон. Еще бы мне не хотелось услышать о «нашем дяде Фридрихе».

– Тогда зайдем куда-нибудь, где не так дует. Ты нарочно выбрал самое ветреное место в Париже, не считая Эйфелевой башни? Где здесь, черт возьми, можно сесть и выпить чашку кофе?

– Опять кофе?!

– Цыц, – отозвался Натан беззлобно. – Мне не хватает еще одной Магды на берегах Сены. В Париже я хотел бы вырваться из госпитальных условий.

– Тут рядом есть забегаловка, на углу Сен-Жермен и Кардинала Лемуана. Наверняка уже открыта. Хозяин – симпатичный парень, зовут Амокрэн.

– Араб?

– Бербер.

И пока шли по направлению к ничем не примечательной забегаловке с напыщенным именем «Ле кардинал Сен-Жермен», Натан с Шаули препирались о происхождении берберов. Натан утверждал, что они потомки «карфагенян и прочих филистимлян и финикийцев, населявших Северную Африку до новой эры», а Шаули комично тарашил глаза и спрашивал, действительно ли Натан уверен, что финикийцы и филистимляне – это одно и то же? Похоже, недавно он *брал* очередной



курс в Открытом университете – то ли по этнографии, то ли по истории Древнего мира.

Они вошли в кафе и, лавируя меж пустыми по утреннему времени столиками (лишь за двумя в разных концах зала сидели, нахохлившись над первой чашкой кофе, два сизых от недосыпа студента), пробрались в дальний угол, где вдоль всей стены тянулся лиловый бархатный диванчик, а перед ним – ряд одноногих круглых столиков. Здесь можно было выпить чашку кофе, проглотить сэндвич и сидеть часами, не привлекая к себе внимания. В обеденное время тут подавали два-три горячих блюда из самых простых: бифштекс с картошкой, цыпленок, жареная рыба...

– Вот и хорошо, – усаживаясь и разматывая шарф, вздохнул Натан. – Как бы дождь не ливанул, а, Шаули? Сядь-ка вот тут, напротив, Леон. Чтоб я лицо твое видел.

Он расстегнул и снял плащ, аккуратно свернув его на диванчике этакой посылкой. Сдержанно и конспективно, почти невозмутимо заговорил:

– Итак, твой Казах. Фридрих Бонке. Фамилия материнская, хотя родился – в Берлине, в сорок шестом – от советского солдата, действительно казаха по национальности. Учился в Москве – ядерная физика. Уже тогда был завербован Штази и в Москву на учебу направлен, полагаю, для налаживания связей со студентами из стран Азии и Африки – скорее всего, в Штази рассчитывали, что впоследствии это поможет получать информацию о развитии ядерных исследований в этих странах. Кличка «Казах», как ни странно, – семейная, шутливая. Но прижилась везде, главным образом в Штази. Талантливый парень: артист, игрок. Сильный игрок. И задание свое выполнил на двести процентов.

Натан поднял на Леона серые глаза в набрякших мешках тяжелых век. Как обычно: правый изучал твою физиономию, левый *следил за ситуацией*.

– Ты добыл имя дружка его московской молодости: Бахрам. Я ошалел, когда услышал. Знаешь, о ком речь, *ингелэ манс*? Это Бахрам Махдави, тот высокопоставленный офицер КСИРа, заместитель министра обороны, генерала Боруджерди, за которым мы два года охотимся – о чем, естественно, не вопим на весь мир... В последний раз пытались выкрасть его в Стамбуле, но неудачно. Так вот. В молодости Казах не только свел с ним дружбу, но и женился (твой источник прав) на родной сестре Бахрама Лале. Та родила Казаху сына и умерла молодой от какой-то особо стремительной формы рака – вроде что-то с вилочковой железой, иногда случается у женщин после родов. Сгорела буквально за три месяца. Но с Бахрамом Казах всю жизнь связывали тесные деловые отношения – не говоря уже о мальчике: все же для Бахрама тот – сын покойной сестры, умершей в молодости. Бахрам очень детолюбив, у него у самого четверо сыновей... Мальчик по большей части рос в дядином доме, с двоюродными братьями, так что можно вообразить, как он близок всей этой *мишпухе*... Но Казах... О, это хитроумный Улисс! Вот уж кто танцевал и с левой ноги, и с правой, и во все стороны. В восемьдесят пятом его перевербовали британцы, и до падения Берлинской стены этот шустрый парень процветал в двойных играх, в которых сам черт себе рога бы обломал. Даже в тройных: кое-какие услуги он оказывал и КГБ, дружков молодости у него и там было достаточно. Ну, а «гэбня», от которой традиционно зависели «кадры», что в вюнсдорфской штабквартире ГСВГ, что на красногорском урановом руднике, свой интерес знает. И если им для бизнеса нужен немец, то они, конечно, пригласят «своего». Не из шишек, к

которым прикован интерес общества, и не из тех «вторых», чьи подписи в политических досье... А вот курировать вопросы «безопасности» по транспортировке какого-нибудь саксонского урана вполне мог и Фридрих Бонке...

– Крученный тип, – заметил Леон.

– Погоди, это лишь начало...

Натан, видимо, мерз. Достал свернутый шарф, вновь накрутил на шею, энергично потер ладони, согреваясь, хотя в кафе было достаточно тепло. И говорил он монотонным мерзлым голосом, так что моментами – особенно когда снаружи ускорила и громче зазвучала жизнь – приходилось напрягать слух.

– Третьим мушкетером был у них, как ты догадываешься, Крушевич. После университета получил распределение в Семипалатинск. Талантливый ученый, безупречная карьера. Стал одним из самых осведомленных лиц в том, что связано с казахстанскими атомными делами: проблемы урановой добычи, хранение атомных боеголовок... Ну, а дальше известно: развал Союза, падение Стены... Тут достаточно вспомнить, что все «плутониевые» скандалы, как правило, связаны с банальными кражами из обнищавших советских НИИ. Там этого плутония в удобных таких свинцовых контейнерах, чтобы ставить «радиоактивные метки», было навалом. Через Европу это добро шло транзитом... Но! Исчезновение ГДР, люстрация, прочие *неприятности и неудобства*... В какой-то момент Казах почуял, что из *Дойчланда* надо делать ноги. И тут пригодились англичане, на которых к тому времени он поработал достаточно...

Заспанный и встрепанный парнишка – один из племянников или сыновей хозяина – принес им кофе наконец. И пока он расставлял чашки, Натан тем же

ровным будничным тоном сокрушался, что вот зонт забыли в поезде, а это трагедия: где его тут купишь? (*И правда: где ты в Париже отыщешь зонтик?*)

Когда парнишка скрылся за дверью в кухонный отсек, Натан продолжал через запятую после *трагедии с зонтиком*:

— Но в Лондоне Казах всплывает самым надежным — матримониальным — путем. Женится на разведенной жене одного из тех бизнесменов, которые в свое время быстро разобрались с бесхозным добром распавшегося Союза, хапнули и разумно укрылись за стенами британского правосудия. Какая-то Елена, и черт с ней. Впрочем, вполне возможно, эта дама тоже не чужда кое-каким серьезным структурам. Разведясь с бизнесменом, унесла в клюве неплохой особнячок в Ноттинг-Хилле: ничего особенного, но *row house*, три этажа, позади уютный дворик с качелями, все как полагается... Там они и живут по сей день. Казах достаточно умен и осторожен, чтобы не афишировать всего капитала. Молодец, не полез в какой-нибудь загородный замок, во дворец в Белгравии или в Челси... Но — ты следишь за развитием трех линий? Где мы оставили Крушевича? У разворошенного перестройкой ядерного хозяйства? Как раз тогда, когда появились отличные возможности для контрабанды урана и прочего атомного добра. Так вот: нет никаких данных о том, что Андрей Крушевич был связан с КГБ — хотя такая заметная фигура в Семипалатинске... ясно, что за ним аккуратно приглядывали. И все-таки данных нет. Но как раз в эти годы — в начале девяностых — Бахрам Махдави, там, у себя, удачно вписывается в некий политический альянс и всплывает в самых верхах армейской элиты. Он вытаскивает Казаха, создает ему легенду и обеспечивает *делом* — помогает открыть крупную фирму по продаже иранских ковров. Разъезжай себе по

миру, открывая филиалы в любом месте – почтенный, международный, изысканный бизнес...

– Классическая подставная фирма, – продолжил Леон тем же тоном, – через которую за все эти годы переправлено и продано оружия на десяток региональных войн...

– Именно. Перечень сделок, провернутых этой святой троицей, поверь мне, – поэма: срочные поставки оружия, долгосрочные сделки, участие в транснациональных корпорациях, сотни миллионов комиссионных, выплаченных правительствам нескольких стран, секретные счета в небольших *семейных банках* в Цюрихе и в Лозанне... – Он перевел дух, неторопливо допил свой кофе. – Но мы не можем гоняться за всеми на свете подставными фирмами. Нас интересуют *наши ближние* войны и то оружие, что идет в подпол к нашим соседкам – «Хизбалле», ХАМАСу... Нас волнует, что творится за забором. Например: в любой момент Иран может ссудить «Хизбалле» «грязную бомбу» прямо из белых ручек Крушевича через ковровую фирму Казаха...

Натан вздохнул и задумчиво покрутил в руках пустую чашку из-под кофе, разглядывая ее донце, точно собирался гадать на гуще.

– Раньше для бодрости мне довольно было трех чашек в день, – усмехнувшись, заметил он. – Теперь могу заливать в себя литрами, и только спать от него тянет... Так вот: поначалу мушкетеры действовали не слишком удачно: несколько попыток контрабанды радиоактивных веществ провалились – в прессе мелькали невнятные сообщения, и как-то странно и сразу все гасло. Провалилась попытка подкупа казахстанских властей – речь шла о полутора тысячах тонн урана. Может, поэтому в

двухтысячном году Крушевич перебрался к нам – видимо, полагал, что у нас то ли уютнее, то ли безопаснее...

– ...Или полезнее, судя по удачной афере с фирмой Иммануэля.

– Да, тут они порезвились у нас под носом в свое удовольствие. Кстати, у тех беспилотников, что «Хизбалла» запускала из Бинт-Джебейль, подозрительно знакомые камеры и система управления... В общем, тут есть чем заняться, что *послушать*; без работы наши ребята не останутся. Но главное, есть все основания думать, – медленно проговорил Натан, тщательно подбирая слова, – что в ближайшие месяцы они готовят поставку серьезной начинки для «грязнули». Вот только откуда они ее доставят в Бейрут, пока неясно. Где тот порт, та укромная гавань, та романтическая бухточка и та мирная яхта какого-нибудь почтенного бизнесмена...

Вдруг он закашлялся и, пытаясь расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки, долго путался пальцами в петельке, пока не расстегнул. Успокоился, высморкался, аккуратно отодвинул от себя пустую чашку.

– Самый темный силуэт в этом деле... как думаешь, кто?

– Сынок, – мгновенно отозвался Леон.

– Верно! – с удовольствием воскликнул Натан. – Соображаешь, *ингелэ манс*! Шаули, он соображает, наш Кенарь, а?! Сын Казаха, он же племянник Бахрама. Гюнтер – и это, в сущности, все, что пока нам известно. Абсолютная тень, гениальный конспиратор – все в ореоле секретности. Мы даже не знаем, как он выглядит. Вернее, знаем несколько абсолютно разных его описаний, до анекдота: в одном случае – татуировка на правой кисти, в другом – никакой татуировки. Большую часть жизни Гюнтер провел у дяди, вернее, курсируя между дядиным

домом в богатом пригороде Тегерана и отцовской семьей – к тому времени Казах женился, и большой теплоты в отношениях мачехи и пасынка не наблюдается. Так что главная фигура в этом пазле – дядя Бахрам. Тут иранские дела, персидская нота... Узор персидского ковра. Парень, конечно, с молодых ногтей посвящен делу. Полагаю, у него есть и имя соответствующее, и паспортов предостаточно. Дядя – это уже ясно – целенаправленно готовил Гюнтера по своему ведомству. Шаули считает... – Натан кивнул: – ...Шаули?

Тот спокойно отозвался:

– Уверен, что Гюнтер и есть тот секретный координатор по связям КСИРа с «Хизбаллой», который нас давно интересуется.

Вновь к ним подошел парнишка-официант, осведомился, не нужно ли чего принести. Натан попросил очередную чашку кофе, а Шаули, который всегда и в любое время суток был «не прочь перекусить», заказал сэндвич с тунцом.

– Но тебя все это уже не касается, – решительно заявил Натан, когда отошел официант. – Повторяю: мы тебе очень признательны. А дальше тебе даже задумываться об этом не стоит. И вот что, *ингелэ манс...* – Он положил тяжелую ладонь на столик, ставший от этого еще миниатюрнее, – я хочу, чтобы ты почувствовал себя свободным, наконец. Совершенно свободным. Я дал слово и себе, и Магде, что это дело будет последним, с чем мы к тебе обратились. Ты и так много сделал для нас. Знаю, ты и слышать не захочешь, но... поверь, мы найдем случай отблагодарить тебя как следует. И довольно, и хватит!

*Хм. Трогательный и для Натана необычно пылкий монолог. Ария Индийского гостя. Неужто и вправду прощается?.. Неужто и вправду отпустят?.. Даже грустно: куда я дену паспорт Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер? А седой паричок? Пойду в нем на прием куда-нибудь – в российское посольство, например?..*

Он искоса глянул на Натана: что это – усталость? Сочувствие к замордованному спецслужбами артисту? Или просто рокировка в шахматной партии?

Через минуту выяснилось: рокировка. Поднявшись из-за столика и выяснив у официанта, где туалет, Натан вдруг повернулся к Шаули, который с аппетитом молча доедал свой сэндвич, будто полтора часа назад не слопал на кухне у Леона целых шесть гренок с сыром, и сухо проговорил:

– У меня – всё. Может, у тебя есть к нему какие-то вопросы, Шаули?

И неторопливо, слегка прихрамывая, двинулся к двери с картинкой, изображавшей хлыща в котелке и с тросточкой.

Не успел Леон опешить от этого служебного преображения (какие такие вопросы, черт подери, – после всего, что он им сообщил, да после этого оперного прощания – что за тон, что за два следователя?!), как увидел скромненько выложенную на стол фотографию Айи, крупный план. Она стоит в полупрофиль, что-то там кому-то объясняя, наверняка на какой-то выставке – возможно, и на своей. Слегка растрепанные выющиеся волосы до плеч, каких он у нее не видел. Прямой взгляд, напряженно выуживающий смысл из движения губ собеседника.



Прихватив фотографию, Шаули пересел напротив, на место Натана. Совершенно непроницаемое, совершенно безразличное лицо; то есть плохо дело.

– У меня-то что... вопросов, собственно, немного, – с ленцой проговорил Шаули, дожевывая последний кусок. На Леона глаз не поднимал (плохо! совсем плохо!). Лишь на фото кивнул: – Ты эту девушку, Кенарь... встречал где-нибудь?

– Не помню, – вызывающе холодно ответил тот.

– С твоей-то памятью на лица? Не смейся меня.

– Ну, возможно, какое-то беглое знакомство... из тех, что забываются через минуту.

Шаули перевел на фотографию печальный взгляд. Так смотрел Аврам, когда Владка выступала перед ним с очередной своей идиотской историей.

– Лицо хорошее, – сказал он, помолчав. – Необычное. Нет, через минуту не забудется... – И, подняв на Леона глаза, сумрачно, мягко, сочувственно спросил: – И не забылось, а?

Неторопливо достал из внутреннего кармана плаща другую фотографию, при взгляде на которую Леона захлестнуло бешенство: лицо Айки в тот момент, когда, прощаясь в аэропорту, она бросилась ему на шею. Ракурс: его затылок, ее голова у него на плече: зажмуренные глаза, крепко сжатые губы, чтобы не заплакать. Две бритых головы. *Прощание двух беспризорников.*

– Красивая девушка, хотя волосы идут ей больше, – так же мягко добавил Шаули. – И жаль, что глухая.

*Уже всё знают, уже всё разнюхали. С-суки!.. А на что ты, собственно, надеялся? «Контора веников не вяжет – контора делает гробы».*

– Вы следили за мной! – процедил Леон, бледный от ярости.

– Мы просто тебя *проводили*, дурак, – поправил Шаули. – Заботясь о твоей безопасности.

Несколько мгновений они сидели, молча глядя друг другу в глаза. Наконец Леон перевел дыхание и проговорил:

– Отлично. Премного благодарен. А теперь закроем эту тему.

– Вот он, твой источник, который ты так оберегаешь. – Шаули постучал ногтем по фотографии. – И мы просто восхищены – как, где, откуда ты ее добыл? Ведь эта встреча не может быть случайностью, а, Кенарь? На острове? В джунглях? Это же не опера «Аида», а? Насвести кому другому: внучатая племянница Казаха, племянница Гюнтера, девушка-фотограф... Это ведь ее фотографию ты переслал? И ты, конечно, лучше всех понимаешь, какая за ней бездна информации – только приступись.

Он аккуратно спрятал обе фотографии во внутренний карман плаща. Внятно и тихо добавил:

– Она нам нужна, Кенарь. Время не терпит, а она может знать, хотя бы намеком, откуда выйдет груз для «грязной бомбы» «Хизбалле»...

– Она ничего не знает! – выкрикнул Леон, не обращая внимания на то, что помещение уже заполнялось народом и лучше было бы сейчас отправиться дальше, в кружение по каким-нибудь мостам и бульварам.

Шаули скептически улыбнулся.

Леон даже не заметил, как вернулся из туалета Натан, присел боком на том же диванчике, ссутулился: пожилой человек, старик, мечтающий лишь об одном – прикорнуть в теплом углу.

*Добрый следователь, который несколько минут назад так трогательно отпустил его на волю. Навечно... Значит, они требуют от него суший пустяк: отдать им Айю в разработку, а там уже как дело пойдет... Что и говорить, агент идеальный: уникальная способность читать по губам, тысячи кадров, которые можно из нее вытянуть. Например, фото Гюнтера. Ну, а если она человек с другой стороны, если настолько предана дяде... тогда – что ж, из нее можно вытянуть сведения другим путем, не так ли? Мы это умеем и не должны тебе объяснять: разведка – дело жестокое.*

– *Ингелэ ма-анс*, – певуче проговорил Натан, с состраданием глядя на Леона. – Ты понимаешь, во что влип? Будь это обычный постельный рейд, я бы сказал тебе – молодец, ты неподражаем. Но по тому, как ничтожно мало, как подозрительно мало – для нас! – ты из нее выудил... Из нее, которая жила в доме Казаха, а значит, и Гюнтера видала, и, вполне вероятно, выполняла какие-то их поручения... По тому, как тщательно ты ее прячешь – от нас! – я просто за тебя испугался! Дело даже не в том, что ты подставляешь под удар и себя, и всех нас, и всю предстоящую операцию. Но скажи мне: ты что – влюбился в эту глухую девочку?

Леон с силой втянул носом воздух, прикрыл глаза... и неожиданно улыбнулся – своей *фасадной, сценической* улыбкой:

– Во-первых, я понятия не имею, где она сейчас, – со злорадным торжеством заявил он, мысленно благословляя свою *возмутительно непрофессиональную, музыкальную интуицию*, не пустившую его в аэропорту броситься за Айей в толпу

пассажиров. – Даже не знаю, в какой она стране. У меня нет ни телефона ее, ни электронной почты. Мы расстались... К вашему сведению, – добавил он, через столик подавшись к Шаули, – она не вполне нормальна! Она одержима постоянной переменой мест. И никто, даже она сама, не знает, в какой момент ей захочется сорваться и исчезнуть.

– Он взбесился, – тихо обратился Шаули к Натану. – Ты видишь? И он врет самому себе.

– Хорошо, Леон, мы тебе, конечно, верим, – примиряющим тоном сказал Натан и положил руку на приплясывающее колено Шаули. – Значит, придется нам самим как следует ее поискать.

– Какого черта! – вдруг воскликнул Шаули. – Натан, почему ты не говоришь ему главного: за ней ведется настоящая охота. Это чудо, что девушка еще жива! Видимо, у нее чертовская чувствительность к опасности. Вполне вероятно, что ее «внезапная перемена мест» – это просто замечание следов. – Он повернулся к онемевшему Леону. – Что, что ты уставился? Ты хоть знаешь, что на нее уже нападали в Рио, в фавеле, и оставили валяться в грязной канаве? Это было гораздо раньше и, возможно, не имеет связи с нынешней охотой... А может, имеет – этого нельзя исключить. Нельзя исключить, что Гюнтеру сразу не понравилась новая родственница.

– Откуда?.. – вымолвил Леон, поднимаясь из-за стола с непреодолимым желанием бежать... только куда, куда? чувствуя холодную тошноту и нутряной страх, как в аэропорту Краби, когда не увидел Айю там, где ее оставил. – Откуда... с чего

вы взяли?..

*Откуда, черт побери, у проклятой конторы на нее нарисовалось целое досье буквально за считанные недели?!!*

– Оставь, – устало буркнул Натан. – И сядь, чего ты вскидываешься, как беременная истеричка...

Он дождался, пока Леон опустится на стул, и повернулся к Шаули:

– Не терзай его. Просто объясни, что ее фотографию опознала Михаль Ривлин из аналитического отдела. Она сидит на обработке данных, – пояснил он Леону. – Как глянула, так и ахнула. Даже всплакнула. Девочки болтались вместе месяцев пять по азиатским задворкам, когда Михаль после армии *расслаблялась*. Когда человек все время в пути и все время перебирает лица своим объективом – неудивительно, что ее знают множество самых разных людей в самых разных местах и странах. Так что Михаль кое-что прояснила насчет твоей... *протеже*: ее лечение в госпитале, потом лечение от наркотиков, бесконечные скитания по самым странным маршрутам, какие-то бродяжки укрытия, ночлежки и чуть ли не норы в поле. Она прекратила переписку где-то год назад, и в последнем письме был намек, что она чего-то боится. Если за ней действительно охотятся все это время и она до сих пор жива, то я бы не глядя взял ее к нам в штат. Чуткость, и правда, дьявольская, невероятная! Поистине – профессиональная беглянка: она везде и нигде. Фотографии в *Pinterest* и на *pbase.com* подписывает только *никнеймами*, – тоже толково... Леон! – Натан развел руками: – Неужели ты не понял, что она скрывается уже много месяцев? Ничего не почуял? Не заподозрил? Ты что, *ингелэ манс*, окончательно сбрендил из-за ее красивых глаз?

И опять Леон рывком поднялся, точно собираясь немедленно кинуться прочь, но остался стоять, сосредоточенно рассматривая туфли, слегка раскачиваясь с пятки на носок.

– Зачем? – спросил он. – Почему они ее ищут? Она правда ничего не знает... Она абсолютно чиста, она... она *другой* человек.

– Может, сняла кого-то или что-то, не думая о последствиях, – пожал плечами Натан. – Судя по тому, что у нее уже выкрадывали камеру со всеми дисками...

– ...и значит, ничего не нашли! – отрывисто перебил Леон. Постоял еще мгновение, так же странно покачиваясь, будто выбирая, в какую сторону упасть. И вдруг, не прощаясь, бросился на улицу.

– Куда это он? – растерянно пробормотал Шаули, тоже поднимаясь. Натан удержал его за рукав, потянул обратно.

– Оставь его.

– Что значит – оставь? – вспыхнул тот. – Мы кто – мальчики, что ссорятся из-за игрушки?

Натан вздохнул, придвинул к себе чашку уже остывшего кофе, высыпал в нее упаковку сахара и принялся размешивать.

– Между прочим, – проговорил он, – я вспомнил: на месте этого кафе когда-то в семидесятых был известный бар «Le Thélème». В феврале семьдесят пятого тут застрелили братьев Земмур, известных гангстеров. Они были алжирские евреи, приехали в Париж еще в пятидесятые и занялись делом: шантаж, вымогательство, грабежи... Четверо братьев, могучие ребята. Их перестреляли, как куропаток, среди бела дня, прямо тут, в кафе, списав всё на счета с итальянской мафией, на дележ

сфер влияния и обычную криминальную грызню. На деле это была операция парижской полиции, так-то. Подумать только, почти сорок лет назад. Мы тогда приехали небольшой группой на одну совместную с французами операцию... Впрочем, неважно, для молодого поколения все это – история Древнего мира. Ты уже *брал* курс по истории Древнего мира? Я помню столько дел, Шаули, мальчик, что мне самому неудобно дальше занимать место...

Он замолчал, вынул ложечку из чашки, аккуратно положил ее рядом с блюдцем. – Какое место? – подозрительно хмурясь, спросил Шаули. – В конторе?

Натан презрительно фыркнул, отпил из чашки. Не ответил.

– Рано или поздно они ее прикончат, конечно, – сказал он. – Видимо, она что-то видела, знает, сфотографировала... Нет, Шаули, мы не можем сейчас заниматься ее поисками. Мы не можем всюду держать своих людей. А жаль. Очень жаль. Знаешь, я почти весь вечер разглядывал ее снимки в Интернете. Они от всех отличаются, они узнаваемы, в них стиль есть. Девочка чертовски талантлива.

Тут Шаули опять завелся и долго с возмущением говорил о том, что Кенарь давно позволяет себе опасные и необъяснимые *закидоны*, прет на рожон, и сегодняшнее Натаново «отпущение грехов» запоздало годика этак на три-четыре; еще до случая в Праге, когда Леон так опасно, хотя и виртуозно, конечно, в своем артистическом духе... но совершенно эгоистично, недопустимо и не-профессиональ-но, наплевав на группу... солист, мать твою!..

...И бухтел, и бухтел, сведя к переносице мохнатые брови, сминая салфетки, искоса поглядывая за стеклянную стену кафе – не вернется ли Леон, слегка проветрившись.

Наконец, сцепив на столике руки, проговорил чуть ли не умоляюще:

– И скажи ты мне откровенно: вот уж выбрал так выбрал. Она даже не услышит его голоса!

– Мне казалось, ты всегда над его голосом подтрунивал, – спокойно заметил Натан.

Не отозвавшись на это замечание, Шаули упрямо и горько повторил:

– Никогда! Никогда не услышит его голоса...

\* \* \*

Собрался он за десять минут – просто накидал в чемодан, что под руку подвернулось: понятия не имел, сколько времени может занять эта поездка. Достал из тайника в раме оба паспорта, любимый седой паричок, извлек из кладовки за кухней коробку с гримом и еще кое-какими *штуками* для изменения внешности – виртуозные изобретения *визажистов конторы*...

Пока он даже не понимал, в какую точку мира возьмет билет. Отложил обдумывание на дорогу до аэропорта.

Позвонил Исадоре и попросил заглянуть: здесь эта чер-р-ртова птичка, я должен рассказать вам, моя радость, как ее кормить, поскольку...

– Хорошо, месье Леон. Я сейчас отведу внука, а потом непременно к вам зайду. Вы так часто стали уезжать...

Собравшись с духом, позвонил Филиппу: я должен тебе кое-что сказать...



Только не волнуйся! Я все возьму, все расходы... Подожди, не кричи! Поверь, именно эта отлучка... она мне смертельно необходима...

– Я от тебя отказываюсь, – орал Филипп, задыхаясь, – я сыт по горло, мне не нужна эта головная боль! Я отнесся к тебе, как к сыну!.. Мое слово!!! Моя репутация!!! Летит к черту важнейший – для твоей же карьеры! – ангажемент в Лондоне! Я прокляну тебя! Ты что, думаешь, это шутка? Так посмейся! И это вытворяет человек, которого *Diena* называет «одним из пяти такого рода голосов в мире»?! Это человек, выступавший в королевских домах Европы, чья запись хранится в Британском национальном архиве рядом с уникальной записью последнего кастрата двадцатого века Морески?! Это человек, которого снимали для фильма о Фаринелли?! Да ты просто спятил, ты променял профессию черт знает на что...

Леон тихо положил трубку. В ушах еще звенело от бешеных воплей его несчастного агента.

*Он прав: я спятил.*

В дверь позвонили: Исадора. Милая, услужливая и обязательная Исадора. И так быстро: наверняка торопилась отвести мальчика и вернуться, как обещала. Что бы он делал без нее...

Леон вышел в прихожую и, не глядя в глазок, распахнул дверь.

То была не Исадора.

Интересно, как она проникла в дом – ждала у ворот, чтобы какой-нибудь жилец

отпер калитку?

*Но эта мысль пришла ему в голову только ночью, когда Айя уже спала на его плече, своим мягким ежиком щекоча ему подбородок, а он все нащупывал и выглаживал беспокойными пальцами шелковую ниточку тонкого шва под ее левой лопаткой, будто на ощупь подбирал особенную мелодию, будто верил, что неумолимыми прикосновениями может разгладить этот шов и навсегда растворить беду в беспмятстве счастья.*

А в ту минуту, когда, не глядя, он распахнул дверь, и Айя – в модном плаще цвета морской волны, в воздушных кольцах белого шарфа на плечах, в строгих осенних туфлях на каблучке, с дорожной кожаной сумкой на колесах – встала у него на пороге...

...в ту минуту она была элегантна и чужевата. Она была напряжена. Она была – недоступная рекламная красotka, ибо чуть тронула лицо косметикой: немного пудры, немного туши на ресницах, бледно-лиловая помада на дрожащих губах.

Скользнув ладонью по стильному каштановому ежику на голове, робко спросила:

– Так лучше?

И поскольку он молчал, нерешительно переступила порог квартиры, перекатив за собой сумку, сделав к нему шаг, другой...

– Тихо! – шепотом приказал он, строго на нее глядя. Обойдя ее, выглянул наружу, затем обстоятельно закрыл за ее спиной обе двери, дотошно проверяя все

замки и засовы; наконец повернулся и со стоном, с силой стиснул ее сзади обеими руками.

И она разом откинулась к нему всем телом, обмякла внутри этого неистового кольца и заплакала-запричитала.

Монотонно повторяя шепотом:

– Тихо... тихо... тихо... тихо, – он принялся медленно, подробно, бесконечно перебирать губами ее затылок, шею, волосы, шею, уши, плечи, затылок, продолжая сжимать ее (дохлый удав) – не отпуская, не давая отстраниться, не позволяя расторгнуть с такой силой вымечтанное объятие.

Тут за его плечом кто-то прокашлялся, прочищая горло, будто извиняясь за *маленькое беспокойство...* Пульнул вверх серией коротких свистков, залился длинной звонкой трелью. И – удивительно чисто, безыскусно, сердечно – Желтухин Пятый впервые завел свои «Стаканчики граненые», красуясь мастерством, закидывая клювастую желтую головку, обрывая себя и вновь принимаясь залиристо щелкать и петь.

...Из-за голубых холмов, из мечтательного далека, из немоты небытия вытягивал и вил еле уловимую «червячную» россыпь: стрекот кузнечика в летний зной.

Начиная с низкого регистра, постепенно, будто в гору поднимаясь, выводил песню на запредельные трели с замирающей сладостью звука; трепещущим горлом припадал к тончайшей тишине. С филигранной точностью вплетал тему в нужное колено; после короткого нежного вздоха выдыхал «кнорру» – полный и круглый, как яблоко, звук, завершая его низкими, нежно-вопросительными свистками. Переходил

на «смеющиеся овсянки», с их потешными «хи-хи-хи-хи» да «ха-ха-ха-ха», подстегивал себя увертливой скороговоркой флейты.

И лихо выворачивал на звонкие серебристые бубенцы, а те удалялись и приближались опять, и вновь удалялись: «Дон-дон! Цон-цон!.. Дин-динь!» — колокольцы в морозном воздухе зимнего утра...

Будто старинная почтовая тройка кружила и кружила в поисках тракта и никак не могла на него набрести.

*Конец второй книги*

---

---

**notes**



Медвежонок (ивр.) – здесь и далее прим. автора.

Говорить (нем.).

Мальчик мой... (*иди*)



«Рыба над Даном» (*ивр.*). Дан – название ручья.

«Поц» – хер (искаж. идиш).

Папа (*ивр.*).

Чиновника (*ивр.*).

Историю (*идиш*).

Благодарю вас, вы очень внимательны (*нем.*).

*Букв. «счет души» (ивр.).*

*Здесь:* «Ты знаешь ли край, где лимонные рощи цветут, / Где в темной листве померанец горит золотистый» (нем.), пер. М. Михайлова.



Да будет к нему милосерден Господь (*араб.*).

*Букв. «перс» (ивр.), в Израиле – еврей из Ирана.*

Благословенна его память! (*ивр.*)

Грош (*ивр.*).

Пустяки! (*идиш*)

*Здесь: девонька (идиш).*

Пер. Э. Линецкой.

Спецподразделение Генерального штаба Армии обороны Израиля.



Террорист (*ивр.*).

Трудновато приходилось? Потрепали тебя наши братишки? (*араб.*)

Бывало, но мы их больше трепали (*араб.*).

Клан (*араб.*).

«Адиль» – справедливый (*араб.*).

Хорошо, отлично (*араб.*).

Вытяни ногу, Раджаб (*араб.*).

Что?.. ногу? (*араб.*)



Еще чуток (*араб*).

Траурная неделя, в течение которой близкие оплакивают умершего, сидя на полу.

«Человек неясного происхождения порочен изначально» (*араб.*).

В Стране (*ивр.*).

Хватит (*араб.*).

Белый, европеец (*тайск.*).

Еще один казах! (*нем.*)

*Здесь:* Лучше бы лейтенант. Все-таки блондин, и с человеческим лицом, не косоглазый... (нем.)



Еще один казах командует! (*нем.*)

Все они – казахи, казахи, казахи! (*нем.*)

Он на меня навалился, этот казах! (*нем.*)

Мальчик (*нем.*).

*Здесь: ты охуел? (фр.)*

Братишка (*ивр.*).